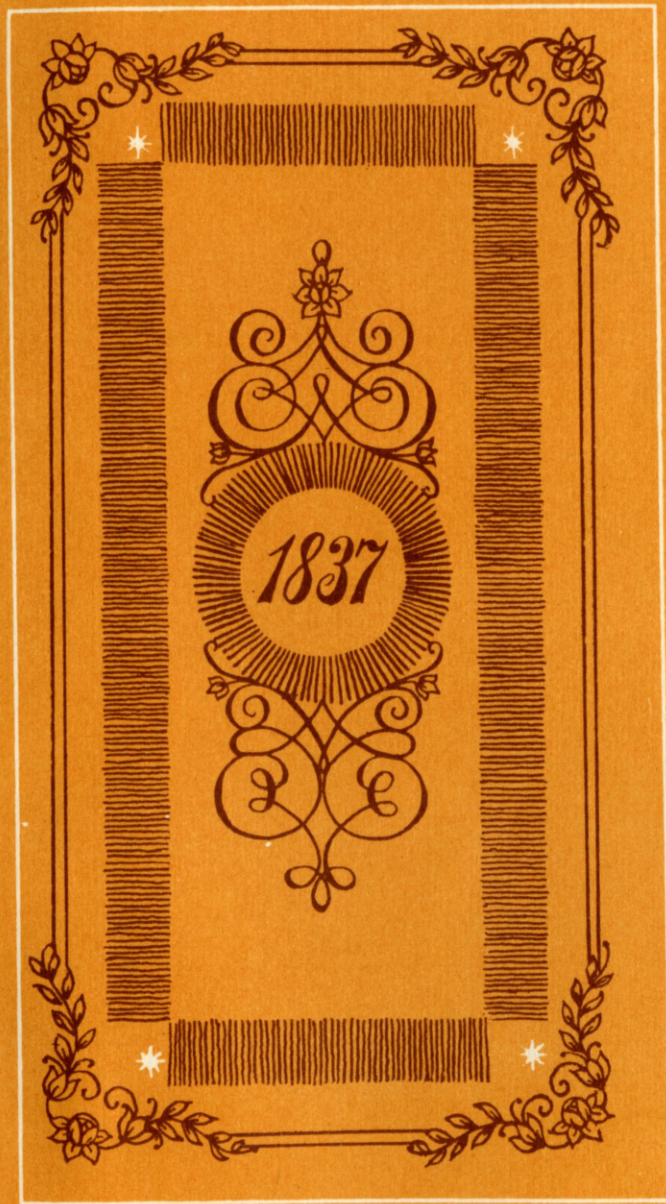
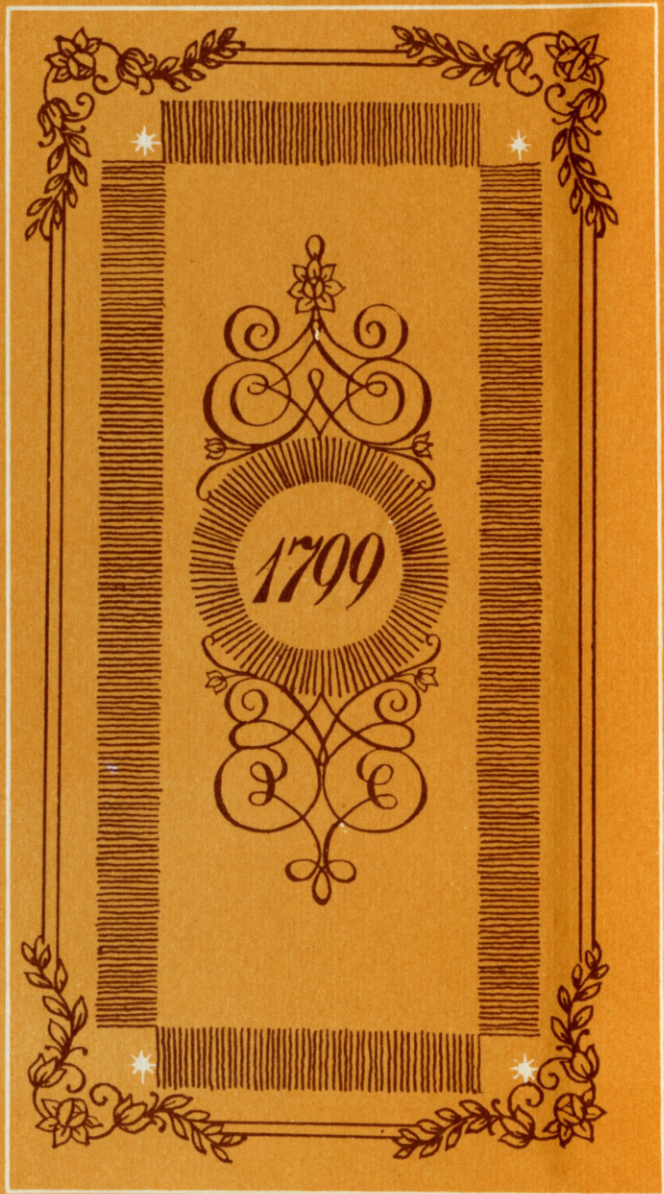


Борис Мейлах
Малисман

Борис
Мейлах

Малисман



*Борис
Мейлах*



Талисман

Книга о Пушкине

*Москва
«Современник»
1984*

83.3 P 1.
М 45

Издание второе

Рецензент *доктор* филологических наук профессор В. В. Основин

М $\frac{4603010101-004}{M 106 (03)-84}$ 292—84

ББК 83.3 P1
8P 1

© Издательство «Современник», 1975, оформление, 1984.



Малисман

Ни один поэт в России не имел такой завидной участи, как Пушкин...

Гоголь

Уходили одни поколения, приходили другие, а Пушкин всегда оставался живым, необходимым народу, каждому человеку, к его поэзии обращались и в дни торжеств и в дни тяжких испытаний. Само имя «Пушкин» стало символом борьбы и надежд, веры в великое предназначение России, светочем на самых трудных поворотах. Пушкин вошел в духовную биографию каждого человека, стал постоянным собеседником, его стихи помогают находить ответы на сложные вопросы бытия. Читая Пушкина, слышишь его голос: он был первым поэтом, разрушившим условность авторского образа, уже в первой своей поэме — «Руслане и Людмиле»; в «Евгении Онегине» он разговаривает с читателями, как с близкими людьми, понимающими его с полуслова («друзья мои», «братья», «мой читатель»). Не в этой ли интимности — одна из загадок особого, уникального значения Пушкина для всех поколений?

Пушкин утвердил в русской литературе великую миссию поэта-пророка, провозвестника правды и справедливости:

Товарищ, верь, взойдет она,
Звезда пленительного счастья...

Когда восстание на Сенатской площади было подавлено, поэзия Пушкина была поддержкой и для тех, кто томился в темницах.

«Только звонкая и широкая песнь Пушкина раздавалась в долинах рабства и мучений,— писал Герцен,— эта песнь продолжала эпоху прошлую, наполнила своими мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в далекое будущее». Поэзия Пушкина, словно сказочный талисман, спасала от отчаяния, а порой от самоубийства. В тюрьмах, рудниках, в ссылке помнили его стихи. Декабристы выражали свои настроения словами поэта. А. Корнилович говорил о своей судьбе строками пушкинского стихотворения «К Овидию»:

Суровый славянин, я слез не проливал,
Но понимаю их...

В. Кюхельбекер в 1836 году обращался к Пушкину из глухого сибирского поселения:

Чьи резче всех рисуются черты
Пред взорами моими? — Как перуны
Сибирских гроз, его золотые струны
Рокочут... Песнопевец, это ты!
Твой образ — свет мне в море темноты.

Шли десятилетия, а Пушкин оставался участником борьбы за освобождение России.

Александр Блок, поэт, потрясенный «музыкой революции», восклицал:

Пушкин! *Тайную свободу*
Пели мы вслед тебе!

...К замечательнейшим страницам жизни Пушкина в потомстве относится его незримое, но ошутимое участие в Великой Отечественной войне. Кто не помнит, как злободневно звучали в грозные дни 1941 года на плакатах, в радиопередачах пушкинские строки:

Страшнсь, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны;
Восстал и стар и млад; летят на дерзновенных,
Сердца их мщеньем зажжены.

Вострепещи, тиран! Уж близок час паденья!
Ты в каждом ратнике узришь богатыря,
Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья...

Когда враг рвался к Москве, не было в русской поэзии слов, более проникновенных, чем запавшие в душу с детства:

Москва... Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

Среди реликвий, хранящихся в Центральном музее Вооруженных Сил СССР, почетное место занимают и книги Пушкина, побывавшие на полях сражений.

В январе 1945 года в боях за венгерский город Жамбек чудом спасся от смерти гвардии старший лейтенант Петр Мишин. Сохранил ему жизнь томик Пушкина, лежавший в полевой сумке. Осколок снаряда пробил двести страниц и застрял перед стихотворением «Талисман»! Может быть, кто-то готов увидеть здесь таинственный «знак судьбы». Но в этом эпизоде — другой, символический смысл. Сама поэзия Пушкина стала своеобразным «талисманом», с его стихами не расставались даже в огне жесточайших сражений! Хранится в музее и другой, забрызганный кровью томик Пушкина, на страницах которого записи, сделанные накануне смерти партизаном Николаем Кокоревым, расстрелянным фашистами. О том, что многие люди, уходившие на фронт, брали с собой книги Пушкина, всем известно; но какое огромное место в сознании наших современников занимает поэт, если в предсмертные часы герой-партизан читал его стихи и они помогли юноше сохранить мужество и веру в победу народа!

* * *

В мировой, особенно восточной, поэзии отразилась многовековая мечта о некоем талисмане, спасающем от бед, сохраняющем жизнь. Пушкин, с его

многосторонностью, откликнулся и на эту тему в стихотворениях «Храни меня, мой талисман...» и «Талисман», но Талисман в его стихах — не столько волшебный знак, сколько некий поэтический символ надежды. Первое стихотворение написано в 1825 году, в суровые дни михайловской ссылки. Из биографии Пушкина мы знаем, что талисман, которому оно посвящено, — подаренный ему перстень с кабаллистической надписью. Но значение этого стихотворения шире, в нем воплощены переживания опального поэта. Ситуация, в которой он тогда оказался, нахлынувшая на него тоска, тревожные предчувствия — все это вызвало драматические строки:

Храни меня, мой талисман,
Храни меня во дни гоненья,
Во дни раскаянья, волненья:
Ты, в день печали был мне дан.
Когда подымет океан
Вокруг меня валы ревучи,
Когда грозою грянут тучи —
Храни меня, мой талисман.
В уединеньи чуждых стран,
На лоне скучного покоя,
В тревоге пламенного боя
Храни меня, мой талисман...

Второе стихотворение на ту же тему («Талисман») относится к 1827 году, когда новая гроза нависла над поэтом — возник процесс о распространении «крамольных стихов» из «Андрея Шенья». Здесь уже не звучит надежда на то, что талисман может спасти от гибели:

От недуга, от могилы,
В бурю, в грозный ураган
Головы твоей, мой милый, —
Не спасет мой талисман, —

он лишь залог верности и нравственной чистоты:

Милый друг! от преступленья,
От сердечных новых ран,
От измены, от забвенья
Сохранит мой талисман.

Но действительным, а не сказочно-фантастическим талисманом была для Пушкина поэзия, в ней

обретал он душевные силы, в ней видел непреходящую жизненную ценность. В самые трудные времена поэзия спасала от отчаяния. В рукописи стихотворения «Вновь я посетил...» (1835), обозревая свой жизненный путь, годы, когда поэта «судьба и страсти» «борьбой неравной истомили», — он признавался:

Поэзия, как ангел-утешитель,
Спасла меня, и я воскрес душой.

Эта поэзия была поэзией действительности, чуждая мистическим туманностям («чем ближе к небу, тем холодней», — повторил он слова Дельвига). Она на самом деле была спасительной силой. В стихотворении 1825 года «Андрей Шенье» (автобиографический смысл которого давно известен) возникшие было сомнения поэта в верности избранному пути опровергаются словами страстной убежденности:

Умолкни, ропот малодушный!
Гордись и радуйся, поэт,
Ты не поник главой послушной
Перед позором наших лет,
Ты презрел мощного злодея;
Твой светоч, грозно пламенея,
Жестоким блеском озарил
Совет правителей бесславных;
Твой бич настигнул их, казнил
Сих палачей самодержавных...

В примечании к этому стихотворению Пушкин сочувственно приводит слова биографа Андрея Шенье А. де Латуша, рассказавшего о том, как Шенье и его друга, также поэта, Руше везли на казнь: «В свои последние мгновения они говорили о поэзии: после дружбы она была для них самая прекрасная вещь на земле...»

Итогом размышлений Пушкина о своем жизненном пути, о главном в своей судьбе стало стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», написанном за полгода до смерти. И здесь воплоще-

на любимая пушкинская идея — смысл жизни в поэзии, восславившей свободу в «жестокий век».

* * *

Пушкин однажды заметил, что произведения истинных поэтов «вечно юны». Вечно юны для нас и пушкинские творения.





Страницы
биографии
и творчества
Лушкина



„Новый для меня Парнас“.

Среди поистине беспредельных интересов Пушкина в особенности сильным был интерес к познанию России, ее истории, ее народов, ее просторов — «от финских хладных скал до пламенной Колхиды». Неутомимый путешественник, он использовал каждую возможность, чтобы лучше узнать русскую землю, а возможности эти были до крайности сжаты. Для поездок ему, поднадзорному поэту, приходилось испрашивать разрешение властей, приходилось давать объяснения о самовольных отлучках, получать «выволочки». А когда он уезжал, вслед летели полицейские указания — следить, следить за ним, скромным, по табелю о рангах, чиновником 10-го, а с 1831 года 13-го класса. (Кстати, согласно чинам и званиям на почтовых станциях соблюдался порядок в получении лошадей — очередность и количество: чиновники I-го класса получали двадцать лошадей, Пушкин же имел право только на трех.) И все-таки так или иначе он сумел много поездить, повидал Украину, Кавказ, Крым, Молдавию, Оренбургский край, Поволжье... Его не останавливали условия путешествий:

Теперь у нас дороги плохи,
Мосты забытые гниют,
На станциях клопы да блохи
Заснуть минуты не дают...

Размышляя о своей судьбе вечного странника, он писал:

Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?
Не в наследственной берлоге,

Не средь отческих могил,
На большой мне, зная, дороге
Умереть господь судил...

Проезжая по трактам, останавливаясь на многочисленных почтовых станциях и у переездов, он исколесил многие тысячи верст. По дороге «Петербург — Москва» он не раз ездил маршрутом, описанным Радищевым в его знаменитом «Путешествии из Петербурга в Москву», а в 30-х годах стал писать свое «Путешествие из Москвы в Петербург», полное то явного, то скрытого возмущения порядками в императорской России и сочувствия к судьбе русского крестьянина. По Украине он путешествовал семью маршрутами, проехав почти шесть тысяч верст и побывав в ста с лишним населенных пунктах. Еще большее расстояние проделал он по другим дорогам. Пушкин побывал в Екатеринославе, Тамани, Керчи, Феодосии, Гурзуфе, Симферополе, Тифлисе, Нижнем Новгороде, Казани, Симбирске, Оренбурге, Уральске, подолгу жил в Кишиневе, Одессе... Эти путешествия получили разнообразный отклик в его творчестве.

Пушкин, размышляя о судьбах малых народов, изучал их положение, быт, нравы, фольклор и по книжным источникам (их немало сохранилось в его библиотеке), и в своих поездках по стране. Его не страшили путешествия в самые труднодоступные места, и он иронически воспроизвел в одном из набросков отношение некоей помещицы к отъезду на Кавказ своей богатой приятельницы: «Да ведь это ужасно как далеко! Охота тебе тащиться бог ведает куда, бог ведает зачем».

Первая большая поездка Пушкина, в 1820 году, была невольной. Будучи высланным из Петербурга на юг, в Екатеринослав, он сумел, благодаря генералу Н. Н. Раевскому, поехать с ним и его семьей на Кавказ, который произвел на него глубочайшее впечатление. Он писал брату Льву: «Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видал великолепную цепь этих гор, ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками, разноцветными и недвижимыми; жалею, что не всходил со мною на острый верх пятихолмного Бештау, Машука, Железной горы, Каменной и Змеиной. Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях...»

Вторая поездка Пушкина на Кавказ, самовольная, вопреки запрету властей, состоялась в 1829 году. Пушкин побывал в Ставрополе, Георгиевске, Екатеринограде, Вла-

дикавказе, Тифлисе, на Крестовом перевале, Волчьих воротах, прошел через Безобдальский хребет, побывал в крепостях, участвовал в перестрелке с турецкими наездниками. Было несколько мотивов для поездок 1829 года: интерес к Кавказу, желание увидеть брата и друзей, в том числе и сосланных декабристов (что ему и удалось). На этот раз он познакомился с Кавказом уже не «издали», как раньше, а непосредственно и хорошо подготовленным. Результаты его поездки были очень плодотворными — и лирика, и поэма, и проза. В силу ряда обстоятельств, и личной биографии, и исторических условий, именно Кавказ после России оказался в центре внимания Пушкина.

Обрами Кавказа — величественными и лирическими, грозными и мечтательными, кавказскими мотивами проникнут целый и большой пласт его творчества. Произведения кавказского цикла написаны в разные годы и относятся к разным жанрам: лирике, эпической поэзии, прозе. Этим произведениям посвящены многочисленные труды советских литературоведов. Исследованы важнейшие вопросы истории этих произведений, их источники, идеи¹. При всем этом многое остается еще впереди, постоянно возникают новые задачи, новые проблемы. Среди них и вопросы о значении и судьбах кавказской темы в общей идейно-художественной эволюции Пушкина.

Существует ли внутренняя логика во всем комплексе произведений, связанных с темой Кавказа? Полагаю, что существует. Началом здесь является «Кавказский пленник» (1820—1821). В этой поэме впервые конфликт личности и среды проецируется на кавказский фон и впервые дано пушкинское истолкование проблемы «Кавказ и Россия». В дальнейшем сюда примыкает замечательная кавказская сюита лирических стихов, написанных в 1829 году. Она объединена целостной художественной композицией. В своем сборнике, изданном в 1832 году, Пушкин печатал стихотворения этой сюиты в порядке, который оправдан их внутренней связью. Порядок этот таков: сначала «Кавказ», затем «Обвал», «Монастырь на Казбеке», «Делибаш», «На холмах Грузии...», «Не пленяйся бранной славой», «Дон». В такой последовательности, установленной Пушкиным, выявляется определенная художественная связь.

В издаваемых теперь собраниях сочинений Пушкина эти стихотворения печатаются в другой последовательности, поскольку соблюдается общий для современных изданий

классиков принцип не тематический, а лишь хронологический; учитывается датировка произведений не только по году, но и по месяцам и по дням написания, и это оправданно. Но при восприятии кавказской лирической сюиты в хронологическом порядке исчезает ее композиционная цельность. Если же следовать пушкинской композиции, то ее логика вырисовывается так.

Первое стихотворение «Кавказ» носит обобщающий, как бы программный характер (о нем подробнее скажем ниже). Его мотивы развиты в других стихотворениях этого цикла. При чтении в той последовательности, в какой включил в него стихи сам Пушкин, этот цикл приобретает особый смысл: Кавказ изображается в контрастах, настроения лирического героя ощущаются в их резкой смене, а весь цикл воспринимается как полифонический. Например, в трагически-напряженном стихотворении «Делибаш» погибают оба героя:

Мчатся, сшиблись в общем крике...
Посмотрите! каковы?..
Делибаш уже на пике,
А казак без головы.

А рядом помещено стихотворение «На холмах Грузии...», полное гармонии и покоя. Заканчивается же вся эта сюита двумя стихотворениями, которые пронизаны идеями мира и умиротворения: «Не пленяйся бранной славой» — начальные слова заключают в себе идею произведения, и «Дон» — о возвращении на родину войск, принимавших участие в турецкой кампании 1829 года:

Отдохнув от злой погони,
Чуя родину свою,
Пьют уже донские кони
Арпачайскую струю.
Приготовь же, Дон заветный,
Для наездников лихих
Сок кипучий, искрометный
Виноградников твоих.

К кавказскому идейно-художественному комплексу творчества Пушкина относится также вторая кавказская поэма — «Тазит» (1829—1830). Наконец, завершается весь этот цикл «Путешествием в Арзрум» (1829—1835). В этой повести в единый узел стягиваются идеи, темы, мотивы, которые содержатся в других произведениях Пушкина, связанных с Кавказом.

Итак, этот комплекс пушкинских произведений при

и.сем своем разнообразии имеет определенную внутреннюю логику. Этот вывод не означает, что такая логика была заложена в серии упомянутых произведений с самого начала. Речь идет именно об *объективной внутренней связи*, которая обусловлена общими закономерностями идейно-художественной эволюции Пушкина.

Кавказская тема возникла у Пушкина на важнейшем этапе его биографии — это были годы преодоления духовного кризиса, возникшего в связи с политической ссылкой в 1820 году и его приездом на юг.

Для того чтобы представить значение этой ситуации, новых впечатлений, достаточно сравнить эпилоги «Руслана и Людмилы» и «Кавказского пленника». В эпилоге «Руслана и Людмилы» поэт говорит о своей судьбе в тонах скорбных и безнадежных: «огнь поэзии погас», «скрылась от меня навек богиня тихих песнопений», а в эпилоге «Кавказского пленника» совсем иные настроения — здесь говорится о возрождении пушкинской музыки, о том, что она «для венка себе срывала Кавказа дикие цветы» и явилась «в одежде новой». Весьма знаменательны и строки в посвящении к «Кавказскому пленнику». Здесь и трагические индизказательные упоминания о ссылке («изгнанной лиры пенье» и т. д.), но здесь же и иные мотивы:

Пасмурный Бешту, пустынный величавый,
Аулов и полей властитель пятиглавый,
*Был новый для меня Парнас*².

Из этих и других признаний Пушкина можно заключить, что приезд в новые края, кавказские впечатления — все это обозначило новый этап в его творчестве, возрождение его музыки в новом облике. Но что именно было в основе этого нового этапа творческого пути? Однозначный ответ на этот вопрос невозможен.

Начнем с биографии. Резкая перемена мест, впечатлений создала иллюзию хотя бы некоторого освобождения от властей, от петербургского света, от всего, что было так враждебно поэту. Сходные настроения позже испытывал и Лермонтов, когда восклицал в своем ставшем впоследствии хрестоматийным стихотворении:

Быть может, за хребтом Кавказа
Укроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

Конечно, подобного рода надежды были романтическими иллюзиями, ибо «перемена мест» сама по себе вовсе не означает освобождения личности, и Пушкин вскоре в этом убедился. Однако чувство некоторой свободы поэта-изгнанник мог на первых порах испытывать.

Это одна сторона вопроса.

С другой точки зрения, психологии творчества, новая ситуация — юг, Кавказ, столь противоположный привычному укладу петербургской жизни, — стала могучим импульсом для переоценки всего пережитого раньше. Происходили значительные перемены в мироощущении, открылись иные сферы и горизонты художественного познания, и, следовательно, возникли новые поиски оригинальных художественных форм. Кавказ был для Пушкина совершенно новой эстетической сферой — сферой красоты, яркой и своеобразной. Об этом можно судить по эстетическому восприятию и оценкам Пушкиным кавказской природы, песен горцев, их быта, характера, нравов. Еще Гоголь проницательно определил значение Кавказа для обновления пушкинского творчества.

«Судьба, как нарочно, забросила его туда, — писал Гоголь, — где границы России отличаются резкою, величавою характерностью, где гладкая неизмеримость России прерывается подоблачными горами и обвеивается югом. Исполинский, покрытый вечным снегом Кавказ, среди знойных долин, поразил его; он, можно сказать, вызвал силу души его и разорвал последние цепи, которые еще тяготели на свободных мыслях... Он один только певец Кавказа: он влюблен в него всею душою и чувствами; он проникнут и напитан его чудными окрестностями, южным небом, долинами прекрасной Грузии и великолепными крымскими ночами и садами. Может быть, оттого и в своих творениях он жарче и пламеннее там, где душа его коснулась юга»³.

Насколько сильной вообще бывает новизна кавказских впечатлений, можно судить, например, по свидетельству Чехова, который посетил почти через 70 лет те же места. Чехов восторженно писал: «Все ново, сказочно», «впечатления новые, резкие, до того резкие, что все пережитое представляется мне теперь сновидением»⁴. Таких признаний у русских писателей много⁵. Надо заметить, что знание Пушкиным Кавказа не ограничивалось его непосредственными наблюдениями. Еще в Петербурге он узнавал о нем из рассказов современников, из книг и журналов.

Кавказ привлек Пушкина своим всепроникающим ли-

ризмом особого рода, той стихийной музыкальной романтичностью, которая рождается национальным своеобразием народа и неповторимой своеобразной прелестью природы, которой Пушкин так восторгался.

В связи с этим особым вниманием заслуживает вопрос о конструктивной функции и смысловом звучании образов кавказской природы у Пушкина. Здесь ярко проявилось своеобразие его художественного мышления, универсальность, синтетичность. Для Пушкина природа — это не материал для попутного расцвечивания изображения локальным колоритом и не только ландшафт, не только пейзаж, который с таким изумительным лиризмом и красотой воспроизведен в его творчестве. Природа — это также все существующее во вселенной, органический и неорганический мир, но мир, соотношенный с человеком, мир, связанный бесконечными ассоциациями с человеческими переживаниями. Пушкин, вероятно, согласился бы с презрительными словами Тютчева о тех людях, для которых природа нема, о людях, которые «не видят и не слышат», «живут в сем мире как впотьмах»:

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик.
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.

Но при всех величайших достоинствах поэзии Тютчева Пушкин сумел включить мотивы природы в несравненно более широкий круг ассоциаций с современной жизнью и даже общественными движениями.

Характерна устойчивость эпитетов, которыми сопровождаются в поэзии Пушкина картины кавказской природы: «Кавказа гордые главы», «грозный Кавказ», «негодующий Кавказ», «неприступные горы», «могучие и неукротимые реки», — таков природный фон новой для Пушкина действительности, в которую как бы вписывается, как он сказал, непреклонность черкесов. Его взгляды на покорение Кавказа были поистине диалектическими: в этих взглядах, при всех противоречиях, сказывалось понимание исторической необходимости и неизбежности присоединения Кавказа к России. На этих его взглядах я не буду подробно останавливаться, поскольку их суть хорошо сформулирована в капитальной монографии профессора В. С. Шадури⁶. Важно другое — лирическая соотношенность со всем мироощущением Пушкина его восприя-

тия кавказской природы, гордой, непокорной и непреклонной. Ведь поэт и в изгнании остался гордым и непреклонным. Гордость в пушкинской трактовке — это синоним независимости, самоуважения, сознания собственного достоинства перед лицом суровых испытаний. Эти чувства окрашивают ряд стихотворений Пушкина, посвященных самоанализу, раздумьям о своей судьбе. Вспомним строки его стихов разных лет о «гордости свободной», «о гордом терпении», вспомним оставшееся в рукописи стихотворение «К Овидию» — самооценку своей биографии:

...не унижил век изменой беззаконной
ни гордой совести, ни лиры *непреклонной*.

Все это говорит об универсальности и синтетичности поэтического мышления Пушкина, о разветвленной ассоциативности мышления. Благодаря этим его свойствам описания природы оказывались в прямой связи с восприятием жизни и с выражением мыслей и настроений автора.

Каждое из пушкинских произведений кавказского цикла заслуживает особой характеристики. Но все-таки что общего у них, что объединяет все эти произведения.

Общим является прежде всего такое видение мира, которое открывает возможность беспредельно широкого охвата жизни. Это своеобразный синкретизм, сочетание философской обобщенности и тончайшей детализации, типизации и одновременных авторских оценок всего, что попадает в поле зрения поэта.

Александр Блок сказал о значении живой изобразительности в поэзии: «Искусство красок и линий позволяет всегда помнить о близости к реальной природе и никогда не дает погрузиться в схему, откуда нет сил выбраться писателю». При этом Блок подчеркнул, что Пушкин особенно чувствовал «освободительность рисунка»⁷. Эта «освободительность рисунка», может быть, ярче всего впервые нашла свое выражение в описаниях природы и быта в «Кавказском пленнике». Позже, в кавказском цикле произведений, общие черты метода Пушкина обогатились благодаря и своеобразию новой жизненной сферы изображения, и ее оригинальному осмыслению. Точность изображения вступает здесь в новые связи с символикой. Такие стихотворения, как «Кавказ», как «Обвал», в этом смысле подлинные открытия поэтического видения действительности.

Стихотворение «Кавказ» стало новым явлением в поэзии благодаря сочетанию философской обобщенности с

изображенную им здесь панораму гор. Но подобное изображение не выдерживает критики. Ведь речь идет не о видении в натуралистическом смысле, а о видении поэтически-конструктивном. Если же придерживаться буквалистских критериев в оценке стихотворения «Кавказ», то все оно рухнет, так как во всяком случае поэт не мог видеть с головокругительной горной высоты наездника в ущелье, да еще такого, который «притаился».

Интересна история стихотворения Пушкина «Кавказ». После изображения неукротимого Терека, который «бьется о берег в вражде бесполезной», в черновом автографе следовали строки:

Так буйную вольность Законы теснят,
Так дикое племя под Властью тоскует,
Так ныне безмолвный Кавказ негодует,
Так чуждые силы его тяготят.

Пушкин отбросил эти строки прежде всего потому, что его отношение к завоеванию Кавказа было историчнее, чем это выражено в цитированных строках. Кроме того, они нарушали своей чуждой Пушкину дидактикой художественную цельность стихотворения. Но, как замечает В. С. Шадури, образ непокорного Терека как бы олицетворял не только «буйную вольность» Кавказа, но явился символом движения и борьбы против деспотизма вообще⁸.

В следующем стихотворении кавказской лирической сюиты — «Обвале» — развивается лишь один из мотивов предшествующего стихотворения («грозных обвалов движенье»). Пушкин и здесь следует все тем же сложным композиционным принципам. Но если в стихотворении «Кавказ» панорамирование происходит с самой высокой точки («Кавказ подо мною»), то здесь последовательность пространственно-временных планов иная — не сверху вниз, а снизу вверх:

...надо мной кричат орлы,
И ропщет бор,
И блещут средь волнистой мглы
Вершины гор.

В русской поэзии до этого стихотворения не было произведения на темы природы, столь своеобразного по своей образно-ритмической структуре. Инструментовка стиха, воссоздающая звуковую картину обвала, оригинальное строение строфы и системы рифмовки — все это позволило

создать картину катастрофического движения в природе, побеждаемого, однако, упорством человеческой воли.

Кавказская лирическая сюита является одним из ярких воплощений общих новаторских принципов Пушкина в поэзии. Но родственные творческие принципы воплощены и в таком, казалось бы, далеком от лирической поэзии произведении, как «Путешествие в Арзрум». Оно до сих пор еще недооценено с точки зрения его художественного своеобразия и достоинств. Что касается изучения исторической и автобиографической сторон «Путешествия», то здесь сделано много, получены плодотворные результаты. Но общее представление о «Путешествии» как о дорожном дневнике, конечно, неправильно. Нельзя, пожалуй, назвать ни одного произведения Пушкина в прозе, где проза так гармонично сочетается с поэзией, где содержится широчайший регистр интонаций — то бесстрастных, то восторженных, то обличительных, то лирических, где портретные зарисовки даны с предельной живописной яркостью, с таким лаконизмом, который соперничает с лаконизмом стихотворной формы⁹. «Путешествие в Арзрум» — это проза поэта. Отсюда и сопряжение прозы и стихов:

«Переход от Европы к Азии делается час от часу чувствительнее: леса исчезают, холмы сглаживаются, трава густеет и являет большую силу растительности; показываются птицы, неведомые в наших лесах; орлы сидят на кочках, означающих большую дорогу, как будто на страже, и гордо смотрят на путешественников; по тучным пастбищам

Кобылиц неукротимых
Гордо бродят табуны».

Здесь достигнута плавность сочетания чисто описательных элементов и таких, которые непосредственно предваряют пушкинские же стихи кавказской сюиты. Такова увиденная Пушкиным картина, которая отражена также в стихотворении «Монастырь на Казбеке»: «Утром, проезжая мимо Казбека, увидел я чудное зрелище. Белые, оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и удлинённый монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками». А вот строки «Путешествия в Арзрум», в контексте которых становится очевиднее точность описаний в других стихах кавказской сюиты:

«Мгновенный переход от грозного Кавказа к милостивой Грузии восхитителен. Воздух Юга вдруг начинает по-

вевать на путешественника. С высоты Гут-горы открывается Кайшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, извивающейся, как серебряная лента,— и все это в уменьшенном виде, на дне трехверстной пропасти, по которой идет опасная дорога».

«Стесненный Терек с ревом бросает свои мутные волны через утесы, преграждающие ему путь. Ущелье извивается вдоль его течения. Каменные подошвы гор обточены его волнами».

«Огромная глыба, свалясь, засыпала ущелье на целую версту и запрудила Терек. Часовые, стоявшие ниже, слышали ужасный грохот и увидели, что река быстро мелела и в четверть часа совсем утихла и истошилась. Терек прорылся сквозь обвал не прежде, как через два часа. То-то был он ужасен!»

«Овраг, наполнившийся дождевыми водами, превосходил в своей свирепости самый Терек, тут же грозно ревевший. Берега были растерзаны; огромные камни сдвинуты были с места и загромождали поток».

Вторжение лирического строя в «Путешествие» выражается и в употреблении таких экспрессивных средств, которые в других прозаических произведениях Пушкина не встречаются. И вместе с тем — это также исследование историческое и этнографическое, основанное на личных наблюдениях и на источниках, часть которых указана Пушкиным в самом тексте.

Содержание «Путешествия в Арзрум» по сути подытоживает все те проблемы, которые волновали Пушкина в связи с темой Кавказа. Произведение это, однако, оказалось в противоречии с «видами правительства», ожидавшего, что Пушкин восславит николаевскую политику на Востоке. Отражая разочарование правительственных кругов, Булгарин писал: «Кавказ, Азия и война. Уже в этих трех словах поэзия, а «Путешествие в Арзрум» есть не что иное, как холодные записки, в которых нет и следа поэзии»¹⁰. А. Бенкендорф, соглашаясь с этим отзывом, писал царю: «Перо Булгарина, всегда преданное власти, сокрушается над тем, что путешествие за Кавказскими горами и великие события, обессмертившие последние года, не придали лучшего полета гению Пушкина»¹¹.

Пушкин воплотил в «Путешествии в Арзрум», обобщил свои размышления о Кавказе. «Путешествие» можно рассматривать как завершающее во всем комплексе кавказских произведений. Но при этом нужно сделать оговорку.

Если бы Пушкин полностью завершил поэму «Тазит», то именно она была бы итоговым обобщением самой острой из проблем, возникших на Кавказе,— проблемы «Кавказ и Россия». Написанные части этой поэмы и ее планы свидетельствуют об этом со всей определенностью.

Как я полагаю, сам замысел «Тазита» должен был явиться своеобразным пересмотром ряда важнейших решений, идейных и художественных, которые десять лет назад содержались в «Кавказском пленнике». Между этими двумя поэмами пролегла целая большая полоса творческого развития Пушкина. Это развитие носило не плавный, постепенный, а, можно сказать, революционный характер. Каждое крупное произведение, написанное в эти годы,— «Борис Годунов», «Полтава», «Евгений Онегин» и другие были открытиями новых горизонтов, новых идей, новых методов и средств изображения.

В чем же сказался пересмотр идейно-художественной основы «Кавказского пленника» в процессе создания поэмы «Тазит»?

Пушкин вскоре же после окончания «Кавказского пленника» сурово раскритиковал эту свою поэму. Надо сказать, что литературоведы привыкли полемизировать с теми жесткими критическими оценками, которые великие писатели иногда давали своим собственным произведениям. Порой такие оценки стесняются цитировать. Но будем следовать словам Пушкина, который сказал однажды, что писателя следует судить по законам, им самим над собою признанным. И с точки зрения не абсолютных, а относительных критериев, то есть сравнивая первую кавказскую поэму с более зрелыми произведениями, трудно не согласиться с пушкинской самооценкой «Кавказского пленника». А он утверждал, что характер пленника не удался, что поэма «бедна изобретением», что мотивы разочарования героя непонятны читателю (письмо В. П. Горчакову и черновик письма Н. И. Гнедичу в 1822 г.). В этом отношении замысел второй кавказской поэмы является полной противоположностью первой. «Тазит» отличается сложным трагедийным планом. Здесь резко очерчены характеры, сюжетные мотивировки реалистически оправданы и ясны. Да и сама интрига ее — пропасть, возникшая между отцом и сыном как результат столкновения противоположных убеждений, оказалась типичной и, кстати говоря, не только для того, но и для позднейшего времени.

Но при всем различии между первой и второй кавказ-

скими поэмами некоторые черты героя второй из них — Тазита — генетически связаны с характером кавказского пленника, хотя идейно-художественное истолкование образов здесь другое. В «Тазите» по существу ставится близкая проблема отчужденности героя от своей среды, его одиночество в мире. В характере Тазита воплощены элегические и романтические черты. Он печален, тоскует, мечтает, подобно кавказскому пленнику, любит внимать буре:

Печаль заснула
В душе Гасуба. Но Тазит
Все дикость прескиную хранит.
Среди родимого аула
Он как чужой; он целый день
В горах один; молчит и бродит.
Так в сакле кормленный олень
Все в лес глядит; все в глушь уходит.
Он любит — по крутым скалам
Скользить, ползти тропой кремнистой,
Внимая буре голосистой
И в бездне воющим волнам
Он иногда до поздней ночи
Сидит, печален, над горой;
Недвижно в даль уставя очи.
Опершись на руку главой.

В этих характеристиках образа есть даже стилистические реминисценции из поэмы «Кавказский пленник». Но отчужденность Тазита, его тоска раскрываются в отличие от первой поэмы, в самом движении сюжета. Тазит не приемлет жестоких обычаев и традиций своего племени, он находится в духовном нравственном конфликте со своей средой. Его гуманная натура вступает в непримиримое противоречие с жестокостью, мстительностью соплеменников, с нападением на беззащитного. Он не может отомстить, следуя закону кровной мести, убийце брата, потому что тот «был один, изранен, безоружен...». А ведь брат был убит близ древнего городища Татартупа, места, где, по горским адатам, человек, даже будучи преступным, считался неприкосновенным. Пушкин использовал эту деталь, чтобы усилить драматизм ситуации.

Характеры Тазита и его отца Гасуба исполнены противоречий (в отличие от однолинейных, однообразных характеров романтической поэмы!). Тонкими приемами показано, что Тазиту было мучительно скрывать свои думы и чувства. Он порой даже ощущает свою вину перед отцом: «потупил очи», «главу склонил». А когда Тазит нарушил закон племени и не отомстил убийце брата, то предстал

перед отцом «бледен как мертвец». Трагическими противоречиями наделен также образ отца. Его яростный обвинительный монолог, обращенный к сыну, казалось, навсегда решил судьбу Тазита, проклятого отцом и изгнанного из дома:

«Поди ты прочь — ты мне не сын,
Ты не чеченец — ты старуха,
Ты трус, ты раб, ты армянин!
Будь проклят мной! поди — чтоб слуха
Никто о робком не имел,
Чтоб вечно ждал ты грозной встречи,
Чтоб мертвый брат тебе на плечи
Окровавленной кошкой сел
И к бездне гнал тебя нещадно,
Чтоб ты, как раненый олень,
Бежал, тоскуя безотрадно,
Чтоб дети русских деревень
Тебя веревкою поймали
И как волчонка затерзали,
Чтоб ты... Беги... беги скорей,
Не оскверняй моих очей!..»

Но все же и здесь нет прямолинейности. После семейной бури отец «наземь лег» и очи закрыл. «И так лежал до ночи». Однако, очнувшись, он трижды позвал сына, но напрасно... Далее, судя по черновому тексту, сюжет еще более осложняется. Тазит подвергся и дальнейшим испытаниям, его отверг также и отец любимой девушки, потому что человек, который «мстить за брата не умеет», чужд своему народу. Однако Тазит проявил стойкость характера:

...с этих пор
Ни с кем не вел он разговора,
И никогда на деву гор
Не возводил несчастный взора.

На этом поэма обрывается. Судя по наброскам плана, далее должны были следовать эпизод встречи с христианским миссионером, война, участие Тазита в сражении, его смерть и эпилог. О содержании поэмы, о ее идее идут длительные споры. Еще один из первых пушкинистов — П. В. Анненков говорил о христианской идее поэмы. Он мотивировал ее теми местами из «Путешествия в Арзрум», где Пушкин писал о пропаганде христианства с целью приобщения племен к европейской цивилизации¹². Это истолкование идеи Тазита поддержали в разных вариантах ряд исследователей, в том числе В. Л. Комарович и Г. Ф. Турчанинов (хотя по-разному трактуя причину отказа Пушкина от ее реализации)¹³. Д. Д. Благой считает, что

Пушкин, поначалу желавший реализовать в поэме миссионерскую идею, затем отказался от нее, поскольку увидел, что таких проповедников в современной действительности нет. Поэтому и работа над поэмой «Тазит» оборвалась на пункте «Миссионер»¹⁴. Действительно, о нереальности миссионерской идеи в данных условиях Пушкин писал в «Путешествии в Арзрум». Обращаясь к главарям православного русского духовенства и противопоставляя его древним апостолам, Пушкин восклицал: «Лицемеры! Так ли исполняете долг христианства? Христиане ли вы? С сокрушением раскаяния должны бы потупить голову и безмолвствовать...»

Не будем, однако, входить здесь в разбор различных гипотез о дальнейшем разворачивании сюжета, а вернемся к основному вопросу. Коренные различия между художественными концепциями «Кавказского пленника» и «Тазита» бесспорны. Но особенно важно, что «Тазит» явился своеобразным пересмотром той односторонней трактовки завоевания Кавказа, которая была дана в одическом эпилоге «Кавказского пленника». Раздумья о путях просвещения племен, противоположные жестокой усмирительной политике царизма, отразились и в «Тазите», и в «Путешествии в Арзрум».

Прошло десять лет после того, как был написан «Кавказский пленник», и Пушкин на деле, своими глазами, увидел войну, увидел, что творили, усердствуя перед царем, его приспешники. И Пушкин воспроизвел суровую правду, вызвав тем самым резкие нападки на себя официальных кругов и продажной болгаринской клики. Если эпилог «Кавказского пленника» был выдержан в одических тонах, то теперь он с сожалением замечал о черкесах: «Аулы их разорены, целые племена уничтожены». И после описания жестокости усмирения и ответной жестокости черкесов Пушкин заключает: «Есть средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века» и в этой связи говорит о проповеди христианства. При этом Пушкин безусловно имел в виду не казенное православие, о котором осталось столько его обличительных отзывов. Как раз в эти годы Пушкин интересовался ролью христианства, но в смысле определенной исторической фазы европейского просвещения, а не с узкой точки зрения религии как таковой. Его взгляды приближались в этом отношении к концепции одного из прогрессивных французских историков его времени — Франсуа Гизо. В за-

метках Пушкин писал, что Гизо «объяснил одно из событий христианской истории: европейское просвещение». Что же касается миссионерства, то Пушкин далеко не считал его безупречным институтом. С возмущением отзывался Пушкин о жестокости католических миссионеров Белоруссии, как и о методах насаждения христианства в Америке. О русском же духовенстве Пушкин в этом смысле, как мы видели, отзывался так, что этот отзыв остался по цензурным соображениям лишь в рукописи «Путешествия в Арзрум».

Печатаая в «Современнике» это произведение, Пушкин в том же номере журнала (1836, № 1) поместил рассказ Казы Гирея «Долина Ажитугай» с своим послесловием. Пушкин так аттестовал этого автора: «Вот явление, неожиданное в нашей литературе! Сын полудикого Кавказа становится в ряды наших писателей; черкес изъясняется на русском языке свободно, сильно и живописно». С каким удовольствием Пушкин отметил этот редкий еще в то время, но яркий и обнадеживающий факт!

Идея дружеского сближения русского и кавказского народов отразилась и в замыслах двух неосуществленных произведений Пушкина 30-х годов — поэме о русской девушке и черкесе и в эпизодах задуманного «Романа на кавказских водах».

План поэмы о русской девушке и черкесе Пушкин набросал вскоре после возвращения из путешествия в Арзрум. Это своеобразный вариант сюжета «Кавказского пленника»: здесь пленником оказывается не русский, а черкес; русская девушка, в отличие от разочарованного и безвольного героя «Кавказского пленника», оказывается активной натурой и бежит со своим возлюбленным. Вот этот план:

«Станица — Терек — за водой — невеста — черкес на том берегу — она назначает ему свидание — [он хочет увезти ее] — тревога — бабы [убивают молод<ого> черкеса] — берут его в плен — отсылают в крепость — обмен — побег девушки с черкесом.

Сохранился отрывок текста поэмы:

Полюби меня, девица!

[Нет]

Что же скажет вся станица?

Я с другим обручена.

«Твой жених теперь далече»

Судя по этим строкам, поэма задумана, в отличие от «Кавказского пленника», в стиле, близком бытовой раз-

говорной речи. Замысел не был осуществлен. По-видимому, возврат к сюжету ранней романтической поэмы (пусть в ином ключе и с иным развитием) все же показался Пушкину нецелесообразным. Но тема «Кавказского пленника», свободолобного романтического героя, включена Пушкиным в замысел романа, который условно именуется «Роман на кавказских водах» (датируется 1831 г.). Сохранилось начало романа — отъезд одной из героинь на Кавказ — и несколько вариантов плана. Один из его героев поименован фамилией реального прототипа — А. И. Якубовича, офицера, переведенного в 1816 г. на Кавказ, а впоследствии участника восстания 14 декабря 1825 г. (был приговорен в 1826 г. к каторге).

В планах задуманного романа фигурирует некий «кавказский пленник». Здесь намечены такие эпизоды, как нападение черкесов, но, с другой стороны, дружеское общение черкесов с русскими (кунак, друг Якубовича, сказано в одном из планов). Вместе с тем все повествование, судя по планам, должно было вестись на канве пестрого быта этих мест, кавказских вод (где приехавшие лечиться составляли общество с военными, служившими на Кавказе) и станиц с изображением разнообразных колоритных фигур — русских и черкесов.

* * *

Итак, функция кавказской темы в творчестве Пушкина многообразна. Обращение к этой теме обозначило начало нового этапа пушкинского творчества, когда символика Парнаса в ее традиционно-классицистическом понимании рушилась и возникал, по выражению Пушкина, «новый Парнас». В произведениях кавказского цикла проявились новые грани художественной трактовки целого круга проблем — исторических, эстетических, морально-этических. Идеино-художественные принципы, воплощенные здесь, связаны с общими закономерностями эволюции Пушкина. В кавказском комплексе произведений обнаруживается и своя определенная концептуальность, развитие которой привело Пушкина к новым художественным исканиям, к новым решениям, к новаторским завоеваниям. Вместе с тем, разрабатывая кавказскую тему, Пушкин размышлял о сближении кавказских, как и других, народов России с русским народом, предвидел это сближение, верил в него.





После трагедии 14 декабря

1

В морозные декабрьские дни 1825 года, когда Россия была потрясена восстанием на Сенатской площади и жестоким подавлением первой попытки революционного переворота, Пушкин находился в михайловской ссылке. Лишь значительно позже он узнал все подробности этой трагедии, бросившей кровавый отсвет на жизнь поколения, лучшие люди которого были уничтожены или обречены на долгие годы каторги или ссылки. Думы об этих людях, об уроках трагедии, о будущем страны обуревали Пушкина всю жизнь, они отразились в его письмах, художественных произведениях, публицистике. В годы подготовки восстания он, не будучи членом тайного общества, участвовал в его деле призывным грозным словом поэта, и нет никакого преувеличения в звучащих тогда признаниях, что вся страна была наводнена его «возмутительными» стихами. Самое имя Пушкина было в эпоху декабризма символом свободлюбия.

Теперь, после декабрьской катастрофы, на его долю выпадала историческая миссия хранителя и продолжателя традиций разгромленного поколения, тех, кого он называл «друзья, братья, товарищи». Эту миссию ему предстояло выполнить в сложнейших условиях правительственного террора и торжества всех черных сил. В прогрессивных кругах царили настроения уныния и отчаяния. И в то же время вокруг было немало фактов трусости, ренегатства, отступничества и даже прямого предательства, нередко со стороны тех, которые недавно принадлежали к фронде.

Временами Пушкиным овладевало отчаяние. Вспомним скорбные строки стихотворения, написанного в роковом

1826 году, году суда, казней, ссылок,— «Так море, древний душегубец...», или другое, написанное в день рождения — 26 мая 1828 года — «Дар напрасный, дар случайный...»

Все же Пушкин не покорялся. Ситуация осложнялась для него иллюзиями, которые были внушены царем и отразились в «Стансах» («В надежде славы и добра...»). «Стансы» были трагической ошибкой; вызванные лучшими субъективными намерениями¹, они стали затем для Пушкина причиной мучительных переживаний. О «Стансах» — одни с болью, другие злорадно говорили как об измене поэта свободолюбивым убеждениям. Ему пришлось оправдываться: с этой целью было написано стихотворение «Друзьям» («Нет, я не льстец...»). Надежды на царские реформы то рассеивались, то вновь возникали под влиянием слухов о готовящихся «переменах» в государстве. Но при всем этом Пушкин в годы реакции был достойным выразителем тех сил молодой России, которые скорбели о судьбе казненных и каторжников, постоянно напоминали об их подвиге. Только самые смелые не боялись выражать свои чувства, хотя это было время, о котором можно было бы сказать пушкинскими стихами:

В наш век, вы знаете, и слезы преступленья,
О брате сожалеть не смеет ныне брат.

Пушкин ощущал свой долг перед декабристами. Подобно завещанию стали звучать для Пушкина слова Рылеева, обращенные в письме к нему всего лишь за три недели до событий на Сенатской площади: «На тебя устремлены глаза России; тебя любят, тебе верят, тебе подражают. Будь поэт и гражданин». С наказом такого рода обратился к Пушкину уже после разгрома восстания другой декабрист, друг Рылеева, Александр Бестужев. В письме к Н. Полевому 9 марта 1833 года он просил передать Пушкину: «Ты надежда Руси, не измени, не измени ей, не измени своему веку...»²

Связи между Пушкиным и осужденными декабристами поддерживались разными путями. Далеко не все эти пути известны.

На каторге и в ссылке декабристы жадно ловили каждую весть о том, помнят ли их, не считают ли их подвиг напрасным? Декабрист Ф. Вадковский (приговоренный к пожизненной каторге) тревожно спрашивал в своих стихах:

Помнишь ли ты нас, Русь святая, наша мать,
Иль тебе, родная, не велят и вспоминать?³

Ряд исследователей считают, что после разгрома декабристов их дело, их идеи потеряли живой интерес для Пушкина: он понял, что восстание не могло победить. В качестве одного из доказательств обычно приводятся следующие слова Пушкина из записки «О народном воспитании»: «...должно надеяться, что люди, разделявшие образ мыслей заговорщиков, образумились; что, с одной стороны, они увидели ничтожность своих замыслов и средств, с другой — необъятную силу правительства, основанную на силе вещей. Вероятно, братья, друзья, товарищи погибших успокоятся временем и размышлением, поймут необходимость и простят оной в душе своей». Но понятие «образумились» не означает здесь ни раскаяния, ни отказа от своих убеждений, а лишь предположение, что люди, разделявшие образ мыслей «заговорщиков», то есть декабристов, поймут, что силы для сокрушения режима были слабыми, а силы правительства, подавившего восстание, огромны. Слова же о том, что «братья, друзья, товарищи погибших поймут необходимость», имеют лишь один смысл: поймут, что в данных исторических условиях поражение восстания было неизбежным.

Верно, что еще до 1825 года, а тем более после восстания Пушкин поставил в своем творчестве новые вопросы, выходящие далеко за пределы дворянской революционности, вопросы прежде всего о роли народа. Верно, что в центре размышлений Пушкина о грядущих «переменах» все с большей остротой выдвигались вопросы и о стихийной крестьянской революционности, о новой политической тактике, учитывающей опыт истории, но эти правильные мысли в последнее время почти совсем отодвинули другой вопрос — о значении декабристской темы и декабристских мотивов в творчестве Пушкина 1826 — 1830-х годов. Для Пушкина проблема декабристского движения никогда не теряла своей остроты. Он расценивал поражение восстания как историческую трагедию, призывал взглянуть на нее «взглядом Шекспира». Он понимал, что в данных условиях декабристы не могли победить, но никогда не считал, что их дело было ошибочным, что дело тайного общества не надо было и начинать, что декабристы были оторванными от жизни мечтателями. А ведь в то время многие расценивали этот подвиг как бессмысленный. Да, он видел, что силы восставших были ничтожны, а сила правительства — необъятна. Но деятельность декабристов навсегда оставалась для него не только исторически обусловлен-

ной, — «братья, друзья, товарищи», осужденные Россией Николая I, были окружены в его сознании героическим ореолом. Понимание исторического значения подвига декабристов Пушкин выразил в точных словах:

Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье...

Сейчас мы не встретим в литературе утверждений о том, что Пушкин «образумился» после высочайшей аудиенции у Николая I в 1826 году и стал верноподданным, сомкнувшись с дворянской реакцией на декабризм. Эта легенда давно разоблачена. На очереди изучение роли Пушкина в борьбе против дискредитации декабризма, против тех, кто по разным мотивам — прямой консервативности или трусости — хотел поскорее предать память о декабристах забвению.

В ситуации 1826—1830 годов огромную опасность для освободительного движения представляло утверждение, что поражение декабристов навсегда доказало неизбежность самодержавного строя. Эту идею поддерживали не только заядлые реакционеры, но и те, кто совсем недавно фрондировали или «на всякий случай» заигрывали с деятелями тайных обществ, а также и некоторые люди, которые так или иначе участвовали в самом движении, а теперь были смертельно напуганы.

Опаснейшую для будущего России идею бессмысленности вольнолюбивых замыслов и надежд доказывали, опираясь на факт полного разгрома восстания. Эта идея в то время настолько была распространенной, что находила выражение и в лирической поэзии. В стихотворении Ф. Тютчева, написанном в 1826 году, поэт, обращаясь к декабристам, восклицал:

Народ, чуждаясь вероломства,
Поносит ваши имена,
И ваша память от потомства,
Как труп, в земле схоронена.

Восстание бессмысленно: нельзя «скудной» кровью растопить «вечный полюс». Все тщетно:

Зима железная дохнула —
И не осталось и следств.

И это писал один из замечательнейших поэтов!

В иной, шаблонной форме такого рода мотивы повторяли другие, большей частью бездарные стихотворцы. По ру-

кам ходили и гнусные эпиграммы, оскорблявшие память героев. Дискредитацией декабризма с особенным пылом занималась реакционная публицистика.

В этой обстановке громадной исторической заслугой Пушкина было противостояние всему этому мутному потоку. Пушкин противостоял ему всем своим творчеством, всем строем своих мыслей, чувств, стремлений, которые были свойственны и лучшим представителям декабризма и которые выражались не только в тех или иных политических лозунгах или положениях, но и в презрении ко всякому малодушию, к попыткам оправдать отказ от борьбы ссылками на так называемую «силу обстоятельств». Он осуждал тех, кому были чужды высокие порывы, людей по-молчалински избегавших всего, что связано с тревогами, дерзанием, риском. Вспомним его строки, полные глубокого смысла, из «Евгения Онегина», они написаны в конце 20-х годов, но в них звучат интонации юношеского романтизма:

Жалок тот, кто все предвидит,
Чья не кружится голова...
Чье сердце опыт остудил...

Пушкин, размышляя над уроками «жесточкого опыта», не пришел, однако, к пессимистическому выводу о том, что «все тщетно». Он обличал пошлое благоразумие тех, кому чужды мятежные стремления, кто, по его выражению, «странным снам не предавался».

Несмотря на неудачу восстания, Пушкин не исключал возможность его повторения, пусть на новых путях, в новых условиях, но при участии тех же сил, которые вышли 14-го декабря на Сенатскую площадь. Почти через десять лет, в 1834 году, он писал: «Кто был на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько же их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется, много». Из этого не следует, по мнению Пушкина, что «возмутителями» будут *только* дворяне, но тем не менее он полагал, что их будет *кажется, много!* Из этого и других рассуждений можно заключить, что Пушкин не считал силу дворянской революционности исчерпанной. Он размышлял о том, как эта сила могла бы сочетаться с другими силами, какова будет роль народа, роль несозревшего еще тогда «третьего сословия». Нельзя согласиться с теми исследователями, которые считают, что слова Пушкина из послания к декабристам-каторжникам «И братья меч вам отдадут» означают не более, чем «гражданскую реабилитацию» осужденных, а не надеж-

ду на возобновление борьбы в будущем. Но ведь это здесь сказано, что борцы вновь обретут свое оружие («меч»), получат его из рук единомышленников-братьев, что «темницы рухнут», то есть будут разрушены, а не откроются для заключенных в результате каких-то помилований. Именно так и было понято обращение Пушкина к декабристам в стихотворном ответе Александра Одоевского. Утверждение Пушкина «Не пропадет ваш скорбный труд» соответствует словам Одоевского:

Наш скорбный труд не пропадет...
...И вновь зажжем огонь свободы...

Итак, справедливость, героизм революционной попытки декабристов, ее историческое значение были для Пушкина незыблемыми истинами. Отсюда и стремление сохранить в памяти современников и для грядущих поколений традиции декабризма — помешать попыткам стереть в сознании общества их дела, их опыт. Для этого использовались всевозможные пути, легальные и нелегальные, всевозможные приемы.

Еще до сих пор в полной мере не осмыслен широкий комплекс декабристских мотивов в творчестве Пушкина. Особенно это относится к пушкинской лирике.

В освещении вопроса о том, как Пушкин относился в 1826—1830-х годах к декабристскому движению, до сих пор проявляется известная узость. При этом, как правило, ссылаются только на те произведения, где декабристские мотивы воплощены непосредственно; таковы «В Сибирь», «Арион», X глава «Евгения Онегина». Но картина значительно расширяется, если принять во внимание специфику трактовки этой темы в творчестве Пушкина, многообразие способов воплощения идей, мыслей, мотивов, образов, связанных с декабризмом и отразившихся в его произведениях. Преклонение перед подвигом декабристов, неумные, тревожные, мучительные и скорбные мысли о них, о своем долге перед ними, о своей судьбе, о своем положении, о собственной миссии — все это было свойственно Пушкину до конца его жизненного пути.

Мир Пушкина-поэта — это целостный мир, в котором соединились в неразрывном единстве все сферы бытия. Поэтому в стихотворении на гражданскую тему могли возникать, не разрывая художественную ткань, глубоко личные, интимные мотивы, поэтому пейзажная лирика сплеталась с размышлениями о судьбах истории, поэтому в дружеских

посланиях соседствовали политическое обличение и воспоминание о далекой юности, негодование и шутки, слезы и смех. Все это необходимо учитывать и при изучении декабристских мотивов в лирике Пушкина, «вкрапленности» этих мотивов в стихотворения, написанные в различных жанрах и вызванные различными поводами и импульсами. Так, с чисто пушкинской всеобъемлющей широтой в стихотворении «Все в жертву памяти твоей...», обращенном к любимой женщине, упоминаются

И голос лиры вдохновенной,
И слезы девы воспаленной,
И трепет ревности...

и вместе —

...Славы блеск, и мрак изгнанья,
И светлых мыслей красота...

2

Как отмечал Пушкин памятные даты, связанные так или иначе с историей декабризма или с деятелями движения, среди которых было так много его близких друзей и знакомых? Одним из путей, которые могут привести к ответу на этот вопрос, может быть исследование стихотворений, написание которых совпадает с памятными датами истории декабризма, а также с определенными датами политической биографии самого Пушкина. В полном объеме это исследование пока еще не осуществлено, так как время написания многих его стихотворений установлено приблизительно (ведь и академическое издание Пушкина, к сожалению, никаких мотивировок предлагаемых дат не дает). Но даже те даты, которые сам Пушкин указывал в рукописях или которые установлены исследователями, недостаточно учитываются при освещении интересующей нас темы.

Попробуем выделить даты, которые были для Пушкина особенно значительными, — такие, как годовщины восстания декабристов (декабрь) и казни вождей восстания (июль). Знаменательной и всегда связанной с декабристскими мотивами была для Пушкина также дата открытия Царскосельского лицея (октябрь). Годы пребывания в этом заведении были связаны с воспоминаниями о вольнолюбивых надеждах, о «святом братстве», «семье друзей», среди которых были особенно близкие ему И. Пущин и В. Кю-

хельбекер, томившиеся теперь в тюрьмах. На эти даты падает создание ряда произведений, которые содержат прямые или косвенные декларации политического характера или дорогие и священные для поэта воспоминания.

Было время, когда стихотворение «Арион» (1827) называлось лишь гипотетически в качестве посвященного декабристской теме. Но Т. Г. Цявловская обратила внимание на дату его написания — 16 июля: оно написано в месяц, когда были казнены пять вождей восстания. И все стихотворение приобрело для нас новый, трагический смысл. Но есть и другие факты, которые требуют изучения с точки зрения упомянутого принципа синхронности. В июле 1828 года — в годовщину казни декабристов — написан «Акафист Екатерине Николаевне Карамзиной», где есть строки:

Земли достигнув наконец,
От бурь спасенный провиденьем...

Связь с замыслом написанного годом раньше «Ариона» несомненна (образ пловца, спасенного в бурю). В черновике любопытен вариант: вместо «увядшего венца» поэта, как в окончательном тексте, здесь «терновый венец», — венец страдальческий.

Есть и более сложные соотношения. В 1836 году, в июле — годовщину казни декабристов, — написано стихотворение «Из Пиндемонти» — о свободе поэта, в том числе свободе от «властей» (в автографе вариант «Свобода от царя»):

К годовщине восстания на Сенатской площади также приурочен ряд пушкинских стихотворений. 13-м декабря — кануном восстания — помечено в 1826 году адресованное И. И. Пущину послание «Мой первый друг, мой друг бесценный...». Вспоминая приезд своего лицейского сверстника в Михайловское в 1825 году, Пушкин писал:

Молю святое Провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!

Это послание было отправлено Пущину на каторгу вместе с стихотворением «Во глубине сибирских руд...».

14 декабря 1829 года — годовщина восстания — дата в рукописи неоконченного стихотворения «Воспоминания в

Царском Селе». В соотношении с этой датой новый смысл приобретают скорбные строки:

...Увидев, наконец, родимую обитель,
Главой поник и зарыдал⁴

Темы декабризма и Лицея переплетались в стихотворениях, посвященных «лицейским годовщинам», дню основания Лицея — 19 октября. Таково стихотворение, которым отмечена эта годовщина в 1827 году с обращением к сверстникам:

Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море,
И в мрачных пропастях земли

Несомненно, о декабрьской катастрофе и судьбах ее жертв вспоминал Пушкин и в стихотворении, посвященном лицейской годовщине в 1831 году:

...рок судил
И нам житейски испытанья,
И смерти дух средь нас ходил
И назначал свои закланья.

Особого и обстоятельного исследования заслуживают сложные приемы, которые использовались Пушкиным в произведениях, связанных с запрещенной и опасной декабристской темой. Эти методы были весьма разнообразными. Первое место принадлежит здесь, конечно, произведениям нелегальным. К ним относятся стихотворения «В Сибирь», распространенное во многих копиях, или «И. И. Пушину». Но круг нелегальных произведений на декабристскую тему был ограниченным в условиях последекабрьской реакции, и тем более узким мог быть круг их читателей. Более широкие возможности открывали всякого рода легальные формы и приемы разработки декабристских тем и мотивов. Их можно разделить на две группы. К первой относятся так называемые «ухищрения» в борьбе с цензурой и «эзоповский язык». Ко второй группе — более сложные, связанные с некоторыми принципами поэтической системы Пушкина, с многоплановостью и семантической емкостью поэтического языка, с богатством его ассоциативных связей. Пользуясь этими приемами, можно было говорить в легальной печати на запретные темы (ориентируясь, разумеется, на восприятие читателями определенных кругов).

Исследуя все эти формы и приемы, нужно, однако, пре-

дупредить против вульгаризаторского вычитывания из произведений Пушкина несуществующих намеков, мнимо скрытых замыслов. В пушкиноведении было немало работ, сводивших чуть ли не все творчество поэта к «загадкам», которые будто бы надо постоянно расшифровывать. Подобный подход, позволяющий вкладывать в пушкинские строки все, что угодно, разумеется, ничего полезного не дает.

Напомним попытку Л. Войтоловского доказать, что «Египетские ночи» — аллегорическое изображение восстания декабристов, или предположение В. Ходасевича о том, что стихотворение «Отрок милый, отрок нежный...» обращено к «одному из декабристов».

Испытанные и применявшиеся еще в эпоху декабристского движения приемы иносказания, намеков, обиняков, рассчитанные на догадливость читателя, Пушкин обогатил новыми. В условиях реакции требовались еще более тонкие приемы, и Пушкин это понимал, советуя Вяземскому в июле 1826 г. в связи с одним публицистическим замыслом: «...скажи в се... для этого должно тебе употребить то красноречие, которое определяет Гальяни в письме о цензуре»⁵.

Среди приемов, использованных при разработке политических мотивов, у Пушкина встречаются такие, как аллегория, развернутая то в целостном произведении (например, «Арион»), то в отдельных искусно вмонтированных в текст намеках; как методы аналогий и уподоблений; как скрытые, но угадываемые читателями цитаты из произведений декабристов; как направленное использование афоризмов, например из Саади — «Одних уж нет, а те далече», — намек, понятый сразу же рядом современников; как пропуск слов, которые без труда подсказываются самим ритмом стихотворения (например, в первоначальном тексте «Осень» о поэтах: «И ты <...> живая жертва Леты» — пропущено слово — Вильгельм — то есть В. Кюхельбекер (это наблюдение принадлежит В. В. Гиппиусу)). К числу этих приемов относятся и исторические аналогии.

Одной из таких аналогий является неоконченное (но перебеленное) стихотворение «Какая ночь. Мороз трескучий...», которое, по-видимому, также приурочивалось к годовщине расправы с декабристами и казни ее вождей. Оно датируется, согласно положению в рукописи, апрелем — июлем 1827 года. Непосредственный ее сюжет связан с опричниной. Однако в нем некоторые строки настолько ассоциировались с событиями 1825—1826 годов, что

даже в 1838 году, когда стихотворение было впервые (посмертно) напечатано в «Современнике» (в № 3), были изъяты по требованию цензуры строки, живо напомилавшие о восстании на Сенатской площади. Среди них — описание площади, где

Недавно кровь со всех сторон
Струею тощей снег багрила,
И подымался томный стон,
Но смерть коснулась к ним как сон,
Свою добычу захватила.

Изъяты были также строки о «перекладине дубовой», на которой «качался труп», и другие, которые могли быть поняты как иносказательная картина расправы верных царю войск с восставшими:

Не мы ли яростно топтали,
Усердной местию горя,
Лихих изменников царя?
Не их ли кровию омыты
Твои булатные копыты!

Приемы, маскировавшие опасные мысли и аналогии, были весьма разнообразными. Приведу еще несколько примеров.

Замысел статьи Пушкина «Александр Радищев» (1836) сложен. Основная цель ее заключалась в том, чтобы напомнить в печати об этом писателе-революционере. Но осталась незамеченной еще одна цель этой статьи — поставить деятельность Александра Радищева в связь с движением декабристов. Статье был предпослан эпиграф: «Не следует, чтобы честный человек заслуживал повешения»⁶. Читатель, разумеется, сразу же должен был обратить внимание на этот афоризм. Он имеет здесь определенную направленность. Не случайно в приложении к статье помещен отрывок из записок Храповицкого, где упоминается однофамилец декабриста Рылеева. В этой же статье Пушкина содержится сентенция, сопоставляющая действия одинокого Радищева с тактикой тайного общества: «Мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает вооружиться противу общего порядка, противу самодержавия, противу Екатерины. И заметьте: заговорщик надеется на соединенные силы своих товарищей; члены тайного общества в случае неудачи или готовятся извещать заслужить себе помилование, или, смотря на многочисленность своих соумышленников, полагаться на безна-

казанность. Но Радищев один. У него нет ни товарищей, ни соумышленников».

Все это вместе взятое — афоризмы о повешении, упоминание однофамильца Кондратия Рылеева, рассуждения о тайном обществе — вступает в сложную ассоциативную связь.

Ассоциации, связанные с казнью, повешением, возникли в лирике Пушкина по самому неожиданному поводу и в неожиданных контекстах: то в стихах мадригального характера («Вы вздохнете ль обо мне, если буду я повешен», 1827, — «Ек. Н. Ушаковой» и «Когда помилует нас бог, Когда не буду я повешен» — «Е. П. Полторацкой», 1830); то в строфе о Ленском, который «мог быть повешен, как Рылеев»; то в письме к Дельвигу, где по совершенно косвенному поводу — в связи с философской позицией «Московского вестника» многозначительно упоминается веревка «...веревка вещь какая?», то в письме к Осиповой (июнь, 1826), где приводится грустная шутка арлекина, ответившего на вопрос, что он предпочитает, быть колесованным или повешенным: «Я предпочитаю молочный суп»; то в «Моей родословной» с нравоучительным выводом:

С Петром мой прашур не поладил
И был за то повешен им.
Его пример будь нам наукой.
Не любит споров властелин.

Так в разных контекстах с разными применениями возникает в различных произведениях Пушкина мотив, воплощенный и в его рисунке — виселица с телами пяти повешенных декабристов и с записью: «И я бы мог»...

Использование устойчивых слов-сигналов, соединенных в сознании современных читателей с определенным кругом явлений и идей, составляет определенную семантическую систему, которая была выработана в поэзии Пушкина и декабристов еще в конце 10-х и в начале 20-х годов. После поражения восстания она была обновлена и подверглась определенным изменениям. Устойчивыми в этой системе были метафоры, связанные с такими понятиями, как революция, мятеж, восстание. Таковы сигналы-символы, основанные на образах бури, грозы, молнии, грома, бурного потока, моря, отважных пловцов. В последекабрьской лирике Пушкин продолжал пользоваться этими словами-сигналами, но они окрашивались теперь большей частью в трагический колорит, символизируя одновременно и мятеж,

и его поражение. Образ бури стал символом, обозначающим восстание декабристов и его разгром. Эта символика встречается не только в лирике, но и в переписке (ср., например, в письме Вяземского Пушкину 1826 г.: «Ты остался цел и невредим в общую бурю»). Образ тучи воспринимался как сигнал катастрофы, гонений или надвигающейся беды; или такое понятие, как «тишина», обозначающее общественный упадок, смирение, пассивность (особенно характерна в этом отношении формула «благоразумная тишина»).

В стихотворении «К морю» (1824) образ моря — символ свободы, ассоциируется с образом Байрона — властителя дум молодого поколения:

Твой образ был на нем означен.
Он духом создан был твоим:
Как ты могущ, глубок и мрачен,
Как ты, ничем не укротим.

В другом стихотворении — «Так море, древний душегубец...» (1826) — этот символ дан в другой, скорбной тональности. Стихотворение написано в связи с распространившимися слухами (оказавшимися, впрочем, неверными), что Н. Н. Тургенев, находившийся в Англии, арестован по делу декабристов и пересылается в Петербург. Оно заканчивается пессимистическими строками о «гнусном веке», когда «Седой Нептун земли союзник». Но здесь море — свободная стихия, а не символ бедствия.

Особый случай в лирике Пушкина — однородные вариации тем и мотивов, вернее возврат к однажды уже разработанным темам и мотивам с целью новой их интерпретации, вызванной коренными изменениями и в общественной жизни и в биографии поэта. С этой точки зрения специального изучения заслуживают написанные в разное время парные стихотворения, как, например, упомянутые выше — о талисмане. В стихотворении «Храни меня, мой талисман» (1825) — талисман может спасти от всех бед, в том числе «во дни гоненья» и в дни, когда «грозою грянут тучи». После разгрома декабрьского восстания и нагрянувших бед Пушкин пишет другое стихотворение на эту же тему — «Талисман» (1827), но теперь та же тема дана в ином контексте — неумолимости рока.

Парными стихотворениями с измененными трактовками мотивов и в совершенно разных эмоциональных тональностях являются и два стихотворения с одинаковым названием «Воспоминания в Царском Селе»: первое — 1814 года;

мажорное, одическое, и позднейшее — с трагической окраской, датированное 14 декабря 1829 года.

Новой в пушкинской лирике последекабрьского периода стала символика, основанная на остром переосмыслении библейских образов и мотивов. Раньше, в политической поэзии Пушкина 20-х годов, библейская символика использовалась большей частью с оттенком иронии (см. например, в послании «В. Л. Давыдову», 1821), библейские образы в 10-х и в первой половине 20-х годов носили характер пародийный, фривольный, вольтерьянский (наиболее показательной является в этом отношении «Гавриилиада»). В политической же лирике Пушкин прибегал тогда преимущественно к символике, связанной с греческой и римской историей, с образами героев древних республик. После разгрома восстания декабристов положение изменилось. Возможности использования античной республиканской символики в легальной поэзии затруднились. В ответах декабристов следственному комитету на вопрос об источниках вольномыслия часто указывалась история античных республик, и эти указания не остались без последствий. В новых условиях Пушкин обратился к возможностям другой символики — библейской, но и тут дело обстояло не так просто: ведь и Библия использовалась тайным обществом в политической пропаганде (вспомним такой пропагандистский документ, как «Катехизис» Муравьева-Апостола, где утверждалось, что сам бог был врагом самодержавия). Все же, несмотря на бдительность цензуры, совсем запретить возможность использования в поэзии библейских мотивов было нельзя. Пушкин опирался при этом на свой прежний опыт, связанный, правда, не с Библией, а с Кораном. Б. В. Томашевский раскрыл в своей работе о «Подражаниях Корану» их идейный смысл, заметив, что Пушкин остался чужд религиозно-мистическому содержанию этого поэтического памятника и истолковал его мотивы в духе высокой гражданской поэзии⁷. Используя библейские образы и символику, Пушкин следовал традициям, которые сложились в вольнолюбивой лирике еще первой половины 20-х годов. Он обогатил эти традиции, развил их по-новому в многоплановой художественной системе.

В контексте этой системы связывается воедино и приобретает во многом новое звучание ряд стихотворений Пушкина о поэте и роли поэзии, написанных в последекабрьский период, в 1826—1836 годах.

Мне уже приходилось подробно анализировать содержание и историю создания этого цикла, в который входят стихотворения «Пророк» (1826), «Поэт» (1827), «Поэт и толпа» (1828), «Поэту» (1830), «Я памятник себе воздвиг...» (1836). Каждое из этих стихотворений имеет свои особенности, но весь цикл пронизывает общий мотив защиты высокого назначения поэта, враждебного низменным интересам, погоне «за минутной славой», а сам образ поэта — образ человека гонимого, одинокого среди враждебной среды, человека, который окружен ненавистью, подвергается преследованиям, травле, но остается тверд и непоколебим⁸. Но эту характеристику теперь можно дополнить.

Прежде всего следует подчеркнуть, что стихотворение «Пророк», написанное после казни декабристов, является основным ключевым произведением, определяющим идейное содержание и символику всего цикла. В условиях 1826 года оно воспринималось как декларация верности гражданскому призванию поэта.

Цикл о поэте и его роли имеет и более общий морально-этический смысл: здесь поэт не только «взыскательный художник» и учитель народа; он становится для всех примером поведения человека-гражданина, примером стойкости, мужества, непримиримости ко злу, несмотря на все преследования.

Каждое стихотворение цикла, будучи связанным общей идеей высокого назначения поэта, воплощает разные грани центральной идеи. «Пророк» — поэтическая декларация о назначении поэта. В «Поэте» — развитие того же мотива о «божественном глаголе»; художник может быть «всех ничтожней» в обыденной жизни, но очищается от забот «суетного света» в священном служении своему высокому делу. В стихотворении «Поэт и толпа» — обличение толпы, преследующей поэта за его отказ пренебречь своей свободой и независимостью. Сонет «Поэту» — о подвиге поэта, его мужестве перед лицом «толпы», которая «бранит» поэта, «плюет» на алтарь, где горит священный огонь поэзии. И, наконец, «Я памятник себе воздвиг...» является философско-историческим обобщением развитых в предыдущих стихах мотивов.

Мотивы, символика, фразеология этого цикла связаны с декабристской трактовкой роли поэта, особенно в стихотворениях Кюхельбекера — «К Пушкину» (1818), «Поэты» (1818), «А. П. Ермолову» (1821) и Рылеева — «Н. И. Гне-

дичу» (1821), «Державин» (1822), «На смерть Байрона» (1824—1825). В этих произведениях, как впоследствии и в цикле стихов Пушкина, воплощен идеал свободного, независимого поэта-гражданина, мужественного и смелого обличителя зла, пророчески возвещающего истину. Мотив стихотворения Пушкина «Поэту» — «ты царь» ассоциируется с стихотворением Кюхельбекера «А. П. Ермолову», где о поэтах сказано: «Царь не поставлен выше их», общая же идея пушкинского цикла непосредственно соотносится с мотивом оды Рылеева «Державин»:

...нет выше ничего
Предназначения поэта...

Может показаться, что стихотворение «Поэт и толпа» своим содержанием все-таки выпадает из всего цикла. Конечно, теперь уже никто не утверждает, что «чернь» здесь — «простой народ», или, по выражению Писарева, «неимущие соотечественники». Но все еще встречаются рецидивы истолкования этого произведения как декларации, шеллингианской в своей основе, или как апологии «звуков сладких и молитв», в противовес «житейскому волнению». Неправильное истолкование этого стихотворения происходит, в частности, и потому что оно изымается из всего пушкинского цикла о роли поэта и назначении поэзии. Прежде всего нужно еще раз подчеркнуть, что стихотворение «Поэт и толпа» должно восприниматься в контексте идей, содержания, фразеологии всего цикла. Связь стихотворения «Поэт и толпа» с ключевым образом «Поэта» и «Пророка» поддерживается эпиграфом из Книги Иова: «Послушайте глагол моих»⁹, который Пушкин первоначально думал предпослать ему. Эпиграф этот находится в черновом автографе стихотворения «Поэт и толпа».

Известно, какое большое значение Пушкин придавал эпиграфам в качестве своеобразного камертона, настраивающего слушателя на определенное восприятие произведения. Эпиграф из Иова в этом отношении знаменателен. Образ многострадального Иова, доблестного мужа и судьи людей, поднят в ветхозаветной поэме до пророческого обличения всемирного зла. Ко второй половине 20-х годов относится работа Федора Глинки над поэтическим переложением Книги Иова (отрывки были напечатаны в 1827 году в № 7 «Сына Отечества»). Исследователь истории этого переложения В. Г. Базанов отмечает, что оно смыкалось

с характерными для декабристской поэзии темами обличения зла, несправедливости и гонений. Именно поэтому цензура запретила тогда Ф. Глинке печатать переложение¹⁰.

Сам выбор Пушкиным эпитафии из Иова к своему стихотворению не был случайным. Глубокий интерес поэта к этой книге подтверждается сообщением П. В. Киреевского о том, что Пушкин собирался ее целиком переводить¹¹. Все это в еще большей степени проясняет замысел стихотворения не только как «защитительного» перед судом светской черни: поэт гневно обличает враждебную толпу «клеветников», «рабов», «глупцов» (в черновике есть и другие эпитеты — «тираны», «подлецы», «грабители»). Пушкин впоследствии заменил эпитафию другим — из Горация, но первоначально намеченный эпитафию важен для уточнения эмоционально-психологического контекста стихотворения.

Могут возразить: разве не в противоречии с традицией гражданской поэзии находятся заключительные строки о слугителях муз, рожденных

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв...

Вспоминая поистине удивительную историю истолкования этих строк критикой, хочется напомнить слова Декарта, которые любил повторять Пушкин: «Определяйте значение слов, и вы избавите человечество от половины заблуждений». «Житейское волненье» подразумевает здесь не борьбу, не гражданское служение, не «битвы» во имя торжества справедливости, а житейскую суету. В этом смысле Пушкин не раз высказывался и в статьях, и в письмах, и в художественных произведениях. (Так, например, в «Египетских ночах» высокая поэзия противопоставляется «житейской необходимости», которая заставила итальянца-импровизатора пускаться в «меркантильные расчеты»).

В стихотворении «Поэт и толпа» содержится непосредственное обличение тиранов и палачей. Это строки, которые Писарев в свое время использовал в качестве самого «убийственного» аргумента в своем «разоблачении» Пушкина, строки, смысла которых даже и в современных работах предпочитают не касаться. Поэт, обращаясь к «толпе», восклицает:

Для вашей глупости и злобы
Имали вы до сей поры,
Бичи, темницы, топоры...

Из комментариев Писарева следовало, что Пушкин считал народ заслуживающим бичей, темниц, топоров. На самом же деле смысл этих строк, если исходить из всей концепции стихотворения, совершенно иной: бичи, темницы, топоры — средства, которыми владеют «тираны» и «подлецы» для своих низких целей. «Чернь тупая» (чернь светская) хотела бы, чтобы поэт служил ей, был на ее стороне. Именно этот смысл казавшихся сакраментальными слов и расшифровывается в строках автографа, не вошедших в окончательный текст:

...поэт ли будет
Возиться с вами сгоряча
И лиру гордую забудет
Для гнусной розги палача!

Оставаясь верным общему с декабристами пониманию роли высокой гражданской поэзии, Пушкин вместе с тем значительно шире понимал задачи художественного творчества. Еще в 1825 году он спорил с Рылевым и Бестужевым, которые считали, что изображение жизненной прозы, «картин светской жизни» или «легкого и веселого» не является достойными предметами для поэта. Свое несравненно более широкое понимание роли литературы — с неограниченным кругом тем и образов — Пушкин развил в стихотворении 1832 года, адресованном Н. И. Гнедичу как переводчику «Илиады». Работая над этим стихотворением, Пушкин, вне всякого сомнения, вспоминал или перечитывал рылеевское «Послание к Н. И. Гнедичу» (1821). Уже первой строкой своего стихотворения — «С Гомером долго ты беседовал один» — Пушкин напоминал о послании Рылеева, где есть обращение к Гнедичу: «С Гомером отвечай всегда беседой новой». Но если у Рылеева образ Гнедича воплощает лишь представление о поэте как представителе только высокой поэзии, то у Пушкина он не только «пророк», который «вынес» «свои скрижали», но художник, которому близко все окружающее, который откликается на все в мире:

Ты любишь гром небес, но также внемлешь ты
Жужжанью пчел над розой алой.

Заключительные строки пушкинского послания — это по сути декларация о беспредельной широте поэтического творчества.

Особый интерес представляет публицистика Пушкина периода последекабрьской реакции, приемы, с помощью которых ему удавалось проводить в печать свои выступления на острые темы. В лирике условность и метафоричность поэтического языка открывали больше возможностей для выражения настроений автора и для всякого рода иносказаний, чем в статьях, подвергавшихся усиленной цензурной фильтрации. И все-таки даже для публицистических жанров Пушкин находил формы, позволявшие ему часто сказать именно то, что он хотел.

Одним из самых любопытных с этой точки зрения является первая из его увидевших свет после восстания публицистических статей — «Отрывки из писем, мысли и замечания», напечатанная в альманахе «Северные цветы на 1828 год». Она появилась без подписи, но имя Пушкина в литературных кругах легко угадывалось. Так, рецензент «Северных цветов» в «Московском телеграфе» писал: «Мы с любопытством прочитали... «Отрывки из писем, мысли и замечания» и угадали имя автора. Тут много остроумного, много глубокомысленного... Думаем, что Сочинитель нарочно перемешал дело с бездельем, чтобы заставить читателя угадать, что пишет он шутя и что не шутя»¹². И в самом деле, Пушкин здесь избрал своеобразный прием: прихотливую мозаику «Отрывков» — рядом с невинными анекдотами и светскими остротами (например, «Магомет оспаривает у дам существование души» — пример невежливости), и в замечания о литературе искусно смонтированы рассуждения на острые, злободневные темы.

В пушкиноведении это выступление Пушкина долгое время возводилось к жанру «Замечаний о людях и обществе» его дяди, напечатанных в альманахе «Литературный музей». Основанием для такого сопоставления послужило незаконченное предисловие Пушкина к своим «Отрывкам из писем, мыслям и замечаниям», оставшимся в рукописи. Но это предисловие носит, конечно, иронический, пародийный характер. Вот его текст:

«Дядя мой однажды занемог. Приятель посетил его. «Мне скучно,— сказал дядя,— хотел бы я писать, но не знаю о чем». «Пиши все, что ни попало,— отвечал приятель,— мысли, замечания литературные и политические, сатирические портреты и т. п. Это очень легко: так писывали Сенека и Монтань». Приятель ушел, и дядя последо-

вал его совету. Поутру сварили ему дурно кофе, и это его рассердило, теперь он философически рассудил, что его огорчила безделица, и написал: нас огорчают иногда сущие безделицы. В эту минуту принесли ему журнал, он в него заглянул и увидел статью о драматическом искусстве, написанную рыцарем романтизма. Дядя, коренной классик, подумал и написал: я предпочитаю Расина и Мольера Шекспиру и Кальдерону — несмотря на крики новейших критиков.— Дядя написал еще дюжины две подобных мыслей и лег в постель. На другой день послал он их журналисту, который учтиво его благодарил, и дядя мой имел удовольствие перечитывать свои мысли напечатанные».

Действительно, замечания В. Л. Пушкина на редкость убоги, в них, например, есть такие «перлы» глубокомыслия: «Говори с людьми умными, вежливыми; их беседа всегда приятна, и ты им не в тягость»; «Любовь — прелесть жизни; дружба — утешение сердца. О них говорят много, но редкие их знают»; «Нищий просит м а л о г о; но ты, подавая ему милостыню, делаешь для себя многое»¹³.

Понятно, что первоначально задуманное Пушкиным предисловие к своим «Отрывкам» преследовало цель противопоставить свою статью опусу дяди и было написано вовсе не потому, что Пушкин «первоначально хотел написать свое произведение от имени своего дяди»¹⁴.

Если возводить традиции Пушкина в этом жанре к предшественникам, то уж, конечно, не к Василию Львовичу, а к Ларошфуко и особенно к Монтеню — великому писателю французского Возрождения, «Опыты» которого являются замечательным памятником идеологически и композиционно продуманных фрагментарных записей на разрозненные темы — рассказов, анекдотов, воспоминаний, цитат, сентенций и т. п. На русской почве и в тягчайшей обстановке последекабрьской реакции подобные формы нашли какое-то своеобразное преломление, и не только у Пушкина: условия поднадзорности и полицейского сыска иногда приводили к необходимости выражать свои мысли и переживания цитатами, поговорками или простым упоминанием исторических фактов. С этой точки зрения характерен монтаж такого рода, оставшийся в бумагах декабриста А. А. Бестужева¹⁵.

Наиболее важна в «Отрывках» Пушкина заметка, связанная с развернутой в 1818 году полемикой вокруг «Истории государства Российского» Карамзина — полемикой, в которой особенно большую роль сыграли виднейшие дея-

тели декабризма Н. М. Муравьев и М. Ф. Орлов. «Записка» Никиты Муравьева получила значительное распространение в рукописных копиях, широко известны были также письма, критиковавшие карамзинскую «Историю...» и адресованные П. А. Вяземскому. Пушкин, так же как и декабристы, выразил в то время свое отношение к монархической концепции карамзинского труда в своей эпиграмме:

В его истории изящность, простота
Доказывают нам без всякого пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута ¹⁶.

Для того чтобы прояснить политическую остроту заметки Пушкина на эту тему, нужно кратко остановиться на некоторых обстоятельствах, предшествовавших ее появлению.

Карамзин умер в 1826 году. Его кончина была использована реакционными кругами и «благонамеренными» литераторами для восхваления российского историографа как человека, жизнь которого должна быть примером беспредельной преданности самодержавию, верности государю. В обстановке разгрома восстания декабристов этим кругам было особенно выгодно противопоставить авторитет этого писателя деятелям 14 декабря, аттестовавшимся в печати в качестве государственных преступников, изменников царю и родине. При этом всячески восхвалялась монархическая тенденциозность «Истории Государства Российского» и замалчивались те стороны деятельности автора, которые вопреки этой тенденциозности имели немалое прогрессивное значение. Сигналом для всей этой агитационной кампании явились два события. Первое — рескрипт, данный на имя Карамзина во время его болезни Николаем I. Здесь коронованный тюремщик декабристов отмечал «благородную бескорыстную» привязанность автора «Истории» к покойному государю Александру, а также заявлял: «...за себя самого и за Россию изъявляю вам признательность, которую вы заслуживаете и своей жизнью как гражданин, и своими трудами как писатель». Вторым событием, восторженно отмеченным печатью, было «целование» Николаем I усопшего Карамзина накануне его погребения ¹⁷. Оба эти факта ознаменовали официальную канонизацию облика историографа: почти всюду в печати он восхвалялся в духе царского рескрипта, и одновременно отмечались «мудрость» и «величие» Николая I ¹⁸. Восхваление Карам-

зина реакционерами подогревалось и еще одним обстоятельством: тогда стало широко известным осуждение Карамзиным декабристов. В письме к И. И. Дмитриеву он писал: «Первые два выстрела рассеяли безумцев с «Полярной Звездой», Бестужевым, Рылеевым и их достойными клеветателями»¹⁹. Вяземского Карамзин уговаривал даже в разговорах не вступаться за «преступников», ибо они виновны «по всемирному, вечному правосудию»²⁰.

Атмосфера официальной канонизации Карамзина ставила в очень трудное положение его друзей и почитателей, которые, будучи противниками монархической концепции историографа, считали своим долгом откликнуться на его смерть и отметить его действительные заслуги. Верноподданнические некрологи и статьи о смерти их возмущали. «Как они холодны, глупы и низки», — писал Пушкин Вяземскому 10 июля 1826 года. В этой обстановке молчание литераторов «из круга просвещенных друзей Карамзина» (слова Вяземского в письме А. Тургеневу в январе 1827 года²¹) ощущалось ими самими как «неприличное»²². Из переписки людей этого круга (Вяземского, А. Тургенева, Пушкина, Жуковского и других) видно, с каким усердием каждый из них уговаривал другого напечатать что-либо о Карамзине, но под разными предлогами все отказывались от этой миссии. Главная же причина заключалась, конечно, в сложности ситуации: в развернувшейся кампании никто не хотел ни оказаться верноподданным, ни (что было опасно) выглядеть оппозиционером.

В письме к Пушкину 12 июня 1826 года (посланном с верной оказией, а не через почту) Вяземский упрекал ссыльного поэта (находившегося тогда в Михайловском) в том, что он «грешил иногда эпиграммами против Карамзина, чтобы сорвать улыбку с некоторых сорванцов и подлецов». В ответ на это письмо Пушкин, глубоко оскорбленный, писал Вяземскому (10 июля 1826 г.): «Кого ты называешь сорванцами и подлецами? Ах, милый... слышишь обвинение, не слыша оправдания и решишь: это Шемякин суд. Если уж Вяземский etc, так что же прочие? Грустно, брат, так грустно, что хоть сейчас в петлю». Пушкин здесь защищал не только свою честь, но и тех, которые, находясь в это время в Петропавловской крепости, ожидали казни, каторги или ссылки.

В этом же письме Пушкин, подтверждая, что ему принадлежит одна из эпиграмм на Карамзина, признавал вместе с тем, что «Карамзин принадлежит истории», и реко-

мендовал Вяземскому принести дань его памяти. При этом Пушкин намекал, что Вяземский должен использовать особые приемы «красноречия», которые позволили бы обойти цензурный контроль, противопоставить «глупым и низким» верноподданническим статьям официозной прессы свою характеристику историографа. В ситуации этого времени такое выступление в печати, как бы оно ни было завуалированным, требовало не только мастерского владения искусством иносказаний, но и гражданского мужества. Автору предстояло «сказать в с е», не говоря в прямой форме ничего. Ни Вяземский, ни другие из его круга на это не пошли. На такое выступление решился только Пушкин. Лаконичную, но весьма выразительную заметку о Карамзине он искусно вмонтировал в «Отрывки из писем, мысли и замечания». Помещенное среди мозаичной смеси анекдотов, светских острот (вроде «примеров вежливости по отношению к дамам») и сентенций на литературные темы, выступление Пушкина о Карамзине проскочило через цензуру. Суть заметки — в скрытой полемической направленности против официозной трактовки роли Карамзина.

Все ее значение раскрывается только при учете той политической ситуации, которая охарактеризована выше. Для своей заметки Пушкин использовал сохранившийся фрагмент из воспоминаний, которые он писал в Михайловском и затем уничтожил, опасаясь после восстания декабристов ареста или обыска (этот фрагмент помещен теперь в собраниях его сочинений в разделе «Автобиографическая проза» под заголовком «Карамзин»). Готовя публикацию в «Северных цветах», Пушкин завуалировал ее прямой политический смысл, но полностью сохранил основную направленность.

Вначале он отметил сильное впечатление, которое произвел выход «Истории Государства Российского», ибо для светских людей история своего отечества была «новым открытием» (в рукописи воспоминаний об этом сказано резко: «все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную»). Это утверждение перекликается с сатирическими словами Пушкина (в тех же «Отрывках», напечатанных в «Северных цветах») о людях, которые «историю знают только со времени кн. Потемкина», но «со всем тем почитают себя патриотами, потому что любят ботвинью и что дети их бегают в красной рубашке». Далее Пушкин говорит о глупости «светских суждений» по поводу «Истории» и о бес-

помощности журнальной критики. Но совсем иначе оценивается в заметке критика Карамзина, которая шла из лагеря декабристов. За инициалом «Н» читателями, хорошо помнившими возникшую борьбу вокруг карамзинского труда²³, легко угадывался Никита Муравьев, автор одного из наиболее острых разборов концепции этого труда. Никиту Муравьева Пушкин охарактеризовал здесь словами «пылкий и умный». Такая аттестация в печати «государственного преступника», видного деятеля Северного общества, сочинившего проект конституции и осужденного на каторгу, является актом беспримерным в подцензурной печати этого времени, актом гражданской смелости. Легкое порицание Никиты Муравьева выражено лишь в том, что он «разобрал предисловие», а не весь труд. А ведь в той части «Мыслей об Истории Государства Российского Карамзина», которая разошлась в рукописных копиях и была известна Пушкину, Н. М. Муравьев, разбирая предисловие к «Истории», подверг критике самую суть исходных монархических позиций автора. Здесь же Пушкиным упомянут и другой критик Карамзина из декабристского лагеря — М. (подразумевается Михаил Орлов)²⁴, который в получившем тогда же известность письме к Вяземскому «пенял Карамзину, зачем в начале своего творения не поместил он какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян»²⁵. Напоминание Пушкиным о декабристской критике Карамзина было в обстановке наступившей реакции и официозных восхвалений историографа безусловно демонстративным (тем более что жанр «Отрывков из писем, мыслей и замечаний» позволял говорить также о смерти Карамзина и связанных с нею событиях — рескрипте Николая I и проч.; об этом в заметке Пушкина не сказано, разумеется, ни слова).

Немалые трудности представляла для Пушкина необходимость выразить в этой заметке свое собственное отрицательное отношение к монархической концепции Карамзина («обширную ученость» его и значительность труда он признавал). В рукописном тексте, на основе которого писалась заметка, это отношение выражено как противопоставление «размышлений в пользу самодержавия» «верному рассказу событий», опровергающему эти размышления. При этом Пушкин подчеркивал, что «молодые якобинцы» «забывали, что Карамзин печатал «Историю» свою в России». В заметке же, напечатанной в «Северных цветах», Пушкин оставил из всего этого лишь одну, но весьма многозначительную

фразу: «Многие забывали, что Карамзин печатал свою «Историю» в России». Об антимонархической направленности критики Карамзина декабристами напоминали и другие строки, оставшиеся в «Северных цветах»: «Некоторые остряки за ужином переложили первые главы Тита Ливия слогом Карамзина». Этих «остряков», пародировавших «Историю» Карамзина, Пушкин порицал только за то, что «почти никто из них не сказал спасибо человеку, уединившемуся в ученый кабинет во время самых лестных успехов и посвятившему целых двенадцать лет жизни безмолвным и неутомимым трудам»²⁶. Благодаря иносказаниям и намекам, Пушкину, единственному из литераторов, удалось обойти цензурные препятствия и противопоставить реакционно-монархической кампании в печати в связи со смертью историографа свое отношение к его труду (характерно, что Пушкин не касался здесь других сторон деятельности Карамзина, так как именно его «История» была центральным объектом этой кампании), к его заслугам в изучении прошлого России.

Заметка Пушкина одновременно явилась и ответом Вяземскому, осуждавшему пушкинскую эпиграмму на Карамзина и назвавшему «сорванцами и подлецами» тех, кому она нравилась. Своей явно сочувственной характеристикой Никиты Муравьева Пушкин косвенно оправдывал и свою эпиграмму, которая сатирически обобщала основные положения принадлежавшего Муравьеву критического анализа карамзинских концепций. Основная ее идея полностью соответствует ходу мыслей Муравьева в его критике предисловия к «Истории» Карамзина. Муравьев отмечал установку автора на «красоту повествования» и доступность для «простого гражданина», а эпиграфом взял слова знаменитого римского историка Тацита «Без гнева и пристрастия...» и т. д.; этому соответствуют у Пушкина в эпиграмме слова об «изящности», «простоте», «Истории» и отсутствии в ней «всякого пристрастия». У Муравьева основной тезис Карамзина о том, что правители, обуздывая бурное стремление граждан, даруют им «возможное на земле счастье», расшифровывается как желание «насильствами учреждать и самый порядок». Пушкин обобщил эту же мысль в словах: «необходимость самовластья и прелести кнута».

Нельзя, как это было до сих пор, рассматривать заметку о Карамзине только лишь как вариант отрывка из воспоминаний Пушкина, относящихся к периоду до 14 де-

кабря 1825 года. Заметка, подготовленная в 1827 году для «Северных цветов»²⁷, получила в данной политической атмосфере новое звучание и новую направленность. Ее значение является совершенно особым и потому, что она представляет собою первое печатное публицистическое выступление Пушкина после разгрома восстания декабристов. Тем более симптоматично, что в нем содержится зашифрованное упоминание о декабристах и об их идеологической борьбе.

В свои «Отрывки...» Пушкин включил и заметку, связанную с тем спором о гордости дворянским происхождением из старинных родов, который Пушкин в свое время вел в переписке с Рылевым и Бестужевым. В этой заметке Пушкин писал:

«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие». «Государственное правило,— говорит Карамзин,— ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному». ...Может ли быть пороком в частном человеке то, что почитается добродетелью в целом народе? Предрассудок сей, утвержденный демократической завистью некоторых философов, служит только к распространению низкого эгоизма. Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами им переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца?

*Mes arrière — neveux me devront cet ombrage!*²⁸

Связь заметки с перепиской Пушкина с Рылевым и Бестужевым отмечает Ю. Г. Оксман²⁹. Но до сих пор не обращено внимание на два момента: во-первых, Пушкин переводит здесь спор в иной план: если раньше он утверждал, что «аристократическая гордость» — условие сохранения писателями своей независимости, и защищал в связи с этим свое шестисотлетнее дворянство, то теперь он говорит о «славе предков» независимо от сословности. Эту свою мысль он поясняет следующим образом: «Греки в самом своем унижении помнили славное происхождение свое и тем самым уже были достойны своего освобождения...»³⁰ Выразительное многоточие является здесь, как и в других случаях, сигналом для внимательного читателя: ведь речь шла, несомненно, о национально-освободительной борьбе греков и о республиканской традиции древней Греции, нередко упоминавшейся в политической лирике Пушкина и декабристов. Тем самым Пушкин в своей заметке намекал, что его трактовка «славы предков» не только не

противоречит идеалу свободы, но прямо связана с борьбой за нее.

Во-вторых, не случайно сразу же за этой заметкой Пушкин поместил рассуждение о тайных обществах:

«Сказано: *Les sociétés secrètes sont la diplomatie des peuples*³¹. Но какой же народ вверит права свои тайным обществам, и какое правительство, уважающее себя, войдет с оными в переговоры?»

Весьма злободневной была и другая заметка, включенная в те же «Отрывки из писем, мысли и замечания»:

«Путешественник Ансело говорит о какой-то грамматике, утвердившей правила нашего языка и еще не изданной, о каком-то русском романе, прославившем автора и еще находящемся в рукописи, и о какой-то комедии, лучшей из всего русского театра и еще не игранный и не напечатанной. В сем последнем случае Ансело чуть ли не прав. Забавная словесность!»

В этой заметке имеется в виду книга французского писателя М. Ф. Ансело «*Six mois en Russie*». (Paris — Bruxelles, 1827)³².

Смысл заметки заключался прежде всего в том, чтобы привлечь внимание читателей к этой запрещенной в России книге.

Слова Пушкина о «комедии лучшей из всего русского театра и еще не игранный и не напечатанной» — это о «Горе от ума». Ансело отмечает, что по цензурным условиям комедия из быта высшего класса не могла бы быть ни поставленной на сцене, ни напечатанной. Слова о «забавной словесности» звучали в пушкинской заметке отнюдь не иронически. Здесь чувствуется горечь, вызванная положением, в котором находилась русская литература. Можно полагать, что самый характер заметки был противопоставлен тому краткому отчету о данном в честь Ансело обеде, где, по сообщению «Северной пчелы», «первым тостом было здравие все милостивейшего правосудного государя, который, облагодетельствовав Карамзина, почтив вниманием своим Крылова, Жуковского, ободрил, почтил и оживил Русскую Словесность. Усердные восклицания непринужденного восторга последовали за сим тостом»³³.

Книга Ансело во многом поверхностная, противоречивая; наряду с реверансами в сторону Николая I здесь есть и острые характеристики политического характера, что и вызвало ее запрещение в России.

Среди этих характеристик выделяется сочувственное упо-

минание о Пушкине как о «молодом талантливом» поэте, который был сослан.

В этой же книге был приведен прозаический перевод самого острого политического стихотворения Пушкина «Кинжал», который характеризуется здесь как выражение республиканского фанатизма. Правда, здесь же Ансело замечает, что царь «умерил общественную экзальтацию» среди молодежи, которая могла бы привести к «преступлению» целое поколение.

Несмотря на компромиссность и ошибочность многих суждений Ансело о России, все же его книга в обстановке политического террора в России того времени могла играть определенную положительную роль, и с этой точки зрения заметка Пушкина звучала весьма актуально.

Как мы видим, пушкинские «Отрывки из писем, мысли и замечания» представляют собой произведения сложной структуры. Эта статья была специально ориентирована на читателя, хорошо знающего «предмет» и ситуации, о которых здесь говорится в скрытой форме и путем тонких намеков.

* * *

В годы, наступившие после разгрома декабристского движения, Пушкин многое передумал, многое извлек из жестокого опыта истории. Многие изменилось в его мировоззрении, по-новому вставали вопросы о путях грядущего освобождения России. Но вместе с тем Пушкин продолжал оставшиеся живыми традиции декабризма и традиции вольнолюбивой литературы и публицистики героического времени первой половины 20-х годов.





*Об учителях Пушкина,
его продолжателях
и подражателях*

На протяжении уже более 150 лет продолжается спор о характере ученичества Пушкина у современных ему поэтов и о «пушкинской школе». Не утихает этот спор и в наше время.

Кто же были непосредственными учителями Пушкина и кто — его продолжателями? Была ли «пушкинская школа»? Вот характерное мнение, высказанное в дискуссиях последних лет и наиболее отчетливо сформулированное одним из видных советских поэтов — Арсением Тарковским: «у Пушкина были подражатели, но продолжателей, учеников не было. Литературную школу создают таланты. Пушкин «вобрал» в себя Жуковского и Батюшкова, ушел и запер за собой ворота на крепкий замок»¹. Это мнение довольно распространенное, в тех или иных вариантах его можно встретить и в критике XIX века и в наше время. Есть и мнения противоположные: Пушкин своим творчеством как бы открыл шлюзы для нового направления, и по этому пути развивалась русская романтическая, а затем реалистическая лирика. Вопросы серьезные. Ведь речь идет по существу не только о том, чему учился Пушкин у своих старших современников, крупнейших русских поэтов, но и о другом: были ли у него при жизни продолжатели?

Разноречивые ответы, особенно на второй вопрос, встречаются и на страницах нашей печати, и в литературоведческих трудах. Так, например, в книге И. Семенко «Поэты пушкинской поры», где немало интересных наблюдений, позиция автора все-таки остается неясной. И. Семенко, по-видимому, отказывается от понятия «пушкинская школа», но получается, что поэты, которым посвящена эта книга

(Батюшков, Жуковский, Д. Давыдов, Вяземский, Кюхельбекер, Языков, Баратынский), объединяются только по временному признаку. Между самим названием книги И. Семенко и ее установкой имеется логическое противоречие. В самом деле: почему она объединяет поэтов, которым посвящена книга, понятием «пушкинская пора», а не назвала книгу «поэты 1810—1830-х годов»? Разве «пушкинская» не означает, что во главе этого периода развития поэзии был Пушкин?

2

Юный Пушкин, вступив на путь поэтического творчества, избрал своими учителями Жуковского и Батюшкова. Оба они, хотя и весьма различные по своим идейным и эстетическим принципам, воспринимались в первые десятилетия XIX века как новаторы, открывшие в поэзии неизвестные ранее пути. В противовес отмиравшему классицизму в стихах и Жуковского и Батюшкова возникал мир новых человеческих радостей и горестей, новыми были и самые способы поэтического изображения.

Но, учась у своих старших современников, Пушкин рано стал обнаруживать свою самостоятельность. В его послании Батюшкову (1815) есть знаменательные, декларативные строки:

Бреду своим путем,
Будь всякий при своем.

Батюшков, по словам Белинского, был Пушкину «родственнее всех других поэтов»².

Пушкин еще в отроческом возрасте узнал Батюшкова, «вжился» в мир его тем, мотивов и образов, воспринимал его как поэта близкого. Восторженное отношение к Батюшкову выразилось в двух стихотворениях Пушкина — 1814 и 1815 годов. Первое («Философ резвый и пиит...») основано на мотивах поэзии самого Батюшкова: пользуясь ими, Пушкин обращается к нему с призывом продолжать в своей поэзии темы дружбы, любви, военной героики, сатиры. Уже в самом начале своего творческого пути Пушкин представлял себе весь круг поэзии Батюшкова и воспринимал его, в противоположность ходовым мнениям, не только как «певца любви и наслаждений». Облик Батюшкова обрисован в тонах преклонения перед его дарованием:

...тебя молодой Назон,
Эрот и грации венчали,
А лиру строил Аполлон.

Второе послание Батюшкову отражает уже личное общение с ним Пушкина (знакомство произошло в начале 1815 г.); он отвечает на его советы:

Ты хочешь, чтобы славы
Стезю полетев,
Простясь с Анакреоном,
Спешил я за Мароном
И пел при звуках лир
Войны кровавый пир.

По-видимому, Батюшков пытался направить внимание Пушкина к батальной теме, но юный поэт хотел остаться «при своем».

Батюшков с самого начала знакомства со стихами Пушкина, а затем и с ним самим высоко оценил его способности, горячо одобряет поэму «Руслан и Людмила». «Талант чудесный, редкий! вкус, остроумие, изобретательность, веселость», — писал он Блудову³.

Влияние поэзии Батюшкова на формирование юного поэта было многосторонним: оно отразилось в заимствовании и творческой переработке его тем, мотивов, образов. Батюшков импонировал Пушкину как поэт-новатор, выступавший против литературных староверов (под воздействием батюшковского «Видения на берегах Леты» написана пушкинская «Тень Фонвизина»), как человек, отрицавший этические нормы «света», провозгласивший свою независимость:

Не хочу кумиру кланяться
С кучей глупых обожателей.
Пусть змиею изгибаются
Твари подлые, презренные...

(«К Филисе»)

Родство лицейской поэзии Пушкина поэзии Батюшкова может уловить любой читатель, знакомый с творчеством обоих поэтов. Достаточно положить рядом «Мои пенаты» Батюшкова и «Городок» Пушкина, чтобы убедиться в сходстве и фактуры стиха, и мотивов, и настроения, и интонации. Ограничимся одним только примером:

«МОИ ПЕНАТЫ»

О старец, убеленный
Годами и трудом,
Трикраты уязвленный
На приступе штыком.
Двуструнной балалайкой
Походы прозвени
Про витязя с нагайкой,
Что в жупел и в огни
Летал перед полками,
Как вихорь на полях.

«ГОРОДОК»

...добрый мой сосед,
Семидесяти лет,
Уволенный от службы
Майором отставным,
Зовет меня из дружбы
Хлеб-соль откушать с ним,
Вечернею пирушкой
Старик развеселясь
.....
Воспомнит ту баталью,
Где роты впереди
Летел навстречу славы...

Но вот другой пример. Разве не сходны со стихом «Евгения Онегина» такие стихи Батюшкова:

Ни кроткий блеск лазури неба,
Ни запах, веющий с полей,
Ни быстрый лет коня ретива
По скату бархатных лугов,
И гончих лай, и звон рогов
Вокруг пустынного залива —
Ничто души не веселит...
(«Пробуждение»)

Конечно, правы те исследователи, которые утверждают, что «учеба» Пушкина у Батюшкова имела глубокое значение, простиравшееся далеко за пределы лицейских лет...

Прямое влияние оказали на Пушкина приемы изображения Батюшковым лирического героя на конкретном историческом или бытовом фоне (таковы послания Батюшкова 1810-х годов, в которых уединенная независимость «врагов придворных уз» изображается в отталкивании от иной, жестокой, действительности, от мира «блистательных сует» с его «придворными друзьями», «развратными счастливыми»). От чуждой среды Батюшков уходил в мир поэзии, утверждая ее как высшую духовную ценность. В «Послании И. М. Муравьеву-Апостолу» так сказано о «жреце парнасских алтарей», творящем для потомства:

На жизненном пути ему дарует гений
Неиссякаемый источник наслаждений
В замену счастья и скудных мира благ:
С ним муза тайная живет во всех местах
И в мире дивный мир любимцу созидает.

Но мир мечты в поэзии Батюшкова — это не мир призраков и упований на мистическое «там», а мир земных радостей, претворенный не только в любовно-эротических

стихах, но и в наслаждении самой жизнью. Пожалуй, ярче всего эта линия батышковской поэзии выразилась в стихотворении «Радость», впоследствии высоко оцененном Пушкиным; это подлинный гимн земле, любви, природе:

Все мне улыбулось! —
И солнце весеннее,
И роши кудрявые,
И воды прозрачные,
И холмы парнасские!

Лирика Пушкина первого периода (1814—1817) полна откликами на мотивы и настроения поэзии Батышкова. Это особенно сказалось и в «Городке», в любовных стихах, в посланиях к друзьям, элегиях. Большое значение для становления Пушкина как поэта имела начатая Батышковым реформа лирических жанров. Элегия Батышкова «Переход через Рейн», «Гезиод и Омир», «Умиравший Тасс», которые можно назвать элегиями историческими, по существу отражали процесс проникновения эпического стиля в лирику. Послание «К Дашкову» — лирическое описание разрушенной нашествием Наполеона Москвы, это одновременно и историческая элегия. Процесс стирания средостений между поэтическими жанрами, завершенный Пушкиным, был начат Батышковым.

Учителем Пушкина Батышков был и в другом — в приближении поэзии к действительности, в расширении границ «интимной лирики», в стремлении вывести ее за пределы простого воспроизведения биографии автора. Даже в такой в то время «камерный» жанр, как дружеское послание, Батышков включал мотивы, связанные с впечатлениями реального, а не условного быта.

Но важнее всего для Пушкина было новое понимание цели поэзии, которую Батышков видел в союзе «ума» и «сердца», мысли и чувствований, в смелом самораскрытии внутреннего мира поэта. Об этом Батышков говорит в стихотворном вступлении к «Опытам», обращенным к друзьям. Свой сборник он представляет как своеобразный лирический дневник. В нем, говорит он, друзья найдут

Историю моих страстей, 8
Ума и сердца заблужденья,
Заботы, суеты, печали прежних дней
И легкокрылы наслажденья;
Как в жизни падал, как вставал,
Как вовсе умирал для света,
Как снова мой челнок Фортуне поверял...

В иных, несравненно более совершенных стихах некоторые из этих мотивов преломились во вступлении к «Евгению Онегину», где «вниманью дружбы» предлагается итог

Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

Слова о союзе «ума» и «сердца» станут метафорическим воплощением одного из важнейших принципов художественной системы Пушкина, предсказанной Батюшковым лишь в отдельных элементах. Но объединяет поэзию Батюшкова и Пушкина, при всей неравноценности их творчества, новый подход к изображению человека, воспринимающего реальный, объективный мир через призму своего внутреннего мира, а не через одностороннее рационалистическое его познание, расцвеченное образными средствами словесно-художественного творчества. Прямым предшественником Пушкина является Батюшков и в цикле своих «Подражаний древним», где с такой полнотой проявилось искусство воплощения идей в точных поэтических образах. Влияние антологических стихов Батюшкова на Пушкина заключалось не только в художественной форме — в пластичности, скульптурности образов, но и в мастерстве воплощения противоречивости чувств, сплетения героических и скорбных мотивов, мотивов жизни и смерти.

Наконец, учился Пушкин у Батюшкова «гармонической точности», соответствию мелодической структуры стиха содержанию, учился ритмической гибкости ямбов.

Батюшков прожил долгую жизнь — умер спустя двадцать восемь лет после гибели Пушкина, но творческая его деятельность прервалась в 1822 году неизлечимой психической болезнью. Проследившая эволюцию Батюшкова как поэта, нельзя не поражаться соответствию ее фаз — фазам творческой эволюции Пушкина. В начале Батюшков также испытал влияние сентиментализма, затем стал тяготеть к романтизму. Характерен его интерес к Байрону⁴. Вместе с тем в его поэзии обнаруживаются реалистические тенденции. Стихотворения «К Дашкову», «Пробуждение», «К Никите», «Переход через Рейн» строятся на внутренней логике конкретных ситуаций, а не путем монологических отвлеченных рассуждений. Поэтому можно утверждать, что оказалась близкой Пушкину не только сама поэзия Батюшкова, но и потенциальная возможность ее развития, трагически оборванного постигшим поэта несчастьем. Связи истоков поэзии Пушкина и Батюшкова, отклики Пушкина на ба-

тютюшковские темы, мотивы, образы не раз прослеживались литературоведами, в том числе Д. Д. Благим, В. В. Виноградовым, Б. В. Томашевским, Н. М. Элиаш и другими. Этот же вопрос подробно освещен в книге Н. В. Фридмана «Поэзия Батюшкова» (1971). В итоге своих наблюдений автор приходит к заключению, что «Пушкин использовал художественный опыт Батюшкова более широко, последовательно и органично, чем предполагалось до сих пор... На всем протяжении творческого пути Пушкина Батюшков оставался для него классиком русской поэзии... Совершая стремительный путь от эпикурейской поэзии к вольнолюбивому романтизму и далее к реализму, Пушкин органично включал переработанные им батюшковские мотивы, образы, приемы и выражения в разные стилевые системы своего творчества»⁵.

Но самый достоверный материал, на основании которого можно лучше всего судить о том, чему учился Пушкин у Батюшкова и что он не принимал у него, — это подробные, уникальные в своем роде пушкинские заметки на полях его сборника «Опыты в стихах», изданного в 1817 году; заметки эти захватывающе интересны и имеют не только историко-литературный интерес: они представляют ценность и для современных поэтов как школа мастерства, как образец взыскательной оценки и анализа не только целостных стихотворений, но и самых мелких деталей образов, стиля языка вплоть до отдельных неудачных оборотов и слов.

Заметки Пушкина о стихах Батюшкова постоянно цитируются по разным поводам, большей частью для того, чтобы иллюстрировать такие критерии Пушкина, как точность и гармония поэтического языка. В результате эти заметки воспринимаются как хотя и весьма глубокие, но разрозненные суждения. Начало такому восприятию этого ценнейшего материала положил еще Л. Н. Майков в статье «Пушкин о Батюшкове». Он писал: «замечания Пушкина разбросаны на страницах книги так же случайно, как случайно расположены в «Опытах» стихи Батюшкова». Глубочайшие оценки Пушкиным поэзии Батюшкова Майков не связывал с пушкинскими же критериями метода, художественной системы, ограничивался такими определениями: одно стихотворение пришлось Пушкину «не по вкусу», другое он нашел «неудачным», третье «ему не нравилось», и он «оборонил свое суждение» и т. п.⁶ Между тем в пометках Пушкина проявляется, как мы увидим, определенная кон-

цепционность, определенная система критериев. Есть и другие особенности восприятия Пушкиным стихов Батюшкова, на которые нужно обратить внимание. Пушкин читал стихи Батюшкова, разумеется, в том порядке, в каком они расположены в этом издании, вышедшем в 1817 году. Порядок этот хаотический. Хотя сборник построен по жанровым признакам (сначала следуют элегии, затем послания, «смесь», «эпиграммы, надписи и проч.»), но в «смесь» попало послание «К Никите», а к последнему разделу присоединены элегии «Переход через Рейн», «Умиравший Тасс», небольшое стихотворное повествование «Странствователь и домосед» и «Беседка муз». Главное же, внутри разделов совершенно спутана хронология. «Воспоминание» — одно из ранних стихотворений Батюшкова, оно впервые было напечатано в 1809 году, однако в «Опытах» помещено вслед за гораздо более зрелой «Элегией из Тибулла», опубликованной в 1815 году. В «Опытах» никаких датировок вообще нет. Но Пушкин под стихотворением «Воспоминание» отметил: «Писано в первой молодости поэта». Такая же пометка есть при чтении стихотворения «Мечта».

Пушкин давно и внимательно следил за первыми публикациями его стихов, помнил их настолько, что замечал при чтении «Опытов» даже первоначальные варианты отдельных строк. Так, к строкам стихотворения «Пленный»:

На родине мой кров,
Покрытый в зиму ярким снегом,—

Пушкин сделал примечание: «было прежде белым снегом». И в самом деле, именно этот эпитет, маловыразительный, есть в первоначальном тексте этого стихотворения, напечатанном в 1814 году в «Пантеоне русской поэзии» (часть II). Запомнил Пушкин и первоначальный текст «Тибулловой элегии X», опубликованный в «Вестнике Европы» в 1810 году. Здесь были строки:

Пускай о подвигах своих расскажет воин,
С друзьями юными сидящий за столом,
И ратный стан чертит чаш пролитым вином.

Пушкин о последней строке заметил: «Было прежде: чаш пролитых вином — точнее. Он ясно представлял себе этапы его творчества и восстанавливал в памяти хронологию.

Хотя для точных датировок отзывов Пушкина о стихах Батюшкова на полях «Опытов» нет оснований, можно с уверенностью сказать, что эти отзывы относятся ко времени,

когда пушкинская поэтическая система стала вполне сложившейся, свободной от тех недостатков, которые были свойственны батюшковской поэзии и ранним стихам самого Пушкина. Он судит о Батюшкове здесь уже не как ученик, а с высоты новых критериев, «поэзии действительности».

Восхищенные восклицания, вызванные рядом произведений Батюшкова, отдельных стрóf и строк, перемежаются с резкими пометками, которые осуждают не только неудачные и затрудненные обороты, стилистический разнóбой, но и пережитки старой поэзии с ее резонерством, прозаизмами и многословием.

С точки зрения пушкинской художественной системы, сочетавшей ясную целенаправленность замысла с энергией стиха и пластической образностью, не выдерживает критики стихотворение Батюшкова «Странствователь и домосед», о котором Пушкин заметил: «Конец прекрасен. Но плана никакого нет, цели не видно — все вообще холодно, растянуто, ничего не доказывает и пр.». Но и безупречно выдержанная, совершенная форма не могла в глазах Пушкина искупить отсутствие ясности замысла: «Цель послания не довольно ясна; недостаточно то, что выполнено прекрасно», — заключает он о «Послании И. М. М.» (Муравьеву-Апостолу). И в то же время элегию «Переход через Рейн» Пушкин оценивает как лучшее стихотворение поэта — сильнейшее и более всех обдуманное⁷. Оно представляет собой образец исторической элегии нового типа: окрашенные глубоким лирическим чувством думы сочетаются здесь с живописной изобразительностью. Пушкин отчеркнул здесь строки о войне, тоскующем о родине в чужом краю:

Там всадник,
 опершись о светлу сталь копы,
Задумчив и один, на берегу высокоом
Стоит и жадным ловит оком
Реки излучистой последние края.

Быть может, он вспоминает
Реку своих родимых мест —
И на груди свой медный крест
Невольнó к сердцу прижимает.

Из стихотворений на батальные темы Пушкин выделяет кроме «Перехода через Рейн» классическое послание «К Дашкову», которым было ознаменовано в истории поэзии соединение лирической и гражданской тем, и где тема

гражданская становилась темой личной, самораскрытием внутреннего мира поэта. Интересная деталь: в картине разрушений и человеческого горя, вызванных войной, Пушкин отметил строки —

Я видел бледных матерей,
Из милой родины изгнанных,
Я на распутии видел их...

«Прекрасное повторение», — пишет Пушкин (подразумевается повтор «я видел», усиливающий непосредственность рассказа и волнение свидетеля драматических событий).

В элегии «На развалинах замка Швеции» Пушкин выделяет великолепные строки, в которых переживания девушки, встретившей юношу, своего жениха, вернувшегося с полей сражения, переданы в психологически тонком и пластическом изображении:

Красавица стоит безмолвствуя, в слезах,
Едва на жениха взглянуть украдкой смеет,
Потупя ясный взор, краснеет и бледнеет,
Как месяц в небесах...

«Вот стихи прелестные, собственно Батюшкова» — написал о них Пушкин. Как прекрасную оценил он и другую картину — ликования после победы:

Там старцы жадный слух склоняли к песне сей,
Сосуды полные в десницах их дрожали,
И гордые сердца с восторгом вспоминали
О славе юных дней.

Восторженно воспринимал Пушкин стихотворения, в которых с наибольшей силой выразилось свойственное Батюшкову искусство словесной живописи и умение воплощать динамику различных эмоциональных и психологических состояний в зримых и словно слышимых образах. Такова элегия «К другу» — один из шедевров русской лирики; это, по словам Пушкина, «Сильное, полное и блистательное стихотворение». В нем отразилось трагическое мироощущение Батюшкова, которое опять-таки выражено не в общих описаниях, а путем конкретных, «предметных» аналогий и метафор:

Как в воздухе перо кружится здесь и там,
Как в вихре тонкий прах летает,
Как судно без руля стремится по волнам
И вечно пристани не знает, —

Так ум мой посреди сомнений погибал.
Все жизни прелести затмились;
Мой гений в горести светильник погашал,
И Музы светлые сокрылись.

Восхищение Пушкина вызвала и музыкальность этой элегии. «Звуки италийские! Что за чудотворец этот Батюшков!» — написал он на полях страницы о строках:

Нрав тихий ангела, дар слова, тонкий вкус,
Любви и очи и ланиты;
Чело открытое одной из важных Муз
И прелесть — девственной Хариты.

Влияние этого стихотворения сказалось в незаконченной элегии Пушкина «Ты прав, мой друг», написанной им значительно позже (в 1822 г.), но также в период разочарований и сомнений. Это влияние сказывается и в самой ритмике, и в интонациях, и в способе воплощения переживаний. Непосредственно с цитированными выше строками элегии Батюшкова может быть сопоставлена строфа пушкинской элегии:

Свою печать утратил резвый нрав,
Душа час от часу немеет;
В ней чувств уж нет. Так легкий лист дубрав
В ключах кавказских каменеет.

Если проследить в пометках Пушкина, какие стихи Батюшкова ему особенно нравились, то можно заключить, что это были именно те, где мысли, настроения лирического героя переданы точными зарисовками. Такова «Таврида», элегия, написанная в 1815 году в связи с задуманной Батюшковым поездкой в Крым. О «Тавриде» Пушкин сказал: «по чувству, по искусству стихосложения, по роскоши и небрежности воображения — лучшая элегия Батюшкова». Здесь «небрежность воображения» (в смысле безыскусственности, естественности) сказывается в сочетании самых различных мотивов, развернутых в лаконичной форме живых представлений, исторических деталей, быстрых зарисовок природы, быта, о котором мечтает поэт. Поэтическая картина Тавриды не вступает в противоречие с бытописью, и столь же поэтичными оказываются строки о «сельском огороде» и о подруге:

Румяна и свежа, как роза полевая,
Со мною делишь труд, заботы и обед.

Одновременно с особенным вниманием Пушкин отмечал случаи совмещения и столкновения чужеродных образ-

ных и стилистических пластов, что было не так редко в поэзии Батюшкова, носившей характер переходный между поэзией XVIII века и тенденциями на пути к новой художественной системе, окончательно сложившейся позднее в пушкинском творчестве. По поводу послания Батюшкова «Мои пенаты» Пушкин писал: «Это стихотворение дышит каким-то упоением роскоши, юности и наслаждения, слог так и трепещет, так и льется — гармония очаровательна», но в то же время заметил:

«Главный порок в сем прелестном послании — есть слишком явное смешение древних обычаев мифологических с обычаями жителя подмосковной деревни.

Музы — существа идеальные. Христианское воображение наше к ним привыкло, но норы и келии, где лары расставлены, слишком переносят нас в греческую хижину, где с неудовольствием находим стол с изорванным сукном и перед камином суворовского солдата с двуструнной балалайкой. — Это все друг другу слишком уж противоречит». Если сравнить «Мои пенаты» Батюшкова и «Городок» Пушкина, то при всем сходстве этих стихотворений мы не найдем у Пушкина смыслового и стилистического разноречия, того противоречия, которое он впоследствии увидел в ряде других стихотворений Батюшкова, например в «Послании М. Ю. Виельгорскому». Обращаясь к адресату послания, композитору, Батюшков, используя образы античной мифологии, так говорит о мечтах, которые способны возбудить волшебные струны:

...И Нимфы гор при месячном сияньи,
Как тени легкие, в прозрачном одеяньи,

С Сильванами сойдут услышать голос мой.
Наяды робкие, всплывая над водой,
Восплещут белыми руками...

Но в том же стихотворении — нечто в совершенно ином ключе:

Счастливые места, где нравится искусство,
Не нужно для мужей, 5,5
Сидящих с трубками вокруг угольных огней
За сыром выписным, за гамбургским журналом...

«Сильваны, Нимфы и Наяды — меж сыром выписанным и гамбургским журналом...» — пишет на полях Пушкин, сопровождая свои замечания тремя восклицательными знаками. В этом же послании Пушкина поразил и другой разноречивой — в языке.

В строках

Под знаменем любви я начал воевать
И новый регламент, и новые законы
В глазах прелестницы читать!

Пушкин подчеркнул слово «регламент», написав рядом: *mauvais goût*⁸ — это редкость у Батюшкова.

Внутреннюю противоречивость стиля и тональности Пушкин увидел в стихотворении «Пленный»: «Он неудачен, хотя полон прекрасными стихами.— Русский казак поет, как трубадур, слогом Парни, куплетами французского романса».

Противоречивость в соотношениях идеи и ее образного воплощения сказалась и в одном из стихотворений Батюшкова «Мечта», впервые напечатанном в 1806 году. Батюшков затем неоднократно возвращался к нему, перерабатывал, сокращал длинноты, но все же не мог добиться единства стиля и образов: здесь рядом с прекрасными, истинно батюшковскими строками чувствуется влияние XVIII века и карамзинизма. Пушкин с особым вниманием читал это стихотворение, испещрил текст многими пометками и замечаниями, оценив его в целом как «самое слабое из всех стихотворений Батюшкова». Лишь несколько отдельных мест вызвали его одобрительные пометки.

Мотив «Где ты скрываешься, Мечта, моя богиня» развертывается сначала в строках, которые вызвали живейший отклик у Пушкина («Гармония», «Прекрасно»):

Иль в Муромских лесах задумчиво блуждаешь,
Когда на западе зари мерцает луч
И хладная луна выходит из-за туч?

Или, влекомая чудесным обаяньем,
В места, где дышит все любви очарованьем,
Под тенью яворов ты бродишь по холмам,
Студеной пеною Воклюза орошенным?..

...То вдруг он пренесен во Сельмские леса,
Где ветер шумит, ревет гроза,
Где тень Оскарова, одетая туманом,
Под небом стелется над пенным океаном.

Но далее были строки, словно написанные рукой совсем другого поэта, — о той же мечте!

Волшебница моя! Дары твои бесценны
И старцу в лета охлажденны,
С котомкой нищему и узнику в цепях.
Заклепы страшные с замками на дверях,

Соломы жесткий пук, свет бледный пепелища,
Изглоданный сухарь, мышей тюремных пища,
Сосуды глиняны с водой,
Все, все украшено тобой!..

Рядом резко отрицательная пометка Пушкина; здесь, по-видимому, ее вызвала ложная мысль о том, что «волшебница-мечта» может украсить все, что угодно, даже нищету и даже судьбу закованного в цепи узника..

Обновленная, сильно измененная редакция элегии «Мечта» воспринималась в 1817 году в сборнике «Опыты» уже на фоне стихов зрелого Батюшкова, как очень слабая. Поэтому понятно, что Пушкин пометой «дурно» сопроводил ставшие теперь банальными строки:

Я сон вкушал прелестный
И счастлив наяву, был счастлив и в мечтах!

А размышления на тему «кто в жизни не любил» оценил еще более энергично: «Какая дрянь».

Но рядом следовали строки, которые вызвали такой отклик Пушкина: «немного опять похоже на Батюшкова», — на Батюшкова как автора стихов, которые отличаются живостью, темпераментом, конкретной изобразительностью:

Теперь, любовник, ты
На ложе роскоши с подругой боязливой,
Ей шепчешь о любви и пламенной рукой
Снимаешь со груди ее покров стыдливый.
Теперь блаженствуешь и счастлив ты — Мечтой!
Ночь сладострастия тебе дает призраки
И нектаром любви кропит ленивы маки.

(Правда, по поводу последних строк Пушкин шуточно заметил: «Катенин находил эти два стиха достойными Баркова».)

Подмена глубокой и стройной мысли холодной рассудочностью в духе рядовых стихотворцев XVIII века неизменно вызывала у Пушкина протест. Вот его замечания на полях стихотворения «Послание к Тургеневу»: О резонерских стихах:

Был беден. Умер. От долгов
Он, следственно, спокоен.—

Пушкин отозвался: «какая холодная шутка!» Как «стихи, достойные Василия Львовича»⁹, отметил он строки:

Прекрасно! славно — спору нет!
Но... здешний свет
Не рай — мне сказывал мой дед...

Еще более резкую реакцию вызвали выдержанные в том же резонерско-рассудочном духе стихи «Последней весны»:

К чему так рано увядать.
Закройте памятник унылый,
Где прах мой будет истлевать;
Закройте путь к нему собою
От взоров дружбы навсегда.
Но если Делия с тоскою
К нему приблизится, тогда
Исполните благоуханьем
Вокруг пустынный небосклон...

«Черт знает что такое», «дурно» — написано на полях подчеркнутых строк. «Неудачное подражание Millevoys» — заканчивает Пушкин свою оценку.

Встречаются в стихах Батюшкова места, в которых романтические мотивы развиваются в декламационно-выспренней «громкой» манере одической поэзии классицизма. Так, в «Послании М. Ю. Виельгорскому»:

Еще отдай стихам потеряны права
И камни приводить в движенье,
И горы, и леса.
Тогда я с сильфами взлечу на небеса...

«Плоско», замечает Пушкин о второй строке; «вот сунуло куда!» — о третьей.

Рядом с оригинальными, свежими стихами, строфами, строками в поэзии Батюшкова нередко соседствовали архаические образы, вялые сентенции и сравнения. Вот несколько примеров, на которые Пушкин обратил внимание.

О строках «Элегии из Тибулла» —

О вы, которые умеете любить,
Страшитесь любовь разлукой прогневить! —

Пушкин замечает: «Вяло».

О строках из элегии «Мщение» —

Ты здесь, подобная лилее белоснежной,
Взлеянной в садах Авророй и весной,
Под сенью безмятежной,
Цвела невинностью близ матери твоей —

«Любовь не изъясняется пошлыми и растянутыми сравнениями».

А вот примеры оценки стихов с точки зрения пушкинских требований «точности»: рядом со строками из «Выздоровления» — элегии, которая в целом оценена Пушкиным как одна из лучших элегий Батюшкова, —

Как ландыш под серпом убийственным жнеца
склоняет голову и вянет —

есть пометка: «Не под серпом, а под косою. Ландыш растет в лугах и рощах — не на пашнях засеянных».

В «Тибулловой элегии III» отмечена неточность стилистическая — у Батюшкова «Парк сужденье», нужно не «сужденье», а «приговор», в «Пробуждении» — логическая неувязка: Батюшкова элегия заканчивается строками:

*И гордый ум не победит 9,5
Любви, холодными словами.*

Здесь пометка: «Смысл выходит — холодными словами любви — запятая не поможет».

Пример реализации метафоры (в «Ответе Гнедичу»):

*Твой друг тебе навек отныне
С рукою сердце отдает...*

«Батюшков женится на Гнедиче!» — таков замеченный Пушкиным неожиданный комический эффект.

Пушкин принимал и развил все ценные элементы поэзии Батюшкова, жизнеутверждающую основу, ясность мысли, конкретную образность его лучших стихов и вместе с тем отвергал все, что было связано с пережитками устаревших эстетических принципов, с противоречивостью, неполнотой воплощения принципов новых, еще не сложившихся в определенную систему в переходную эпоху литературного развития 1800—1810-х годов.

Слова Белинского о прославленной «Вакханке» Батюшкова — «это еще не пушкинские стихи, но после них уже надо было ожидать не других каких-нибудь, а пушкинских»... — можно распространить и на все лучшие стихи «Опытов», высоко оцененных, как мы видели, самим Пушкиным. Прав был Белинский, утверждая: «Батюшков много и много способствовал тому, что Пушкин явился таким, каким явился действительно»¹¹.

3

Несравненно сложнее и запутаннее вопрос о связях Пушкина с другим его учителем — Жуковским, крупнейшим русским поэтом. Вокруг этого вопроса сталкивались разные точки зрения, всегда велись споры, — они начались еще при жизни Пушкина, продолжают и теперь. Если

связи поэзии Пушкина и Батюшкова интересны преимущественно с точки зрения историко-литературной, то гораздо актуальней, острее звучит сегодня тема «Пушкин и Жуковский»: она важна для изучения не только роли Жуковского в творческой эволюции Пушкина, отношений «ученика» и «учителя», но шире — для общей трактовки путей и судеб поэтического творчества.

В истории русской поэзии проявились две основных тенденции: первая ведет свое происхождение от Жуковского, в творчестве которого преобладала лирика с ее идеалом прекрасного как явления таинственного, сверхчувственного мира; вторая — от Пушкина, утверждавшего поэзию действительности, с ее уравновешенностью мысли и чувства. Эти две тенденции просматриваются на всем протяжении XIX — XX веков. Конечно, эти два направления не развивались изолированно одно от другого. В творчестве ряда поэтов (например, раннего Некрасова или А. Блока) сказывались одновременно противоположные влияния — борьба различных воздействий, их усвоение или преодоление. Но тем не менее характерно, что имена Жуковского или Пушкина символизировали два разных начала поэтического творчества¹².

В свете всего этого вопрос об отношениях Пушкина и Жуковского, история ученичества, влияния, критики и отталкивания «ученика» от принципиальных основ эстетики своего учителя представляет не только академический интерес.

Значительность творчества Жуковского для Пушкина бесспорна. Жуковскому принадлежат замечательные новаторские открытия в области психологической лирики. В эпоху, когда еще господствовал классицизм с его пренебрежением к внутреннему миру человека, поэзия Жуковского — «поэзия чувства и сердечного воображения», как определил ее А. Н. Веселовский, — воспринималась как новое слово. Рационалистической односторонности классицизма в творчестве Жуковского была противопоставлена беспредельная стихия эмоций, однообразной определенности восприятия окружающего мира — непостоянство оценок, зависящее не только от объективных качеств всего изображаемого поэтом, но и прежде всего от изменчивых настроений поэта и его мечтательных порывов. Об этом сам Жуковский писал: «...Я, мечтательного зритель, глядел до сей поры на свет сквозь призму сердца, как поэт...» («К кн. Ю. А. Оболенскому»). Отсюда и новаторство поэтики Жуковского. Как установлено многими исследователями, функция слова в

этой поэтике лишена, в отличие от классицистических канонов, однозначности, оно окрашено ореолом различных психологических ассоциаций, подчинено целиком выражению оттенков чувств и настроений поэта.

Не раз освещались в литературе и завоевания Жуковского в области мелодики стиха, стихотворного ритма, строфики, где он проявил себя подлинным виртуозом. Все это Пушкин усваивал, все это было использовано им для решения собственных творческих задач. Но ведь известно, что эстетика Жуковского основана на совершенно чуждом Пушкину идеале мистического совершенства, что для Жуковского жизнь — отблеск потустороннего мира, где царствует вечная гармония, и поэтому между поэзией Жуковского и Пушкина неизбежно возникали сложные связи.

Посмотрим, как в стихах, письмах, статьях самого Пушкина отразилось его отношение к Жуковскому, оценки его роли и для своей творческой биографии, и для развития русской поэзии.

Пушкин всегда относился с уважением к своему учителю, он с восхищением отзывался о таких стихотворениях Жуковского, как «Море», где мастерство изобразительности сочетается с полнотой лирического чувства и гармонией стиха. О глубоком впечатлении, произведенном на Пушкина знаменитой «Светланой», можно судить и по характеру упоминаний в стихотворении «К сестре» и «Евгении Онегине» и по цитатам из этой баллады в пушкинских произведениях и письмах.

В примечаниях к «Кавказскому пленнику» Пушкин приводит большой отрывок из послания Жуковского к Воейкову, где есть «несколько прелестных стихов описания Кавказа». Жуковский не видел этих мест, но сумел по рассказам и описаниям воспроизвести их локальные черты, быт и нравы обитателей.

Пушкин считал Жуковского «гением перевода», в борьбе с трудностями он «силач необычайный». Но вместе с тем, когда Пушкин говорил о Жуковском, в его даже высоких оценках звучат и иные ноты.

У читателей нашего времени отношение Пушкина к Жуковскому определяется прежде всего стихами, обращенными к своему учителю, — «К портрету Жуковского» (1818). Они превосходны. В них проявился редкостный дар Пушкина — не только проникновение в психологический облик тех, к кому он обращался, но и способность вживаться в их образную систему, в тонкости их фразеологии. Вчитаемся в

столь знакомые нам строки надписи «К портрету Жуковского» — лаконичной и изящной, звучащей с характерной для стихов самого Жуковского тихой мечтательной интонацией:

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль.
И, внемля им, вздохнет о славе младость,
Утешится безмолвная печаль,
И резвая задумается радость.

Здесь все «вписывается» в эстетику и стилистику Жуковского. Надпись вся состоит из его поэтических формул. «Пленительная сладость» — это критерии оценки поэзии, которые, конечно, характерны для Жуковского, но которые для самого Пушкина не были основными¹³.

Полностью соответствуют поэтической стилистике Жуковского и специфические для него олицетворения, — в его стихах они встречаются в самых различных вариациях: Любовь, Младость, Счастье, Радость, Дружба, Надежда, Страдание (кстати, в «Надписи» Пушкина слова «младость», «радость», «печаль» также следовало бы печатать с прописных букв). Содержание «Надписи» тонко передает мотивы меланхолической лирики Жуковского, лирики элегических воспоминаний о прошедшем («вздохнет о славе»), тихой печали и утешений, которые поэт черпал в поэзии¹⁴.

Таким образом, перед нами, в отличие от распространенных в то время комплиментарных «надписей» к портретам, характеристика своеобразия Жуковского мастерски выражена в кратком пятистишии.

К тому же, 1818 году относится стихотворение Пушкина «Жуковскому», интересное в другом отношении. Здесь снова переданы черты Жуковского как поэта, стремящегося к «мечтательному миру». Образ его воссоздается в процессе творчества и согласуется с романтическими канонами:

...сменяются виденья 9,5
Перед тобой в волшебной мгле
И быстрый холод вдохновенья
Власы подъемлет на челе...

Но в этом же стихотворении есть любопытное истолкование эстетической позиции Жуковского. Пушкинское послание является откликом на издававшиеся Жуковским в том же 1818 году книжки своих произведений под названием «Для немногих» (сборники печатались в небольшом количестве экземпляров, предназначенных для лиц царствующей

щей фамилии). В название «Для немногих» Жуковский вкладывал свое понимание поэзии, ее предназначения для малого количества избранных, посвященных в божественное искусство.

Пушкин придавал этому названию несколько иной смысл:

Ты прав, творишь ты для *немногих*,
Не для завистливых судей,
Не для сбирателей убогих
Чужих суждений и вестей,
Но для друзей таланта строгих,
Священной истины друзей.
Не всякого полюбит счастье,
Не все родились для венцов...

Эти строки непосредственно связаны с другим посланием Пушкина Жуковскому, написанному ранее — в 1816 году («Благослови, поэт...»). Там Жуковский упоминался в кругу «арзамасцев» — врагов реакции, «друзей» просвещения, тех, к кому Пушкин обращался в том же послании с боевым призывом:

Летите на врагов: и Феб, и музы с вами!
Разите варваров кровавыми стихами...

Во втором послании 1818 года Жуковскому уже нет столь энергичных призывов. Возможно, что в 1816 году Пушкин еще не знал, что в «арзамасском братстве» Жуковский не был сторонником политической ориентации левой части этого кружка и отдавал дань преимущественно его шутовскому пародийному церемониалу. Но в 1818 году Пушкину это было хорошо известно. В это время левые арзамасцы (и прежде всего Вяземский) откровенно критиковали Жуковского за равнодушие к боевому духу «Арзамаса», за неустойчивость в отношениях к литературной борьбе и вообще за пассивность («сперва писал он для немногих, а теперь не для кого» — иронизировал Вяземский в письме к одному из арзамасцев, Д. И. Дашкову, в ноябре 1818 года)¹⁵. В других письмах того же года Тургеневу Вяземский призывает «переродить Жуковского»¹⁶ и иронически отзывается о его близости ко двору.

В свете всего этого стихотворение Пушкина «Жуковскому» 1818 года приобретало особый смысл. Перетолкование заголовка-девиза «Для немногих», прозвучавшее напоминанием о литературных боях, включалось (хотя и без той резкой прямоты Вяземского и других литераторов этого круга) в попытки воздействовать на Жуковского, прибли-

зить его поэзию к живой жизни. Перетолкование Пушкиным заглавия сборников носило даже дерзкий, демонстративный характер, так как это издание, как уже упоминалось, было предназначено для весьма узкого дворцового круга.

Стихотворение «Жуковскому» первоначально заканчивалось своеобразным назиданием, смысл которого — в призыве обратиться к новым темам:

Смотри, как пламенный поэт¹⁷,
Вниманьем сладким упоенный,
На свиток гения склоненный,
Читает повесть древних лет!
Он духом там — в дыму столетий!
Пред ним волнуется толпой
Злодейство, мрачной славы дети,
С сынами доблести прямой.

Но смысл этих строк с первого взгляда неясен, и они кажутся здесь неожиданными. Восхваление Жуковского как певца «мечтательного мира» сменяется здесь совершенно иными мотивами — восхвалением Карамзина как историка и поэтизацией исторической темы (причем история предстает здесь как героическая и трагическая, а никак не «волшебные виденья»). Эти строки могут быть объяснены двумя обстоятельствами: Пушкину было известно, что Жуковский собирался писать историческую поэму «Владимир»; как раз в то время, к которому относится это послание Жуковскому, подлинным событием был выход (в феврале 1818 г.) первых восьми томов «Истории Государства Российского» Карамзина. Пушкин, не разделяя его монархических взглядов, вместе с тем признавался, что прочитал эти тома с жадностью и считал их трудом «великого писателя». Так же относились к этому труду и декабристы, ценившие в нем описание самих событий прошлого (например, Н. Тургенев говорил, что при чтении «Истории» Карамзина «некоторые происшествия как молния, проникая в сердце, роднят с русскими древнего времени»¹⁸). Но в окончательной редакции пушкинского послания Жуковскому призывов обратиться к русской истории уже нет: по-видимому, Пушкин увидел, что его назидания входят в противоречие с элегической направленностью поэзии Жуковского¹⁹. Этим же можно объяснить, что Пушкин отбросил для печати и начало стихотворения:

Когда младым воображеньем
Твой гордый гений открылся,

Тревожит лени праздный сон,
Томясь мятежным упоеньем.

Эпитет гордый, конечно, не соответствует облику Жуковского, так же как и другой — мятежное упоенье. Подобная характеристика вступила бы в противоречие с той, которую Жуковский дал себе в стихотворном посвящении собрания своих сочинений великой княгине Александре Федоровне:

Я музу иную бывало
Встречал в подлунной стороне.
И вдохновение слетало
С небес, незванное, ко мне.

Но дарователь песнопений
Меня давно не посещал;
Бывалых нет в душе видений
И голос арфы замолчал.

Но так или иначе Пушкин в послании Жуковскому 1818 года выступал на равных и даже пытался как-то воздействовать на изменение его позиций.

Прошло несколько лет, и Пушкин определил свое отношение к чуждым ему сторонам поэзии Жуковского с такой резкостью, о которой позже даже жалел. В поэме «Руслан и Людмила» Пушкин с дерзостью юного новатора не только вступил в соревнование с Жуковским, но позволил себе пародирование своего учителя.

В литературе не раз сопоставлялась поэма «Руслан и Людмила» с поэмой Жуковского «Двенадцать спящих дев». Поэма Пушкина была напечатана в 1820 году, поэма Жуковского — в 1817 году (раньше та и другая частями печатались в журналах). Когда пушкинская поэма вышла в свет, «Двенадцать спящих дев» были у всех в памяти. Пушкин пошел на открытое полемическое решение родственной Жуковскому темы («вослед тебе лечу»). Все это было и формой самоутверждения.

Непосредственная полемика с Жуковским отражена в IV песне «Руслана и Людмилы». За шутливым определением, которое дано здесь Жуковскому («певец таинственных видений» и «могил и рая верный житель»), скрывалась позиция поэта иного направления. Когда Пушкин говорил при этом о «лжи прелестной» в поэзии своего учителя («ложь» надо понимать, конечно, в смысле условном), он имел в виду мистицизм его поэмы с ее идеей искупления греха и стремления к неземному идеалу. Обращаясь к Жуковскому как «наперснику, пестуну и хранителю» своей

музы, Пушкин вместе с тем противопоставлял его творческим решениям свои: общей религиозно-моралистической тональности поэмы Жуковского иронические, задорные интонации, отрешенности от «прозы жизни» — жизнелюбие, сглаженности описаний — свободу в изображении радостей любви.

К сопоставлению «Руслана и Людмилы» с поэмой Жуковского читатели наводили не только пародийные строки IV песни «Руслана», но заимствование имени героини из популярной, вызвавшей острую полемику баллады Жуковского «Людмила». Поэма Жуковского «Двенадцать спящих дев», состоящая из двух балладных сюжетов — «Громобой» и «Вадим», — представляла собою переработку романа немецкого писателя Шписса, основанного на средневековых религиозно-мистических легендах. Перенесение Жуковским действия в древнюю Русь не изменило общей трактовки сюжета. У Пушкина же, в образе Руслана (характерно его имя — производное от слова «Русь») отражены черты национального характера, возбуждающие в памяти героические эпизоды истории Древней Руси.

В поэме Пушкина в истолковании фантастического сюжета присутствует и сам автор-рассказчик, это современный человек, он выступает с непринужденным обращением к читателям-«друзьям», свободно рассуждает попутно о темах литературной борьбы, делится своими оценками героев и событий. Эпизод осады Киева печенегами, рассказ о сражении, когда Руслан «пал на басурмана», ликование освобожденного Киева — все это ассоциировалось с недавними героическими событиями Отечественной войны 1812 года. Общий же национально-сказочный колорит «Руслана и Людмилы» подчеркнут в прологе («У лукоморья дуб зеленый...»), добавленном во втором издании поэмы.

Когда Жуковский как «побежденный учитель» поздравил «победителя ученика» с окончанием «Руслана и Людмилы», то, конечно, он подразумевал его победу не в широком, а в одном определенном смысле: Пушкин создал поэму нового типа — сказочно-богатырскую поэму, замысел которой возникал и у Жуковского несколько лет тому назад, но остался неисполненным (Пушкин об этом знал). Между тем победа была значительнее, новаторство поэмы и в образах, и в стиле, и в свободных переходах от элегических описаний к разговорной речи, и в переключениях от серьезных раздумий к шутке и иронии; от эпического повествования к лирическим отступлениям, предвосхищающим стро-

фы «Евгения Онегина». Язык поэмы еще далек от того синтеза литературного и народного языка, который достигнут Пушкиным позже, но все же здесь уже выражены тенденции этого синтеза. Фразеология живой устной речи и «простонародные выражения» не вступают в противоречие с литературным словоупотреблением, и если консервативная критика ругала автора за «мужицкие рифмы», то это говорит лишь об избирательности ее вкуса. Язык поэмы представлял собой совершенно новое явление поэтического стиля по сравнению с балладным языком «Двенадцати спящих дев». Критика сглаженности этого языка развернулась еще несколько лет назад, до появления «Руслана и Людмилы», когда Катенин в противовес балладе «Людмила» Жуковского написал свою простонародную балладу «Ольга» на общий с Жуковским сюжет (заимствованный из баллады Бюргера «Ленора»). Пушкин по-своему выразил свою, близкую Катенину, позицию в этом споре самым стилем «Руслана и Людмилы». Но после, в 1833 году, Пушкин согласился с позицией Катенина уже в прямой форме.

Он писал о балладе «Ольга»: «Она была уже известна у нас по неверному и прелестному подражанию Жуковского, который сделал из нее то же, что Байрон в своем Манфреде сделал из Фауста: ослабил дух и формы своего образца. Катенин это чувствовал и вздумал показать нам Ленору в энергической красоте ее первобытного создания; он написал Ольгу». Как отметил Пушкин, «непривычных читателей неприятно поразили» «сия простота и даже грубость выражений, сия сволочь, заменившая воздушную цепь теней, сия виселица вместо сельских картин, озаренных летнею луною». Катенинский перевод сильно отличался от перевода Жуковского, где подлинник приукрашен и смягчен. Катенин же старался передать «простоту и грубость» оригинала возможно точнее. Это сказалось особенно в том различии описаний скачки мертвеца с Ленорой, о которых упоминал Пушкин.

У Жуковского:

...Тени
Легким, светлым хороводом
В цепь воздушную свились...

У Катенина:

Адской сволочи скаканье,
Смех и пляска в вышние...

Точно так же поражали «непривычных читателей» в «Руслане и Людмиле» «простота и грубость». В «Невском зрителе» (1820, № 7) Пушкина упрекали за то, что «в «Руслане» более грубое простонародное волшебство, а не чудесное», за отклик в поэме на современность, за картины, недостойные «языка богов».

Итак, поэма «Руслан и Людмила» обозначила водораздел между художественными системами Пушкина и Жуковского. Пушкин, обязанный ему многим, теперь окончательно и демонстративно встал на самостоятельный путь. Различие между поэзией Жуковского и Пушкина отныне проявилось в противоположном понимании духовных ценностей. Если для первого «земная жизнь» — это лишь отблеск «потусторонней» и пролог к ней, то для второго высшая ценность в самой жизни.

О неприятии идеалистических основ эстетики Жуковского говорит и темпераментный отклик Пушкина на программное стихотворение Жуковского «Лалла Рук», проникнутое тоской по внеземному идеалу «гения чистой красоты»:

Он лишь в чистые мгновенья
Бытия бывает к нам
И приносит откровенья
Благотворные сердцам;
Чтоб о небе сердце знало,
В темной области земной
Нам туда сквозь покрывало
Он дает взглянуть порой...

Пушкин вообще отрицательно относился к этому стихотворению. Он писал Вяземскому в 1822 году: «Жуковский меня бесит, что ему понравилось в этом Муре?.. Вся «Лалла Рук» Мура не стоит десяти строчек «Тристрама Шанди» <романа Лоренса Стерна>, пора ему иметь собственное воображение и крепостные вымыслы»... Философски-религиозный символ Жуковского «гений чистой красоты» был использован Пушкиным в совершенно ином смысле в стихотворении «Я помню чудное мгновенье...» — о земной любви, радостной и возрождающей к жизни²⁰.

Итак, даже в пору, когда дарование Пушкина еще не достигло полного развития, отношения «ученика» и «учителя» были далеко не столь однозначными, как это казалось критикам, идеализировавшим роль Жуковского в творческой биографии Пушкина. Да, Пушкин в полемике с друзьями возражал против недооценки роли Жуковского в развитии русской поэзии и в своем собственном развитии.

В письме к Вяземскому 25 мая 1825 года он писал: «...ты слишком бережешь меня в отношении к Жуковскому. Я не следствие, а точно ученик его, и только тем и беру, что не смею сунуться на дорогу его, а бреду проселочной». Не согласился он и с А. Бестужевым в оценке Жуковского: «Не совсем соглашаюсь с строгим приговором о Жуковском: Зачем кусать груди кормилицы нашей? Потому, что зубки прорезались?» Для понимания активной защиты Пушкиным Жуковского в это время нужно учитывать не только действительное его значение для творческого развития Пушкина, но и ситуацию, которая тогда сложилась. Пушкин считал, что дружеские отношения между писателями не должны мешать взаимной критике²¹, он, конечно, не мог забывать, что Жуковский — его старший друг, что он приветствовал его вступление на поэтическое поприще, а затем признал его «первое место на русском Парнасе» (письмо Жуковского к Пушкину в ноябре 1824 г.)²². Наконец, Пушкин знал легко ранимую натуру Жуковского.

Между тем критика в адрес Жуковского нарастала. С особенной настойчивостью и систематичностью критиковал Жуковского Вяземский и в письмах к нему самому и к общим друзьям, особенно к А. Тургеневу (и это становилось известным самому Жуковскому). Еще в 1818 году, когда критика Жуковского не достигла такой остроты, как в первой половине 20-х годов, Жуковский написал Вяземскому длинное письмо, полное упреков и обиды. Он требовал «нежной осторожности», требовал, чтобы Вяземский не говорил о нем того, что надобно только сказать один на один, и заключал: «Моя обязанность остеречь тебя, потому что и для тебя также должно быть важно не оскорбить меня, как и для меня»²³. Тем более оскорблялся Жуковский, когда критика по его адресу стала проникать в печать. Вот почему Пушкин, которому, конечно, была известна эта обидчивость своего наставника, стал убеждать друзей, чтобы они не допускали выпадов против Жуковского в статье, так как такие выпады будут радовать «чернь» (то есть чернь журнальную, критиковавшую Жуковского справа). Нет сомнений, что Вяземский был согласен в этом с Пушкиным. В результате каких-то общих решений Пушкина и Вяземского о необходимости выразить в печати отношение к Жуковскому появилась в 1825 году статья Вяземского «Жуковский. Пушкин. О новой политике басен». Здесь же дан отпор статье, напечатанной в «Сыне отечества» в том же году; где критик (О. Сомов) резко противопоставлял

Жуковского Пушкину, утверждая, что «Пушкин не есть и не будет никогда рыцарем печального образа», и ставил Пушкина гораздо выше Жуковского. В ответе критику Вяземский писал, что такого рода оценки могут лишь поссорить двух поэтов, которые «живут в ладу». И далее Вяземский (конечно, с разрешения самого Пушкина) приводит его слова: «С удовольствием повторяем здесь выражение самого Пушкина об уважении, которое нынешнее поколение поэтов должно иметь к Жуковскому...: «дитя не должно кусать груди своей кормилицы». (Последние слова почти дословно повторены в письме Пушкина Рылееву 25 января 1825 г.) И дальше о тактичности Пушкина: «Эти слова приносят честь Пушкину как автору и человеку»²⁴.

Сам Пушкин проявлял осторожность в выражениях. Он уже не писал о Жуковском как поэте, «почившем в бозе» подобно отзыву в письме Вяземскому в марте 1820 года. Иллюстрацией отношения Пушкина к поэзии Жуковского является его отзыв о стихотворении «Мотылек и цветы». Он относится к тому же 1825 году, когда Пушкин возражал в споре с Вяземским, Рылеевым, Бестужевым против недооценки значения Жуковского в развитии русской поэзии. В частности, Рылеев резко критиковал «мистицизм», которым проникнута большая часть его (Жуковского) стихотворений.

Пушкин не соглашался с резкостью рылеевского отзыва. В письме к брату Льву и П. Плетневу 15 марта 1825 года он писал о стихотворении «Мотылек и цветы», что нет «прелестнее строфы: «Он мнил, что вы с ним однородные» и следующей: «Конца не люблю». В двух строфах, которые восторженно оценил Пушкин, в чудесных пластических образах воплощена одна из романтических тем — одухотворение природы, ее возвышенно-эмоциональное восприятие. Мотылек здесь символизирует непрестанные, ничем не ограниченные стремления человеческого духа:

Он мнил, что вы с ним однородные,
Переселенцы с вышины,
Что вам, как и ему, свободные
И крылья и душа даны:
Но вы к земле, цветы, прикованы;
Вам на земле и умереть,
Глаза лишь вами очарованы,
А сердца вам не разогреть.

Характерно, что Пушкин выделил в стихотворении «Мотылек и цветы» именно эти две строфы, хотя им пред-

шествуют три в начале и две заключительные, и это понятно. В первых строфах развиваются излюбленные Жуковским мотивы бренности «земной, минутной красоты», которой противопоставлено воспоминание красоты «небесной, чистой». Последняя же строфа (о которой Пушкин сказал: «конца не люблю») — квинтэссенция мистического мироощущения с его надеждой «на лучший, неизменный свет» и презрением к «низости настоящего», к «волнениям жизни».

* * *

Полемика Пушкина с Жуковским и замечания о его произведениях сопровождались прямыми или косвенными попытками Пушкина влиять на направление его поэтической деятельности, а порой и тревогой о ее дальнейших путях. Происходит любопытнейшая метаморфоза: постепенно ученик становится также и учителем.

В 1822 году Пушкин, восторгаясь Жуковским как переводчиком, с беспокойством писал о том, что к самостоятельному творчеству он охладел: «Дай бог, чтоб он начал создавать» (письмо Гнедичу). Проходит еще несколько лет, и это беспокойство выражено в более сильных выражениях: «Переводы избаловали, изленили: он не хочет сам создавать». Но Пушкин еще надеется на возрождение: «Былое сбудится опять, а я все чаю в воскресение мертвых» (Вяземскому, 1825). Однако «воскресения» (в смысле обращения к оригинальному, а не переводному творчеству) не произошло. Жуковский как переводчик создавал новые баллады, ими не раз Пушкин восхищался, считая, однако, что и в своих балладах «северный Орфей» не должен был увлекаться только иноземными источниками: «Предания русские,— писал он по этому поводу,— ничуть не уступают в фантастической поэзии преданиям ирландским и германским».

Советы Пушкина не оставались безрезультатными.

Однажды, под прямым влиянием Пушкина, Жуковский взялся за сочинение литературных сказок в народном стиле. Это было в 1831 году, когда оба поэта жили в Царском Селе. Состоялось своеобразное состязание. Сюжеты разрабатывались сообща. Пушкин написал тогда «Сказку о попе и о работнике его Балде» и «Сказку о царе Салтане», Жуковский — «Сказку о царе Берендее» и «Спящую царевну». Конечно, и в сказках Жуковского видно стихотворное мастерство, но, тем не менее, снова сказалась разность подхода.

У Жуковского нет тех особенностей народной психологии, которые Пушкин однажды определил как «веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться». Отдаленность Жуковского от традиций русского фольклора сказалась также и в том, что «Сказка о царе Берендее» написана балладным гекзаметром, совершенно неподходящим для русского сказочного сюжета. Тем более нет в сказках Жуковского той сатирической остроты, которая проявляется в пушкинских («Сказка о попе и о работнике его Балде» при жизни Пушкина поэтому не могла быть напечатана).

В 1834 году Пушкин вернулся к состязанию с Жуковским в этом жанре и написал свою «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях», в некоторых основных сюжетных мотивах сходную со «Спящей царевной», — в обеих сказках героиня страдает от волшебной злой силы, и там и здесь ее пробуждает от мертвого сна царевич. Точно желая подчеркнуть свое соревнование с Жуковским, Пушкин заканчивает свою сказку такой же присказкой:

Я там был, мед, пиво пил,
Да усы лишь обмочил.

У Жуковского:

По усам вино бежало,
В рот же капли не попало.

Но различие этих сказок не только в умении Пушкина вживаться в специфику русского фольклора, но и в самих источниках сказки. Пушкин использовал популярнейший в крестьянской среде сюжет (записан им в Михайловском), Жуковский — немецкий и французский источники (братьев Гримм и Шарля Перро), изменив обстановку и имена героев на русские.

* * *

До сих пор речь шла преимущественно о предметах литературных. Но различие между художественными системами Пушкина и Жуковского никак нельзя рассматривать как проявление частных несогласий. Эти несогласия в конечном счете сводятся к коренным различиям мировоззрения. В некоторых литературоведческих работах они сглаживаются. Общей чертой характеров поэзии Пушкина и Жуковского считается гуманизм. Но однороден ли этот гуманизм?

У Жуковского были качества доброго человека, он сочувствовал несчастным, принимал участие в их судьбе, заступался даже за политических «преступников», ходатайствовал о смягчении участи осужденных (что, впрочем, не мешало ему называть декабристов в одном из писем «шайкой разбойников» и видеть в их попытках переворота «удивительно бесцельное зверство») ²⁵.

В системе мышления Жуковского его понимание человека было всеобщим. Сочувствия «в несчастях» были достойны и «селянин» и император. Жуковский считал, что самодержец может быть «хорошим», «добродетельным», если внушить ему гуманные идеи. Отсюда проистекало и назидание о человеке как «святейшем из званий», которое Жуковский включил в восторженное послание императрице по поводу рождения наследника престола.

У Пушкина по мере эволюции его мировоззрения складывалось иное понимание человека, его природы, понимание дифференцированности характеров, их обусловленности средой, обстоятельствами, движением истории.

При сопоставлении художественных систем Пушкина и Жуковского одним из определяющих критериев является критерий жизненных ценностей. У Жуковского — вера в предопределенность судьбы, вера в то, что на этой земле надо уповать на провидение. Жизненная философия Пушкина — это философия активной деятельности и борьбы. Противоположность этих двух философских тенденций сказывается даже в поэтике, в стиле, в образной символике. Достаточно сравнить, например, эпитеты в описаниях природы. Пейзажи Жуковского — это поэтические образы покая, уравновешенности; буря, бурное море в поэзии Жуковского связаны с символикой тревожных настроений, беды, резкого нарушения гармонии. У Пушкина же такие эпитеты связаны часто с поэтизацией идеалов деятельной, мятежной жизни, и это не только в стихах, когда картины природы проникнуты символикой свободолюбия (как, например, в стихотворениях «Кто, волны, вас остановил», «Наполеон», «К морю»), но и как выражение эмоционального подъема, вдохновения:

В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буйный.

Таковы же романтически взволнованные воспоминания о «бурях» в главе шестой «Евгения Онегина».

Тесные связи Пушкина и Жуковского никогда не пре-

рывались. Но в их отношениях сказывалась не только дружба, но сталкивались как плодотворные для обоих, так и неприемлемые для каждого из них попытки влиять друг на друга.

О том, чему Пушкин учился у Жуковского, мы говорили. Обратное влияние Пушкина на Жуковского было слабее. В своих письмах Жуковский открывал Пушкину свое понимание высокого. «Крылья у души есть! вышины она не побоятся. Там настоящий ее элемент! дай свободу этим крыльям, а не твоим»,— писал он Пушкину в 1824 году, шутливо, но со значением добавляя: «Прости, чертик, будь ангелом». Порой у Жуковского советы переменить стезю обретали тон настойчивый и требовательный. В 1825 году он писал Пушкину о том, что тот получил «только первенство по таланту», но не по достоинству: «Боже мой, как бы я желал пожить вместе с тобою, чтобы сказать искренно, что я о тебе думаю и чего от тебя требую». О том, что он думал, можно судить по его отрицательной оценке мятежно-романтической поэмы «Цыганы», они совершенны «по слогу», но «какая цель!.. Какую память хочешь оставить о себе отечеству, которому так нужно высокое...» В другом письме того же года— снова назидание с такой оценкой жизни Пушкина: «она была очень забавною эпиграммою, но должна быть возвышенной поэмою». Через некоторое время снова о том же: «дух твой нужен мне... для исправления светлым будущим всего темного прошедшего». И опять повторение: «перестань быть эпиграммой, будь поэмой».

Пушкин не смирился, не отрекся от своих идеалов, от своего понимания гражданского долга поэта. Но и Жуковский остался, конечно, при своих критериях. Когда он правил для посмертного издания стихотворений Пушкина его «Памятник», он заменил строку «...в мой жестокий век восславил я свободу» словами «о прелести живой стихов», Жуковский знал, что восхваление свободы в «Памятнике» цензура не пропустит, но выбрал именно ту фразеологию, которая была связана с его собственной эстетической программой.

Судьбы Жуковского и Пушкина поучительны. Вот как писал Жуковский Пушкину в письме от 12 апреля 1826 года: «...ты рожден быть великим поэтом и мог бы быть честью и драгоценностью России. Но я ненавижу все, что ты написал возмутительного для порядка и нравственности. Наши отроки (то есть все зреющее поколение) при плохом воспитании, которое не дает им никакой подпоры

для жизни, познакомились с твоими буйными, одетыми прелестью поэзии мыслями: ты уже многим нанес вред неисцелимый».

Убежденная вера в бренность земного существования привела к исчерпанности у Жуковского его самостоятельного творчества, и он рано перестал писать оригинальные произведения. Чудесная элегия «Море» (1822) была последней. Надежды Пушкина на «воскрешение» Жуковского не осуществились. В 1824 году Пушкин писал брату Льву, имея в виду издание стихотворений Жуковского 1824 года, — полушутливо, но одновременно и с грустью: «Славный был покойник, дай бог ему царство небесное».

Как ни велик подвиг Жуковского в истории поэзии, но уже во второй половине 20-х годов он воспринимался только как переводчик. Усиливаются жалобы Жуковского на то, что его поэзия уснула, «перестала быть отголоском жизни», и самое трагическое признание: «Кажется мне, что время поэзии для меня миновалось; может быть, это оттого, что жизнь моя сама по себе бесцветна и что лета уже взяли свое, то есть застудили то, что *не было никогда обращено в живое пламя*»²⁶.

Иначе сложилась судьба Пушкина, жизнь которого действительно осталась до конца поэмой, но, конечно, не в том смысле, как это определение понимал Жуковский в упомянутом выше назидательном письме к своему бывшему ученику.

4

Итак, в отношении Пушкина к своим ближайшим учителям — Батюшкову и Жуковскому проявлялось стремление творчески усвоить родственные черты их творчества и вместе с тем отталкивание от всего, что противоречило его собственным исканиям. «Будь всякий при своем» — эти слова из его послания к Батюшкову выражали стойкое убеждение в том, что принадлежность к той или иной школе должна сочетаться со способностью «изобретать», если речь идет о подлинных поэтах, а не тех, о которых он иронически заметил еще в одном из самых первых своих стихотворений:

...Не тот поэт, кто рифмы плетть умеет... 7

Пушкин скоро завоевал славу главы поэтов своего времени. Уже с конца 10-х — начала 20-х годов он пользовал-

ся репутацией смелого новатора. О громадном воздействии Пушкина говорил и Дельвиг в письме к нему в 1824 году: «Никто из писателей русских не поворачивал каменными сердцами нашими, как ты». Подобные признания можно умножить. Спектр влияния Пушкина на современных поэтов очень широк. В. И. Туманский писал ему в 1827 году: «Твои связи, народность твоей славы, твоя голова... все дает тебе лестную возможность действовать на умы с успехом, гораздо обширнейшим против прочих литераторов. С высоты твоего положения должен ты все наблюдать, за всем надсматривать, сбивать головы похищенным репутациям и выводить в люди скромные таланты, которые за тебя же будут держаться». Но вопрос о пушкинской школе — вопрос громадный, для освещения его надобны капитальные исследования. Здесь же ограничимся наметкой признаков, по которым можно судить о самой школе и ее последователях.

Литературные школы Пушкин различал и по имени определенного писателя (например, Вальтера Скотта), и по каким-либо общим признакам, объединяющим художников (например, «Фламандской школы пестрый сор...»), и по принадлежности к тому или иному направлению (скажем, к романтизму). При определении критериев, которыми можно было бы руководствоваться, говоря о последователях Пушкина или его школе, обратимся к его суждениям о тех принципах творчества, которые были для него особенно важными.

Прежде всего напомним, что Пушкин согласился с характеристикой его Киреевским как «поэта действительности»²⁷. Разносторонность отражения жизни, воплощение всего богатства явлений истории и современности составляла существеннейшее качество всего пушкинского творчества. Общие критерии оценки Пушкиным поэзии своего времени основаны прежде всего на его собственном опыте.

Если суммировать все суждения Пушкина о литературе, то окажется, что именно единство «мысли» (то есть идейного содержания) и творческого воображения, живописности, позволяющей воссоздать жизнь в ее истинности и вместе с тем в ярком образном выражении, было для него высочайшим критерием творчества. В 1822 году он замечает, что проза «требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат». В это время он еще склонен в какой-то мере соглашаться с общепринятым мнением, что стихи, в отличие от прозы, в этом отношении

имеют некоторое отличие — «стихи дело другое», но здесь же оговаривается: «Впрочем, в них не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо позначительнее, чем у них обыкновенно водится. С воспоминаниями о протекшей юности литература наша далеко вперед не подвинется» («О прозе»). В дальнейшем он полемически заострит эту мысль: «У нас употребляют прозу как стихотворство: не из необходимости житейской, не для выражения нужной мысли, а токмо для приятного проявления форм». Нарушение одного из условий совершенства художественного произведения — единства содержательности и формы — он определяет характерным словом «бессмыслица»: «Есть два рода бессмыслицы: одна происходит от недостатка чувств и мыслей, заменяемого словами; другая — от полноты чувств и мыслей и недостатка слов для их выражения». Отсюда требование в самом ходе творчества руководствоваться главной целью, центральной идеей, соотношением целого и отдельных элементов произведения: «Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и соразности». В «Отрывках из писем, мыслях и замечаниях», где обобщение собственного творческого опыта соединено с раздумьями над опытом предшественников, Пушкин иллюстрирует свой критерий художественности — умение «сильно и необыкновенно» (то есть оригинально) передать «ясную мысль и картины поэтические».

Именно стремление к синтезу «мысли» и образности было одним из главных критериев Пушкина. С этим критерием связано и другое определение, которое Пушкин считал величайшим достоинством поэзии — «гармоническая точность». В этом определении «точность» означает верность действительности и опять-таки верное выражение значительной мысли. Рассуждая об истории развития поэзии, Пушкин отметил: «ум не может довольствоваться одними игрушками гармонии, воображение требует картин и рассказов».

К критериям творчества и значительности дарования относится также смелость изобретения, когда «план обширный объемлет творческой мыслью». Из этих критериев Пушкин исходил, когда оценивал творчество различных поэтов. Говоря о Баратынском, поэт подчеркивает: «он у нас оригинален», «мыслит по-своему»; в сочинениях Катенина отмечает: он «шел всегда своим путем...»; даже в стихах Федора Глинки, поэта отнюдь не высокого уровня,

Пушкин увидел то, что придает им своеобразие: «обороты то смелые, то прозаические, простота, соединенная с изысканностью», «однообразие мыслей и свежесть живописи», все, что «дает особенную печать его произведениям».

Все эти суждения следует учитывать, когда идет речь о том, по каким признакам можно судить о степени принадлежности тех или иных поэтов к «пушкинскому кругу». Нельзя ограничиваться в характеристиках поэтов этого круга лишь изъяснениями ими дружеских чувств и общностью тем или мотивов, а из этого исходили чаще всего представители старой критики, которые переоценивали значение столь традиционного для того времени обмена стихотворными посланиями.

Близость идейных устремлений — одно из условий общности поэтов, принадлежащих к определенному направлению, но все-таки одна только эта близость не решает вопроса о принадлежности того или иного поэта к пушкинской школе. Если ограничиваться только моментами чисто идеологическими и исключить вопросы метода, то понятием школы могут быть объединены все поэты, которые занимали прогрессивные позиции в общественном движении, примыкали к борьбе с реакцией в жизни и литературе и разрабатывали гражданские темы. Тогда понятие пушкинской школы окажется вполне подходящим для того, чтобы включить в него, например, всех поэтов-декабристов. В известной мере это так. Но, например, в поэтической системе Рылеева содержались принципы и совершенно неприемлемые для Пушкина (вспомним его резкую критику рылеевских «Дум»), а эволюция Пушкина от романтизма к реализму встретила не только непонимание, но и отрицательное отношение со стороны Рылеева (так же как у А. Бестужева). Не менее характерны принципиальные различия в позициях Пушкина и Кюхельбекера, различия, которые они сами засвидетельствовали.

Вот почему совершенно неоправданными являются те историко-литературные характеристики, которые объединяли без определенной дифференциации самых различных поэтов 20—30-х годов в так называемую «пушкинскую плеяду». Неповторимая индивидуальность как неотъемлемое качество всякого подлинного поэта при таком подходе игнорировалась, выяснение степени общности художественных принципов, метода подменялось установлением всякого рода заимствований, реминисценций, прямого подражания. К «пушкинской плеяде», таким образом, причисляли даже

прямых эпигонов. Игнорировалось основное требование, которое должно соблюдаться при характеристике какой-либо школы или направления — требование оценки ее представителей в зависимости от вклада, который каждый из них внес в литературу, развивая общие принципы. Неудачным, вносившим путаницу, был сам термин «плеяда» (в свое время он возник, по-видимому, по аналогии с наименованием группы французских поэтов, возглавленной Пьером Ронсаром и сплоченной единством отношения к путям развития литературного языка). Естественно, что понятие «пушкинская плеяда», игнорировавшее сложность и своеобразие поэтов, творчество которых так или иначе связано с именем основоположника новой русской поэзии, в дальнейшем было отвергнуто нашим литературоведением. И все же до сих пор нет ясности в вопросе о том, чем же определяется «пушкинский круг», действительно существовавший в поэзии.

Для того чтобы найти точные критерии принадлежности к пушкинскому направлению, нужно исходить не только из общности литературных позиций, но прежде всего из развития тем или иным поэтом определенных сторон новаторской поэтической системы, открытой Пушкиным. Ведь подражательность уже сама по себе вызывала у Пушкина отрицательную реакцию, независимо оттого, кому именно тот или иной поэт следовал («вялые подражатели», «несносные» подражатели) — характерные эпитеты, которые встречаются у Пушкина). Пушкин не делал исключения в этом отношении и для начинающих поэтов. Об одном из них, Ф. Слепушкине, выкупленном из крепостного состояния, Пушкин писал Дельвигу: «...у него истинный, свой талант; пожалуйста, пошлите ему от меня экз. «Руслана» и моих «Стихотворений» — с тем, чтоб он мне не подражал, а продолжал идти своею дорогою».

Различные поэты испытывали влияние разных фаз эволюции Пушкина. Ведь и художественно-аналитическая система художественного мышления Пушкина сложилась не сразу, ей предшествовали этапы: ранний, где сквозь противоречивые влияния классицизма и сентиментализма только еще пробивались тенденции, предсказывавшие будущего «поэта действительности», затем этап романтический. Поэтому писатели, которых принято считать спутниками Пушкина, нередко испытывали, в зависимости от собственных устремлений, воздействие не итогового, наиболее зрелого, а предшествующих, преодоленных им

самим этапов творческого развития. Кроме того, нужно принимать во внимание и другое: даже безусловно талантливый поэт не мог бы воплотить в своих произведениях целостную пушкинскую систему, и не только потому, что подобное воплощение означало бы подражание или копирование, лишенное индивидуального своеобразия. Для своего времени творчество Пушкина с его беспримечной широтой и художественным совершенством представляло собою неповторимый феномен, как бы ни были велики творческие достижения поэтов его круга, можно говорить о развитии, хотя бы и новаторском, лишь тех или иных сторон пушкинской системы. Наряду с сознательным и бессознательным усвоением принципиальных элементов пушкинской поэзии творчество того или иного поэта может быть воплощением сходных элементов и независимо от влияния Пушкина, а в силу объективной логики художественного метода, порожденного общими условиями социальной жизни и литературного развития эпохи.

Влияние Пушкина, если оно носило характер творческий, означало не подчинение его манере; прав был Катенин, утверждая: «мы все современники, сотрудники, волей и неволей соперники»²⁸.

Именно сотрудничество, основанное на большей или меньшей близости, общности позиций в общественной жизни, в понимании высокой роли поэта, и вместе с тем «соперничество» (в смысле соревнования, включающего также споры и противоречия) отличает связи Пушкина и наиболее одаренных поэтов его круга. Разумеется, художественная система Пушкина не является абсолютным эталоном, в сравнении с которым не принимается во внимание индивидуальное своеобразие и новаторские элементы в творчестве того или иного представителя «пушкинского окружения»; но поскольку Пушкин явился родоначальником новой русской поэзии, поскольку открытое им направление не только определило существенные творческие принципы поэтов, входивших в орбиту его влияния, в той или иной степени развивавших его темы, мотивы, образы, жанры,— поскольку соотношение пушкинской поэтической системы с ее претворением у близких ему современников не только вполне оправдано, но и необходимо.

Обратимся к тому критерию, который является основным в художественной системе Пушкина,— к синтезу аналитического и конкретно-чувственного элементов в поэзии, или, говоря его терминами, соединения «исследования ис-

тины» и «живости воображения», «ясной мысли» и «картин поэтических», значительных идей и «гармонической точности». Степень воплощения этого идеала поэтического творчества зависела не только от дарования того или иного поэта пушкинского круга, но и от степени его связей с жизнью и от своеобразия его мышления. И при всем этом все-таки именно пушкинская синтетическая система была вершиной достижений художественного мышления этой эпохи, и поэтому при всем своеобразии даже наиболее оригинального поэта, в той или иной степени близкого Пушкину, определение его принадлежности к его школе или направлению должно соотноситься с основными принципами пушкинской художественной системы.

Наиболее показательны для характеристики этого соотношения творчество трех поэтов пушкинского круга — Баратынского, Вяземского и Языкова. Поэзия каждого из них отличается чертами индивидуальной неповторимости, своеобразности и потому представляет особый интерес при сопоставлении с синтетической системой Пушкина, с ее гармоническим единством «рационального» и «чувственного», «мысли» и образности.

Пушкин, называя Баратынского поэтом мысли, разъяснял, что он «мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко. Гармония его стихов, свежесть слога, живость и точность выражения должны поразить всякого, хотя несколько одаренного вкусом и чувствами». (Статья написана в 1831 году и характеризует зрелого Баратынского; в его ранних стихах еще ощущалась рассудочность «французской школы».) Эта оценка полемически направлена против Шевырева, называвшего Баратынского «скорее поэтом выражения, нежели мысли и чувства»²⁹.

Благодаря особому дару Баратынского философские вопросы — познания смысла жизни, этики и даже отвлеченные понятия воплощались в образной, предметно-чувственной форме. Вот одно из таких стихотворений:

Предрассудок! он обломок
Давней правды. Храм упал;
А руин его, потомок
Языка не разгадал.

Гонит в нем наш век надменный,
Не узнав его лица,
Нашей правды современной
Дряхлолетнего отца.

Воздержи младую силу!
Дней его не возмущай;
Но пристойную могилу,
Как уснет он, предку дай³⁰.

Одно из важнейших требований пушкинской системы поэтического творчества — требование «мысли», анализа «противоречий существенности» — Баратынский претворил в своей лирике с неповторимым своеобразием, ярко и оригинально в самой структуре стиха. Вся его поэзия — это поэзия интеллектуализма, анализа и раздумий о судьбе человека современной эпохи, о жизни и смерти, но раздумий не в форме развития предзаданных идей, он как бы ведет диалог с читателем, диалог, в котором, несмотря на «разрешающие» строфы и концовки, нет окончательных, раз и навсегда решенных вопросов. Применяя к поэтическому творчеству формулу, пользуясь которой теперь определяют сложности и противоречия научных исканий, можно сказать, что поэзия Баратынского — это «драма идей».

О своем восприятии и осмыслении жизни Баратынский сказал в стихотворении «Недоносок», где есть трагическое признание:

Бедный дух! ничтожный дух!
Дуновенье роковое
Вьет, крутит меня как пух,
Мчит под небо громовое.
Бури грохот, бури свист!
Вихорь хладный! Вихорь жгучий!
Бьет меня древесный лист,
Удушает прах летучий!

«Две области: сияния и тьмы исследовать равно стремимся мы» — эти слова Баратынского можно рассматривать как определение своей позиции. В ходе его эволюции даже сама мысль как объект лирического воплощения подвергается то утверждению, то отрицанию. В отрывках из поэмы «Воспоминания» гимн познанию сочетается с утверждением: «Я слишком счастлив был спокойствием незнания», а через три года он так говорит о себе:

Я мыслю, чувствую: для духа нет оков;
То вопрошаю я предания веков,
Всемирных перемен читаю в них причины;
Наставлен давнею превратностью судьбины;
Учусь покорствовать судьбине я своей;
То занят свойствами и нравами людей,
Поступков их ищу прямые побужденья,

Вникаю в сердце их, слежу его движенья,
И в сердце разуму отчет стараюсь дать!

(Н. И. Гнедичу)

В дальнейшем разочарование в могуществе мысли у Баратынского нарастает. «Приметы» — это апология «человека естества»: в далеком прошлом человек был счастлив, он «по-детски вещаниям природы внимал», — и природа «любовью ему отвечала». Но затем:

...чувство презрев, он доверил уму;
Вдался в суету изысканий...
И сердце природы закрылось ему,
И нет на земле прорицаний.

Скептицизмом проникнуто и стихотворение «Все мысль да мысль! Художник бедный слова!» Но это стихотворение позднего Баратынского, когда он, по характеристике Белинского, оказался среди тех, «которых разложение и гниение элементов старой общественности... оскудение жизни и доблести современных — заставляют отчаиваться за будущую судьбу человечества»³¹. «Индустриальный век» с его противоречием и господством бездушного рационализма Баратынский ошибочно воспринял в последнем периоде своего духовного развития как начало дряхления человечества.

И все же эти пессимистические настроения не означали отказа поэта от философских размышлений в своей лирике, этот отказ вообще не был в его натуре, ибо, как говорил он, «жизнь для волнения дана». Его дар поэта-философа продолжал крепнуть. Критикуя идею, заложенную в «Последнем поэте», где осуждается «железный век», Белинский тем не менее заметил: «Какие дивные стихи!»³²

Говоря о поэзии Баратынского в целом, можно заключить, что, развивая некоторые существенные стороны пушкинской художественной системы, он вместе с тем внес в нее неповторимые черты своего дарования. Если в лирике Пушкина мир автора — это одновременно и обобщенный мир современника, то в интеллектуальной лирике Баратынского автор как таковой остается большей частью как бы в тени, его жизненный облик остается неизвестным читателю (по крайней мере в той конкретности, в том самораскрытии автобиографии, которое так характерно для пушкинских стихотворений)³³. Впрочем, эта черта лирики Баратынского не является абсолютной, например, в его посланиях есть и реальные черты биографии автора.

Но всем этим не исчерпываются различия между прин-

циями поэтического творчества Баратынского и Пушкина. Дисгармония бытия, поиски идеала, борьба противоположных начал, раздумья о прошлом, настоящем и будущем — все это стало достоянием поэзии благодаря Пушкину. Но Пушкин эти темы воплощал в контексте реальных событий не только своей жизнью, но и движения истории. Баратынский, развивая аналитические и психологические принципы пушкинской художественной системы, не развертывал свои темы на канве, так сказать, «эмпирической» действительности, но он сумел обогатить русскую поэзию присущим ему галантом лирического воплощения диалектики мысли. Благодаря редкостной способности Баратынского воплощать отвлеченные идеи в конкретно-чувственные образы, его идеи приобретают эмоциональную окраску, образную форму в силу природы подлинного поэтического творчества, и мысль, даже отвлеченное понятие, окрашивается личным переживанием. Во всем этом и заключался оригинальный вклад Баратынского в развитие школы Пушкина.

К поэтам, в творчестве которых в отличие от Баратынского противоречия между «мыслью» и «чувством», логико-аналитическими и конкретно-образными элементами оставались довольно стойкими, принадлежал П. А. Вяземский — один из самых близких друзей и сподвижников Пушкина в литературном движении 20—30-х годов.

В качестве убежденного теоретика и пропагандиста русского прогрессивного романтизма он сыграл значительную роль в укреплении этого направления, душой которого был Пушкин. Статья Вяземского, напечатанная в виде предисловия к «Бахчисарайскому фонтану» Пушкина («Разговор между издателем и классиком Выборгской стороны или Васильевского острова») послужила основой для обширной полемики о романтизме и классицизме. Для Вяземского как критика романтизм был не только утверждением новых форм в литературе, не только защитой национальной темы. Как никто другой из лагеря приверженцев нового направления, Вяземский в 20-е годы вместе с декабристами призывал к непосредственной связи литературы с политической борьбой и был сам автором острых политических стихов (среди которых «Негодование» стало одним из самых популярных в агитационной лирике 20-х годов; впоследствии в тайном доносе оно именовалось «катехизисом заговорщиков»).

Пушкин высоко ценил Вяземского как критика. «Критические статьи Вяземского, — писал он, — носят на себе от-

печаток ума тонкого, наблюдательного, оригинального. Часто не соглашаешься с его мыслями, но они заставляют мыслить. Даже там, где его мнения явно противоречат нами принятым понятиям, он невольно увлекает необыкновенною силою рассуждения (discussion) и ловкостью самого софизма». Однако будучи убежденным сторонником романтизма, в качестве литературного критика Вяземский, как это ни парадоксально, в своей поэзии не только не претворил художественные принципы этого направления, но во многом остался в пределах мышления и даже поэтики классицизма, против которого так воинственно выступал... У Вяземского иногда прорывались оценки произведений Пушкина, которые он, конечно, никогда не позволил бы себе в открытых выступлениях³⁴.

В своей поэзии Вяземский, за сравнительно редкими исключениями, не мог достигнуть той гармонии «ума» и «воображения», того сочетания аналитических, лексических элементов с живописной изобразительностью, которая характерна для Пушкина. Даже лучшие стихотворения Вяземского не оставляют впечатления художественной целостности, — рядом с удачными образами и местами мы встречаем топорные обороты, неловкие словосочетания, режущие слух звуки — и это при безусловной талантливости автора! Такое отношение к поэтическому творчеству, при котором единственной ценностью признается «мысль», а выразительные средства оказываются малосущественными, было связано с сознательными установками Вяземского. «Поэзия мысли», которую он защищал, зачастую оборачивалась риторикой монологов, композиция и объем стихотворения определялись у него большею частью логическим развитием темы, а не органически спаянной структурой образов. Вяземский сам говорил о своих стихах: «Малозвучность и другие недостатки стиха моего могут объясниться следующим. Я никогда не пишу стихов... это не вполне импровизация, а что-то подобное тому... Мало заботясь о них, отпускаю стихи мои на божий свет, как родились они...»³⁵ И здесь же он пояснял свою позицию: «В стихе моем хочу сказать то, что сказать хочу: о ушах ближнего не забочусь и не помышляю. Не помышляю и о том, что многое не ладится со стихами... мое упрямство, мое насильствование придает иногда стихам моим прозаическую вялость, иногда вычурность...»³⁶ Надо сказать, что в таком отношении к работе над стихом отразилась неприязнь Вяземского к литературному труду как к профессии, в чем он неоднократно признавался.

Достаточное представление о том, к каким результатам приводили подобные взгляды на поэзию, дают критические отзывы Пушкина о стихах Вяземского. В письмах Пушкина к нему рассыпано немало критических замечаний, сохранилась правка некоторых произведений Вяземского. Пушкин был очень тактичен в своей критике друга и единомышленника. Кроме того, он понимал, что никакие советы не могут привести к коренному преобразованию поэтического мышления Вяземского. Порой на его удачу Пушкин откликается очень горячо, и не только когда то или иное стихотворение ему действительно нравилось (например, «Первый снег»), но и в случаях, когда оно было тяжеловесным, но значительным по теме и содержанию³⁷.

Более всего показателен для понимания граней между поэтическими принципами Вяземского и Пушкина следующий эпизод.

В письме 4 августа 1825 года Вяземский послал Пушкину свое стихотворение «Нарвский водопад» и просил: «Надобно кое-что исправить. Заметь и доставь мне замечания». Вяземский пояснял, что замысел этого стихотворения в иносказании, сам по себе водопад не является самостоятельной темой. «Я доволен тут одним нравственным применением», — писал он, поясняя, что хоть здесь «нет для слушателей увлечения красноречия», но «можно угадать мысли и чувство». Стихотворение это основано на тех принципах метафоризации, которые были свойственны поэтике классицизма, ассоциативность была здесь по преимуществу логико-рационалистической, а не конкретно-образной. Стихотворение начиналось одического характера обращением к водопаду:

Несись с неукротимым гневом
Сердитой влаги Властелин,—
Над тишиной окрестной, ревом
Господствуй, бурный исполин!

Мятежный, дикой, величавый
За валом низвергая вал,
Жемчужною, кипящей лавой
Перебегай ступени скал!

Дождь брызжет с непрерывной сшибки
Волны, сразившейся с волной,
И влажный дым, как облак зыбкий,
Вдали твой предъявляет бой!

Далее следовали размышления, пробуждаемые видом разъяренного водопада, так контрастирующего с «сельской

тишиной», где «чувства отдыхают нежно», а затем водопад становится олицетворением неумейной человеческой страсти:

Тод грозным знаменем свободы
Лесешь залогом бытия
Зародыш вечной непогоды
И вечно бьющего огня!

Ворвавшись в сей предел спокойный,
Один свирепствуешь в глуши,
Как средь пустыни вихорь знойный,
Как страсть в святилище души!

Как ты, внезапно разгорится,
Как ты, растет она в борьбе,
Терзает лоно, где родится,
И поглощается в себе.

И развитие темы, и стиль стихотворения, которые могли бы показаться близкими романтическому «очеловечению» природы и метаморфизации, на самом деле полностью принадлежат рационалистическому образу мышления. Как ни далек был Вяземский по своим взглядам и по литературной манере от классицизма XVIII века, но структура этого стихотворения приводит на память ломоносовскую трактовку «художественного расположения», согласно которому «изъяснению» темы «служат распространения из мест риторических и избранные парафразисы»³⁸. В самом деле. «Нарвский водопад» основан на подобном «распространении» и целой цепочке перифраз (водопад — «сердитой влаги властелин», «бурный исполин», «питомец тайной бури», «игралоуе глухой волны» и т. д.). Таким образом, Вяземский не смог осуществить здесь свой замысел. В метафоризме, который, как полагал Вяземский, должен способствовать отождествлению водопада с человеческой душой, сквозит лишь всеобщность аналогий.

Естественно, что самый метод создания этого стихотворения полностью противоречил взглядам Пушкина. Он ответил Вяземскому обстоятельным разбором «Нарвского водопада».

По поводу первой строфы он заметил:

*«...с гневом
Сердитый влаги властелин,—*

В л а В л а — звуки музыкальные, но можно ли, например, сказать о молнии властительница небесного огня. Водопад сам состоит из влаги, как молния сама

огонь. Перемени как-нибудь, валяй его с каких-нибудь стремнин, вершин и тому подобное».

В третьей строфе Пушкин снова увидел несообразность:

«Дождь брызжет от (такой-то) сшибки
Твоих междуусобных волн.

Междуусобный значит *mutuel*, но не включает в себе идеи брани, спора, — должно непременно тут дополнить смысл».

Возражение вызвало у Пушкина определение водопада «питомец тайной бури»: «не питомец, а скорее родитель — и то нехорошо — не соперник ли? тайной, о гремящем водопаде говоря, не годится; о буре физической — также». И далее серия других замечаний: «Игралище глухой войны — не совсем точно. Ты не зеркало и проч.³⁹ Не яснее ли и не живее ли: Ты не приемлешь их лазури etc. Точность требовала бы не отражаешь».

«Под грозным знаменьем etc. Хранишь etc., но вся строфа сбивчива⁴⁰. Зародыш непогоды в водопаде: темно. Вечно бьющий огонь, тройная метафора. Не вычеркнуть ли всю строфу?»

«Как средь пустыни etc⁴¹. Не должно тут двойным сравнением развлекать внимания, да и сравнение неточно. *Вихорь и пустыню* уничтожь-ка, посмотри, что выйдет из того:

Как ты, внезапно разгорится.

Вот видишь ли? Ты сказал об водопаде огненном метафорически, то есть блистающий, как огонь, а здесь уж переносишь к жару страсти сей самый водопадный пламень (выражаюсь как нельзя хуже, но ты понимаешь меня). Итак, не лучше ли:

Как ты, пустынно разразится, а? или что другое — но разгорится слишком натянуто».

Отзыв Пушкина был дружески откровенным: критика перемежалась несколькими одобрительными словами, но суть отзыва в отрицании самого принципа отношения Вяземского к образности, к строению метафор, к точности выразительных средств.

Вяземский был не только не согласен с самим существом пушкинского отзыва, но и рассержен. В ответном письме Пушкину он подробно рассказывает о смысле и логике своих метафор и уподоблений, заключая: «Вбей себе в голову, что этот весь водопад не что иное, как человек, взбитый

внезапною страстию. С этой точки зрения, кажется, все части соглашаются, и все выражения получают ипе аггiёге репсёе ⁴², которая отзывается везде». Но эти объяснения Вяземского свидетельствуют лишь о том, как сильны были в его сознании пережитки системы классицизма с ее тяготением к аллегоричности и с отношением к образности лишь как к служебному элементу в ходе развития какой-либо идеи.

После этого письма Пушкин отделался в своем ответе лишь двумя сдержанными, лаконичными фразами: «ты признаешься, что в своем «Водопаде» ты более писал о страстном человеке, чем о воде. Отсюда неточность некоторых выражений». Вяземский сделал несколько несущественных для всего стихотворения поправок перед напечатанием его в альманахе «Северные цветы» (например, вместо «питомец тайной бури» он написал «создание тайной бури», вместо «внезапно разгорится» — «внезапно разразится»), то есть устранил не художественные, а логические несообразности.

Пушкин отмечал также и растянутость стихов Вяземского и частое пренебрежение их звуковой стороной. В кишиневском дневнике Пушкина записано (3 апреля 1821 г.): «Читал сегодня послание князя Вяземского к Жуковскому. Смелость, сила, ум и резкость; но что за звуки! кому у был Феб из русских ласков. Неожиданная рифма Херасков не примиряет меня с такой какофонией». Но подобного рода критику Вяземский попросту не понимал. По поводу этого отзыва Пушкина он впоследствии заметил: «В стихах моих я нередко умствую и умничаю. Между тем полагаю, что если есть и должна быть поэзия звуков и красок, то может быть и поэзия мысли. Все эти свойства или недостатки побудили Пушкина в тайных заметках обвинить меня в какофонии...» ⁴³

Те особенности поэзии Вяземского, которые связаны с рационалистическим складом его мышления, сказываются и в тех произведениях, которые Пушкин высоко ценил. Одним из таких, безусловно, лучших стихотворений является «Первый снег» (1819). В нем имеются действительно замечательные строки, живописующие зимнюю природу:

Здесь снег, как легкий пух, повис на ели гибкой;
Там, темный изумруд посыпав серебром,
На мрачной он сосне разрисовал узоры.
Рассеялись пары и засверкали горы,
И солнца шар вспылал на своде голубом.
Волшебницей зимой весь мир преобразован;
Цепями льдыстыми покорный пруд окован

И синим зеркалом сравнялся в берегах.
Раздался шум забав: пренебрегая страх,
Сбежались смельчаки с берегов толпой игривой
И, празднуя зимы ожидаанный возврат,
По льду свистящему кружатся и скользят.

Но в этом же стихотворении встречаются и строки, напоминающие рядовых стихотворцев допушкинской поры:

Кладбищем зрелся лес; кладбищем зрелся луг,
Пугалище Дриад, приют крикливых вранов,
Ветвями голыми махая, древний дуб
Чернел в лесу пустом, как обнаженный труп...

Весьма симптоматична и скрытая полемика, которая содержится в III и IV строфах пятой главы «Евгения Онегина» как раз в связи со стихотворением Вяземского «Первый снег». Пушкин как бы проводит здесь границу между некоторыми принципами своей поэзии и поэзии Вяземского, полемически противопоставляет свои картины «низкой природы» («изящного немного тут», замечает он иронически) изображению зимы в стихотворении Вяземского. В черновой рукописи это противопоставление выражено с еще большей прямотой:

Все это низкая природа —
Изящного немного тут,—
И м<ожет> б<ыть> иного рода
Картины в поле нас влекут.
Согретый вдохновеньем богом
Другой поэт роскошным слогом
Живописал нам п<ервый> снег
[И роск<ошь>] зимних нег,
Он вас пленит (я в том уверен),
Рисую в счастливых стихах
Прогулки тайные в санях.

Отличие самого характера стихотворения Вяземского «Первый снег» от строф о зиме в пятой главе «Евгения Онегина» очевидно. В стихах Вяземского нет ничего, что выходило бы за пределы восприятия зимы как светского «праздника», который приносит удовольствия развлечений — охоты, прогулок и т. д. Такое восприятие зимы здесь подчеркнуто:

О пламенный восторг! В душе блеснула радость,
Как искры яркие на снежном хрустале.
Счастлив, кто испытал прогулки зимней сладость!..

«Роскошный» слог стихов Вяземского с их стилистической сглаженностью, подчеркнутой красотой образов (напри-

мер, конь здесь именуется «Красивый выходец кипящих табунов») и отсутствием локальных примет деревенской зимы противостоял «простонародному» слогу и «низким» образам пушкинских стихов. Народность Вяземского всегда оставалась в пределах расцвечивания этнографическими подробностями, а не являлась принципом художественной системы.

Одной из особенностей поэзии Вяземского является несовместимость разнородных лексических рядов. Он остается мастером удачных строк и строф, отдельных метких определений, но часто вслед за прекрасными строками следуют поразительные своей неуклюжестью. Так, после строк

Под бурей рока твердый камень,
В волненьи страсти легкий лист! ⁴⁴

следует:

Куда ж меня нелегкий тащит
И мой раздутый стих таращит.

Или в стихотворении «Слезы» (1830) первая строфа отличается легким непринужденным стилем:

Сколько слез я пролил,
Сколько тайных слез
Скрыться приневолил
В дни сердечных гроз!

В последней же строфе неуклюжая, точно вымученная образность:

Слезы, что отсели
На сердечном дне,
К язвам прикипели
Ржавчиной во мне.

Читая стихи Вяземского в их последовательности, замечаешь, что он так и не смог претворить открытый Пушкиным принцип синтетического единства мысли и образа. Но изменения в его поэтическом стиле стали происходить.

Прямое влияние пушкинской поэзии сказывается и в стихотворении «Море» («Как стаи гордых лебедей На синем море волны блещут...»), где чувствуются отзвуки пушкинской элегии «К морю». Раскованность и непринужденность разговорной речи в стихотворениях Пушкина «Зимняя дорога» и «Дорожная жалоба» ощущается в «Тройке» («Тройка мчится, тройка скачет...») Вяземского. Под воздействием пушкинской поэзии Вяземский начинает бороться с много-

словием, с обилием перифраз. Разрушение Пушкиным средоточия между литературным языком и языком разговорным, смелое вторжение в его лирику мотивов и образов окружающего быта — все это находило определенный отклик и в поэзии Вяземского, в особенности в таких его стихотворениях, как «Коляска», «Зимняя карикатура», «Станция». Но такого рода отклики все же не имели решающего значения. В. В. Виноградов, сравнивая появившиеся почти одновременно стихотворения Вяземского «Кибитка» и «Метель» со стихотворением Пушкина «Бесы», замечает, что у Вяземского в отличие от национально-характеристической, «простонародной» лексики Пушкина «сходные мифологические образы облечены совершенно иной экспрессией каламбурно-иронической издевки... Лексика и фразеология представляют не только пеструю смесь литературно-книжных образов, посыпанных, как перцем, простонародными образами и словечками, но и образуют назойливую «игру слов», напоминающую об авторе — салонном остроумце»⁴⁵.

Итак, Вяземский, принадлежавший к видным представителям «пушкинского круга», быть может, полнее, чем кто-либо из них, отразил противоречия «старого» и «нового» как в содержании, так и в форме своих произведений. В его лирике, особенно в 20—30-е годы, есть несомненные удачи. Однако рассудочность в целом не была преодолена; она даже отставалась, как мы видели, под видом однобоко трактуемой «поэзии мысли»⁴⁶.

Если в поэзии Вяземского ощущается в соотношении с художественной системой Пушкина рассудочность, перевес «идей» над образом, то в стихотворениях другого его современника — Языкова преобладает противоположная тенденция.

Языков занял место в ряду самобытных представителей русской лирики. Лучшие его стихи отличаются яркой романтической окраской, живописной изобразительностью, «раскованностью» поэтического словаря. В рецензии на «Невский альманах» 1830 года Пушкин писал о Языкове: «С самого появления своего сей поэт удивляет нас огнем и силою языка. Никто самовластнее его не владеет стихом и периодом. Кажется, нет предмета, коего поэтическую сторону не мог бы он постигнуть и выразить живостью ему свойственной».

Еще до личного знакомства (которое состоялось в 1826 году, когда Языков приехал в Тригорское и в течение шести недель общался с Пушкиным) оба поэта обменялись

посланиями. Первым начал переписку стихами Пушкин. В своем послании 1824 года он говорит:

Издrevле сладостный союз
Поэтов меж собой связует:
Они жрецы единых муз;
Единый пламень их волнует;
Друг другу чужды по судьбе,
Они родня по вдохновенью.
Клянусь Овидиевой тенью:
Языков, близок я тебе.

Пушкин ощущал родство вольнолюбивой поэзии Языкова своему творчеству. Это подтверждается особым значением формулы «союз поэтов» в литературе декабристского периода, а также откровенно-доверительным тоном пушкинского послания, написанного от имени изгнанника, жертвы «самовластья».

Ответное послание Языкова было несравненно более сдержанным (он, по-видимому, опасался тогда переписки с ссыльным Пушкиным), но все же содержало признание:

В бытописаньи русских муз
Меня твое благоволенье
Предаст в другое поколенье
.....
Так камень с низменных полей
Носитель Зевсовых огней,
Играя, на гору заносит.

Второе послание Языкова, написанное в августе 1826 года, после возвращения из Тригорского, всем своим содержанием демонстрирует преклонение перед Пушкиным, дружба с которым для поэта «святое царской головы». Об этом же говорит и стихотворение Языкова «Тригорское», посвященное пребыванию у «свободного поэта, непобежденного судьбой».

Во втором послании Пушкина Языкову (1826) иносказательно говорится о единстве свободолюбивых устремлений, связавших обоих поэтов.

В начале своего творческого пути Языков проделал эволюцию, во многом сходную с той, которую испытал Пушкин: учился сначала у поэтов XVIII века, в особенности у Державина, Карамзина, а затем у Батюшкова и Жуковского. В посланиях Языкова к Кулибину, к Очкину, «К брату» («Столицы мирный житель...»), в стихотворении «Мое уединение» и некоторых других мы слышим и интонации стихотворения Батюшкова «Мои пенаты», в них использует-

ся однообразный карамзинский поэтический словарь: здесь и «весна золотая», и «прохладный легкий ветерок», здесь и «сладостный поток», «унылая тоска», «грозный рок», «резвая веселость», «сонная волна лени», здесь и знакомый сентиментальный образ лирического героя:

Столицы мирный житель,
Враг лени и сует...

(«К брату»).

Но уже в начале 20-х годов в творчестве Языкова все более укрепляются мотивы, характерные для поэзии романтизма и вместе с тем свойственные только ему особые черты. Первыми же своими стихотворениями, которыми он уже вошел в сознание читателей как новый и яркий талант («Чужбина», «Н. Д. Киселеву», «Муза», «К халату», элегии, «Родина» и др.), он доказал свою принадлежность именно к пушкинской ветви романтизма. Романтическим становится и сам метод поэзии Языкова — раскрепощенность от догматических канонов классицизма и сентиментально-однотипной сглаженности сентиментализма; примат «воображения», диктат «души», «страсти»; новое отношение к слову, открывавшее бесконечные возможности его субъективно-экспрессивной окраски; отношение к творчеству как преимущественно к самовыражению, а к материалу творчества — действительности — как к импульсам для воспроизведения авторских переживаний. Эти особенности романтического метода претворялись по-разному у представителей различных течений романтизма. У поэтов романтизма субъективистского они вели к разрыву между «объектом» и «субъектом» изображения, а в конце концов к иррационализму и мистицизму. У романтизма другого типа, ярчайшим представителем которого был Пушкин, экспрессивность основывалась на проявлении реальных свойств объекта, и субъективно-лирическое его восприятие не вело к разрыву с действительностью, а, наоборот, открывало беспредельные возможности соотнесения изображаемого мира с миром собственных чувств и переживаний. Писал ли он на темы исторического прошлого, обращался ли к темам призвания поэта, поэзии природы или любви, — всюду субъективный мир поэта передавался через яркую и конкретную живопись при помощи воспроизведения ярких, точных деталей окружающего мира.

Вот одна из элегий Языкова:

Любовь, любовь! веселым днем
И мне, я помню, ты светила;
Ты мне восторги окрылила,
Ты назвала меня певцом.

Волшебна ты, когда впервые
В груди ликуешь молодой;
Стихи, внушенные тобой,
Звучат и блещут золотые!

Светлее зеркальных зыбей,
Звезды прелестнее рассветной,
Пышнее ленты огнецветной,
Повязки сладостных дождей

Твои надежды; но умчится
Очаровательный их сон;
Зови его — не внемлет он
И сердцу снова не приснится,

Здесь переживания поэта воссозданы при посредстве целой цепи ассоциаций предметного мира, и благодаря этому отвлеченные представления становятся конкретными, зримыми, чувствуемыми. Характерно здесь и само строение метафорического образа, самобытного, «пышного», «торжественного», который узнается именно как языковский: любовь не только сравнивается с радугой, «лентой огнецветной» (которая, в свою очередь, метафорически раскрывается как «повязка сладостных дождей»), но оказывается еще «пышнее». В качестве другого, типичного для художественного метода Языкова стихотворения можно назвать «Две картины». Образ Чудского озера дан здесь в двух ракурсах — во время восхода солнца и в лунную ночь. Читатель становится зрителем, не только созерцающим обе картины, но и как бы участвующим в их создании. Первые же строки, словно красочные мазки живописца, возбуждают в воображении необычайно отчетливо поэтические представления озаренного восходящим солнцем озера:

Прекрасно озеро Чудское,
Когда над ним светило дня
Из синих вод, как шар огня,
Встает в торжественном покое...

Дальше используются столь характерные для палитры Языкова краски: цветы радуги, пышность необозримой равнины, переливная роса, светлеющая, словно блески золота, тихий плеск парусов и, наконец, живая песнь, которая разносится по глади вод, — все это не только воссоздает изображаемый пейзаж, но и передает восторженное, напряжен-

ное мировосприятие поэта. Такими же изобразительными средствами нарисовано и лунное озеро:

Прекрасно озеро Чудское,
Когда блистательным столбом
Светило искрится ночное
В его кристалле голубом...

Характерно, что и в изображении тихого ночного пейзажа Языков, следуя свойственной ему манере, также пользуется контрастными яркими красками: чернеющие образы лесов и безмолвная синяя пучина озаряются падающей с небесной высоты звездой, ее алмазными блестящими. В этих совершенно конкретных картинах определяющей является их эмоционально-эстетическая окраска, то, что сам Языков назвал выражением «живых восторгов». Насколько точно Языков определил своеобразие собственного поэтического мироощущения, свидетельствует уже то, что почти все, кто пытался в прозе или в стихах охарактеризовать особенности языковской поэзии, пользовались теми же определениями. В посланиях Языкову Баратынский говорил о его «восторге удалом», Ознобишин — о «восторгов дивных порывах», и даже граф Хвостов называл его «восторга сын». Экстатическое мироощущение Языкова имел в виду и Пушкин, когда говорил об «избытке чувств» в его поэзии, и Вяземский, называвший его стих «огнедышащим». (Любопытно, что в «Послании к Языкову» Вяземский отметил особое значение для Языкова традиций державинской поэзии: «Державина святое знамя ты здесь с победой водрузил».)

Своеобразие поэзии Языкова — в сложном синтезе принципов романтической лирики Пушкина с органически переработанными особенностями поэтики и эстетики Державина. «Торжественность», «пышность» языковской поэзии заставляют вспомнить не только общий колорит и тональность поэзии Державина, но и его теоретические установки, которые заключаются в «Рассуждении о лирической поэзии». Там «лирическое», «высокое» расшифровывается как непрерывное представление множества «картин и чувств блестящих, громким, высокопарным, цветущим слогом выраженное, который приводит в восторг», здесь же защищается определение поэзии как «говорящей живописи»⁴⁷.

Сама способность к живописной изобразительности, которая достигает у Языкова высочайшего мастерства, все же реализуется преимущественно в деталях, а не является, в отличие от пушкинской поэзии, структурным элементом всей

композиции, позволяющим глубоко раскрыть какое-либо явление или характер во всей сложности, противоречивости, в диалектике переходов от одних состояний к другим. Поэт как бы одним, поразительно метким взглядом схватывает отдельные черты изображаемого, но это его умение служит, как правило, лишь выражению собственных ощущений. При этом Языков добивается редкой динамичности, многообразия ассоциаций в обрисовке деталей образа. Для подтверждения этого достаточно привести лишь несколько примеров. Ощущение мгновенного солнечного восхода Языков передает, говоря о полях:

С них белой скатертью слетают
И сон и утрення мгла...

А вот одномоментное восприятие молнии:

Зубчатой молнии бразда
Огнем рассыплется пурпурным,
Все видно: цепь далеких гор,
И разноцветные картины
Извивов Сороти, озер,
Села, и брега, и долины!

Об усталости от светской суеты:

...в сердце, музою любимом,
Порой, как пламени струя,
Густым задавленная дымом,
Страстей при шуме нестерпимом
Слабеют силы бытия...

Даже когда Языков хочет передать звучание мелодии, он прибегает к динамике зрительно ощущаемого движения:

...звуки стройно подымались,
И в трелях чистых и густых
Они свивались, развивались —
И сердце чувствовало их!

Но способность к исключительно яркой экспрессивности, будучи сильной стороной поэтического дарования Языкова, часто оборачивалась его слабостью, поскольку не была соединена с глубиной и широтой мысли. В весьма положительном отзыве Пушкина о Языкове, который приведен выше, есть, однако, и важная оговорка: «Пожалеем, что доныне не выходил он из одного слишком тесного ряда...» Здесь мы подходим к определению тех весьма существенных границ, которые отделяют пушкинскую художественную си-

стему от языковской. Смелость и неожиданность оборотов Языкова поистине замечательны: «звучит лесная глубина», «откровенное вино», «незанимательная травля», «мед ожиданий», «неопытная кровь», «бестелесная мечта» — эти приемы обращения со словом, так же как и многочисленные неологизмы (например, снеговершинный, мимоходящий, перепрыг, искрокипучий, водобег, миговой, своенародность, тьмочисленный, бурноногий), несомненно, способствовали расширению средств поэтического выражения. Но именно в выражения!

Симптоматично, что еще при жизни Языкова не только критически относившиеся к нему литераторы, но и друзья приходили к заключению о том, что самые сильные стороны таланта Языкова зачастую оборачивались его слабостью. Ксенофонт Полевой признавал, что стих Языкова «закален громом и огнем русского языка...». Но вместе с тем Полевой подчеркивал, что достоинства Языкова можно выразить словами: «он поэт выражения». «Мы не нашли в нем никаких глубоких, объединяющих идей», — отмечал критик свойственную поэту «односторонность»⁴⁸. Белинский писал, что «Языков много способствовал расторжению пуританских оков, лежащих на языке и фразеологии»⁴⁹, и в то же время на многих примерах показал, что «односторонность его поэзии, недостаточность в нем идейного содержания часто приводила к риторике и к предпочтению мысли — эффектности формы»⁵⁰. Белинский, полемически заостривший свою критику Языкова в период острой борьбы со славянофильством, увлекся, утверждая, что «поэзия Языкова это не более как разноцветный огонь отразившегося на льдине солнца», что его произведениям свойственна холодность⁵¹. Однако основная мысль критика об ограниченности содержания поэзии Языкова как причине появления в его стихах позднего периода риторики и повторений была подхвачена и Добролюбовым, который дал более объективную оценку стихотворениям Языкова, особенно сочувственно отметив (в пределах цензурных возможностей) период его творчества, когда он «лучшую часть своей деятельности посвящал изображению чистой любви к родине и стремлений чистых и благородных». «Те же чувства, — продолжал Добролюбов, — выражаются и в других стихотворениях ранней поры Языкова. Но, к сожалению, источник их был не в твердом, ясно сознанном убеждении, а в стремительном порыве чувства, не находившего себе поддержки в просвещенной мысли...» «Языков не мог удержаться сознательно на этой высоте, на кото-

рую его поставило непосредственное чувство: у него не доставало для этого зрелых убеждений...»⁵²

С другой стороны, и друзья поэта из славянофильского лагеря также осознавали эти слабости поэзии Языкова, хотя и пытались направить его совсем по другому пути. Так, например, в одном из писем Языкову И. Киреевский в 1830 году признал, что в его «Пловце» (стихотворение написано в 1829 г.) впервые проявилось соединение чувства и мысли⁵³.

Причины слабости и односторонности поэзии Языкова, постепенного обеднения его таланта заключались, конечно, не только в ограниченности романтического метода, а прежде всего в социальной позиции поэта, в его эволюции от вольнолюбия — к консерватизму. На это указывал еще Вяземский в посвященной его творчеству статье 1847 года, отмечая, что «стих его не кидался в боевую жизнь, не кипел общими страстями, не отвечал на все упования и сетования современного человека, как стих Байрона и Пушкина»⁵⁴.

В этапах этой эволюции отразилось и отношение Языкова к Пушкину. Оно не было однозначным.

Первый период, именуемый «дерптским», охватывает 1820-е годы. В это время Языков воспринимался передовым поколением России как поэт оппозиционный, смелый и независимый.

Студенческие дерптские песни Языкова с вольнолюбивой окраской, мотивами свободы, безудержного веселья, любви и вина напоминают лицейские стихи Пушкина, например, его «Пирующие студенты», написанные в 1814 году.

Две элегии 1824 года — «Свободы гордой вдохновенье» и «Еще молчит гроза народа» связаны с трагическим стихотворением Пушкина «Свободы сеятель пустынный», распротранившимся тогда в рукописных копиях. В них выражена та же горечь по поводу смирения «рабской России» перед силой самовластья, как и в пушкинском стихотворении. К чести Языкова, он в период следствия, суда и расправы с декабристами мужественно откликнулся на события, потрясшие всю передовую Россию. Стихотворения «Присяга» (1825) и «Вторая присяга» (1826) были в то страшное время одним из немногих публичных выражений политического протеста. Присягу царю, «присягу рабства» поэт противопоставляет только единственно для него возможной присяге «своей Харите». Но наивысшим взлетом всей вольнолюбивой лирики Языкова является стихотворение, написанное им летом 1826 года под впечатлением известия о

казни Рылеева. Здесь не только обличение палачей; впервые у Языкова возникает образ грядущей борющейся России:

Не вы ль, убранство наших дней,
Свободы искры огневые —
Рылеев умер, как злодей! —
О вспомяни о нем, Россия,
Когда восстанешь от цепей
И силы двинешь громовые
На самовластие царей!

Все это, казалось бы, дает основание считать Языкова одним из поэтов, выразивших родственные лирике Пушкина настроения. Однако прославление свободы, независимости не было стойким у Языкова и сопровождалось утверждением прелестей уединения, отстранения от «сует», идеализацией жизни, отданной «друзьям, вину, свободе и веселью».

В ранних юношеских стихах Пушкина также встречается прославление уединенного, независимого житья в кругу вольнолюбивых друзей в противоположность суете столицы и двора: здесь сказывалось тогда еще непреодоленное влияние карамзинистской поэзии. Но в противоположность Пушкину Языков доходил и до полного отрицания. Таково, например, его стихотворение «К халату» (1823), где сочувственно изображен такой характер лирического героя:

Презрев слепого света шум,
Смеется он, в восторге дум,
Над современным Геростратом.
Ему не видятся в мечтах
Кинжалы Занда иль Лувеля...

Возможно, что эти строки являются полемически направленными против Пушкина, поскольку его отношение к Занду и Лувелю получило широчайшую огласку. В 1820 году Пушкин в театре показывал портрет убийцы герцога Беррийского с надписью: «Урок царям». Эти факты имел в виду Родзянко в своем пасквиле на Пушкина, когда отзывался о нем:

И все его права иль два, иль три Ноэля,
Гимн Занду на устах, в руке портрет Лувеля,—

строки, прославляющие К. Занда (студента тюбингенского университета, убившего в 1819 г. реакционера А. Коцебу) в стихотворении Пушкина «Кинжал» (1821):

О юный праведник, избранник роковой,
О Занд, твой век угас на плахе,

Но добродетели святой
Остался глас в казненном прахе.

Из стихов Языкова лишь «Муза» (1823) может быть сопоставлена с основными тенденциями пушкинского цикла, посвященного гражданской, героической роли поэта:

Богиня струн пережила
Богов и грома и булата;
Она прекрасных рук в оковы не дала
Векам тиранства и разврата...

Другое стихотворение Языкова «Поэт», написанное двумя годами позже, уже проникнуто ходовым противопоставлением «гения» «толпе», а в 1827 году мир поэта ограничивается «миром уединения» («К музе»). В дальнейшем же идея отрешенности от «опасностей и бед» и утверждение «православной дороги» как единственно правильной (послания «А. Дельвигу» и «А. Н. Вульффу») определяют понимание Языковым назначения поэта.

В одном из наиболее интересных памятников русской демократической критики конца 50-х годов, в статье «Лирическая поэзия и последователи Пушкина», было пронизательно подмечено и влияние Пушкина на Языкова, и значение последующего расхождения. «В Тригорском уединении Языков нашел гораздо больше разнообразия и пищи духовной, нежели в песнях студенческого населения Дерпта. Все осмыслилось для юного поэта через сообщество Пушкина⁵⁵. И если бы фатальное стечение обстоятельств не отвлекло Языкова в другую сторону... то, без сомнения, талант Языкова получил бы широкое развитие и не впал бы он в те крайности, которые поражают последующие его произведения»⁵⁶.

Восторг, выраженный Языковым в посвященных Пушкину стихах, не был результатом глубокой убежденности, как и вольнолюбивые мотивы ранних его стихов. Попытки Пушкина в дальнейшем привлечь Языкова к участию в литературной борьбе оказались безуспешными. С другой стороны, в отзывах Языкова о Пушкине проявляется отчетливо отрицательное отношение к наиболее зрелым произведениям. Б. В. Томашевский мотивирует это тем, что здесь «говорил какой-то инстинкт самосохранения: оригинальность Языкова, его стремление идти своим путем заставляла сопротивляться подавляющему влиянию Пушкина, которое он бессознательно на себе испытывал»⁵⁷. Имеются и другие объяснения. Так, например, С. Бобров считал, что Языков

«был исполнен естественной реакции на недостаточную революционность пушкинской формы»⁵⁸. Наконец, Н. О. Лернер говорил, что в основе резкой критики Языковым пушкинских произведений «лежала горькая зависть...»⁵⁹. Полагаю, что причины заключались прежде всего в глубоком расхождении позиций двух поэтов. Подтверждение этому — не только в эволюции взглядов Языкова, но и в его выпаде против Пушкина, который содержится в «Сказке о пастухе и диком вепре». Как известно, «Сказки» Языкова вообще принципиально отличны от пушкинских как по идейной направленности, так и по форме: в них нет ничего народного, начисто отсутствует демократическая тенденция. В «Сказке о пастухе и диком вепре», несомненно, на сатирически заостренную пушкинскую «Сказку о золотом петушке» намекал Языков, мотивируя выбор своего сказочного сюжета:

Какую ж сказку! Выберу смиренно
Не из таких, где грозная вражда
Царей и царств и гром, и крик военной,
И рушатся престолы, города;
Возьму попроще, где б я беззаботно
Предаться мог фантазии моей,
И было б нам спокойно и вольготно...

Что же касается отказа Языкова видеть какие-либо достоинства в «Евгении Онегине», то в этом случае единственной причиной является неприятие пушкинского реализма. Подходя к пушкинскому роману с позиций романтического метода, Языков возмущался отсутствием в этом произведении вдохновения, «рифмованной прозой»⁶⁰.

Языков в пору расцвета своего таланта смог усвоить и развить (развить оригинально!) только некоторые из сторон пушкинского романтизма и благодаря этому довольно быстро исчерпал возможности своей «огнедышащей» и «хмельной» поэзии. Судьба Языкова как поэта подтверждает, что преобладание эмоциональной стихии, экспрессивности изображения, не проникнутого постоянно углубляющейся мыслью, неизбежно суживают границы поэзии. С другой стороны — и это мы видели на примерах из поэзии Вяземского, — принципам синтетической системы Пушкина противоречит «перевес» идеи над образом, рассудочность, способная нарушать и разрушать самую структуру художественности.

* * *

Отношение Пушкина к современным поэтам в значительной мере определялось степенью самостоятельности

того или иного из них и характером зависимости от традиции или от ближайших предшественников. «Талант неволен, и его подражание не есть постыдное похищение — признак умственной скудости, но благородная надежда на свои собственные силы, надежда открыть новые миры, стремясь по следам гения,— или чувство, в смирении своем еще более возвышенное: желание изучить свой образец и дать ему вторичную жизнь». Так писал Пушкин в статье о «Фракийских элегиях» В. Теплякова. В его стихах чувствовался «самобытный талант» и вместе с тем сказывались прямые заимствования образов и мотивов романтической поэзии. Высоко оценивая стихи, где проявлялась «истина чувств», где было «более простодушия», «более индивидуальности», Пушкин отмечал, что эти достоинства иногда затемняются «однообразием» и подражанием Байрону. Но здесь и подражание не эпигонство: «В наше время молодому человеку, который готовится посетить великолепный Восток, мудро, сядя на корабль, не вспомнить лорда Байрона и невольным соучастием не сблизить судьбы своей с судьбой Чильд-Гарольда». Таким «молодым человеком» и был Тепляков, подвергавшийся преследованиям и ощущавший себя скитальцем; влияние Байрона было способом выразить эти «свои чувствования». Иное отношение вызывали подражательные стихи М. Деларю: он пишет «слишком гладко, слишком правильно», «в нем не вижу я ни капли творчества, а много искусства» (письмо Пушкина Плетневу, 1831). «Много искусства» — это свойственная тогда эпигонам версификаторская техника, «ни капли творчества» — безликость.

Картина поэзии пушкинской поры была богатой, разнообразной, но журналы и альманахи в большинстве заполнялись (в особенности в конце 1820-х и в 1830-е годы) эпигонами, писавшими «под Пушкина». Преобладал, по удачному выражению Надеждина, «пиитический машинизм».

В 1838 году Николай Полевой писал:

«...Та самая услуга, которую оказал Пушкин нашей поэзии, причинила ей и большой вред... Мы окружены «гладкими» поэтами... Пушкин открыл им тайну известной расстановки слов, известных созвучий, угадал то, что прежде делало стих наш вялым и прозаическим, и его четырехстопный ямб так развязал нам руки, что мы пустились чудесно писать стихами. Сам Пушкин испугался впоследствии, какое обширное поле открыл он бездарности и пустозвучию своим ямбом. Правда, никто не умел похитить у Пушкина настоящей тайны этого стиха, но манере его так искусно начали

подражать, что, несмотря на полное бессмыслие, стих выигрывал невольное одобрение»⁶¹. Конечно, хитрая попытка Полевого возложить на Пушкина ответственность за половежье эпигонской поэзии была лишь следствием неприязни критика к нему, но сама ситуация отмечена верно. Эпигоны растаскали темы и мотивы, новаторски разработанные Пушкиным, свели его открытия к безличной мозаике образных средств, применяемых автоматически, чисто ассоциативным путем. Распространенной была, например, вялая компиляция мотивов стихотворений Пушкина о драматизме судьбы поэта и его роли Подолинским, Якубовичем, Деларю, Тимофеевым и другими. Сложнейшее содержание философской лирики Пушкина — трагическое столкновение сил добра и зла, противоречие между идеалами и действительностью — было упрощено и обеднено. Девальвация эпигонами пушкинских завоеваний поощрялась беспринципными критиками. О графоманской мистерии Тимофеева «Поэт», экзотически соединявшей мотивы стихов Пушкина и Жуковского, рецензент «Северной пчелы» писал, что в ней выражена «обширная, высокая мысль», а Сенковский оценивал автора как едва ли не наиболее яркого выразителя «начал пушкинской поэзии»: «у него много пушкинской фантазии, много воображения, много огня и чувства...»⁶²

Художественная система Пушкина, воплощенная в его поэзии, — система беспредельно емкая, открытая для развития во всех направлениях, связанных с живой жизнью. Элементарное подражание, копирование, эпигонство всегда оказывалось изменой пушкинским традициям и заветам, даже при самых добрых намерениях поэтов, преклонявшихся перед Пушкиным и заявлявших о своей принадлежности к его школе.





„Загадочная поэма“

1

Пушкин изучен более, чем какой-либо другой классик: ему посвящены сотни книг, тысячи статей. Но и тут есть «белые пятна». Далеко не все еще ясно в биографии великого поэта, в его творческой деятельности. К таким «белым пятнам» относится и поэма Пушкина «Анджело», связанная с пьесой Шекспира «Мера за меру». Пушкин создал эту поэму в период высшего расцвета своего гения (она относится к 1833 году), но была встречена очень холодно. Пушкин говорил по этому поводу: «Наши критики не обратили внимание на эту поэму. Они думают, что это одно из слабых моих сочинений, тогда как ничего лучшего я не написал»¹. Вскоре после выхода в свет один из критиков назвал поэму «вялой, пустой»². Другой критик отметил, что в ней много «ума скрытого в простоте разительной», но не пояснил свою оценку и тут же упрекнул автора «в безразличии к современности»³. Даже Белинский, так глубоко понимавший пушкинское творчество, в характеристике «Анджело» ошибался. Он видел в ней признак упадка таланта автора. И позже в своем знаменитом цикле статей о Пушкине он сказал об «Анджело»: «Эта поэма недостойна таланта Пушкина. Больше о ней нечего сказать»⁴.

Шли годы, но поэма не была понята. А. В. Дружинин говорил о ней: «вещь странная и загадочная», и это мнение повторялось не раз⁵. П. В. Анненков писал: «До сих пор многие критики еще затрудняются определением намерений поэта при переложении в рассказ шекспировской драмы «Measure for measure» («Мера за меру»)»⁶. Не мог понять истинного смысла «Анджело» и Н. Черняев — автор единственного исследования о поэме, несмотря на сделанные им

ценные наблюдения⁷. В советском пушкиноведении специальных работ об «Анджело» пока нет, но в статьях Н. Нусинова⁸, А. Македонова⁹ высказаны верные соображения о гуманизме поэмы, ее художественной ценности. Но все же недооценка поэмы, прохладное к ней отношение, долго не было преодолено. Б. В. Томашевский, так много сделавший для изучения Пушкина, в своем отношении к «Анджело» остался, однако, на традиционных позициях: «...Пушкин,— писал он,— равнодушно принимал бранливые оценки критики. Но это объясняется значительностью поставленных задач, а не достоинствами поэмы самой по себе». А эти задачи (как полагал Томашевский вслед за предшественниками) заключались в том, чтобы «присвоить эпосу... приемы психологического развертывания образа героя»¹⁰; содержания «Анджело» исследователь не касался. Бытовала и бытует характеристика поэмы Пушкина как «пересказа» пьесы Шекспира. В 1964 году на XVI Всесоюзной Пушкинской конференции автор этих строк выступил с докладом о поэме, где охарактеризовал ее идейно-политический замысел, значение и историко-философскую концепцию¹¹. В 1973 году поэме посвятил статью Ю. М. Лотман, в 1982 году ее же рассмотрел Г. П. Макогоненко в книге о творчестве Пушкина в 1833—1836 годы. Оба автора также акцентируют внимание на увиденной Пушкиным политической актуальности шекспировского сюжета и его творческой переработки¹².

Чем же заинтересовала Пушкина «Мера за меру»? Об этом мы можем судить прежде всего по его собственным словам. К самым сильным разоблачительным образам Шекспира Пушкин относил образ Анджело, который «приносит судебный приговор с тщеславною строгостью, но справедливо; он оправдывает свою жестокость глубокомысленным суждением государственного человека; он обольщает невинность сильными, увлекательными софизмами, не смешною смесью набожности и волокитства. Анджело лицемер — потому что его главные действия противоречат тайным страстям!» Обычно это рассуждение Пушкина приводится как пример оценки мастерского раскрытия характера в его противоречиях. Это, конечно, так. Но важно, что Пушкин говорит здесь не о лицемере вообще, а об определенном типе, то есть об определенном типе «государственного человека». В самом деле, «Мера за меру» глубоко раскрывает целую философию истории, морально-этическую и психологическую картину поведения тирана, облеченного абсолютист-

ской, неограниченной властью. Эта внутренняя идейная доминанта пьесы Шекспира не лежит на поверхности. Она до сих пор достаточно не раскрыта, так как внешняя сюжетная схема часто затемняла для критика всю ее остроту.

Вкратце основа интриги такова.

Изабела, сестра Клавдио, приговоренного к казни за прелюбодеяние, просит верховное лицо — Анджело о помиловании брата. Анджело согласен, если она отдаст ему свою невинность, то есть правитель цинично ставит условием помилования как раз то, за что сам он приговорил юношу к смертной казни! Вместо себя Изабела посылает на тайное свидание бывшую невесту Анджело. Анджело вполне уверен, что получил желаемое, обладал Изабелой, но тем не менее иезуитски велит привести приговор в исполнение. Хотя по независимым от Анджело причинам Клавдио не был казнен, но в самом решении лицемера выражена его безграничная жестокость.

В пьесе Шекспира, по сравнению с поэмой Пушкина, много других мотивов, значительно больше действующих лиц. Шекспировская пьеса носит характер комедийный. Английские критики именуют ее «мрачной комедией». Но Пушкин выделил в шекспировском произведении для своей поэмы только линию, непосредственно связанную с характером Анджело. В результате в пушкинской поэме центральной проблемой стала сущность тирании, неограниченной власти деспота, отношения власти и народа, догмы карающего закона и логики человеческого чувства. Глубина раскрытия образа Анджело не только в психологических корнях поведения лицемера. Действие «Анджело» обусловлено неограниченной деспотической властью, когда верховное лицо может безнаказанно творить произвол, притом еще оправдываемый личиной закона. Вот в чем суть «государственного человека», который, по словам Пушкина, так умело «оправдывает свою жестокость»! Критики не уловили эту глубокую идею Шекспира, Пушкин же понял ее и, оригинально, по-своему толкуя, воплотил в поэме «Анджело».

Надо ли говорить, насколько острой и актуальной для России времен Николая I была эта проблема! Многие суждения шекспировской драмы поразительно совпадают с суждениями Пушкина о тирании, о деспотической власти, о законности, которые поэт высказывал в своих произведениях и письмах. Эти совпадения могут быть объяснены только логикой истории. Хотя деспотизм проявлялся в раз-

ных странах и в разных формах по-своему, но все же эта форма правления имеет единую природу и внутреннюю логику. В философских и политических идеях разгадка того огромного значения, которое Пушкин придавал «Анджело», выделяя эту поэму среди других своих произведений («...ничего лучшего я не написал...»).

Могут возразить, достойна ли постановка такой серьезной проблемы на столь «легкомысленной» сюжетной схеме, какой она представляется некоторым критикам в «Анджело»? Но по сути дела такого рода коллизия предоставляет гениальному художнику возможность вскрыть пружины деспотизма не менее глубоко, чем на материале непосредственно политической истории. В самом деле, Клавдио, приговоренный к смертной казни, не был участником заговора, он стоял вообще вне политики. Речь идет лишь о молодом человеке, вступившем в любовную связь с девушкой до формального брака, но желавшем жениться на ней. Клавдио был привлечен к суду по доносу (не случайная черта: ведь доносы тоже неотъемлемый элемент тиранического образа правления). Анджело привел в действие механизм деспотической «законности», и Клавдио осужден на смертную казнь.

В связи с этим стоит вспомнить мысли Пушкина о применимости понятия закона в личной жизни человека. Среди бумаг его сохранилась короткая выписка из «Истории Государства Российского» Карамзина: «Где обязанность, там и закон». Дальше у Карамзина было сказано: «...никто и никогда не сомневался в обязанности монархов блюсти счастье народов». Не ограниченная ничем воля монарха — наместника бога на земле — высшая суть, — такова точка зрения Карамзина. Признание неограниченной власти монархов тиранией Карамзин считал «легкомысленным суждением». Пушкин думал иначе и по поводу слов Карамзина об обязанности и законе писал: «Г-н Карамзин неправ. Закон ограждается страхом наказания. Законы нравственности, коих исполнение оставляется на произвол каждого, а нарушение не почитается гражданским преступлением, не суть законы гражданские». А в другом месте Пушкин заметил: «Есть дела человеческие, которые закон оставляет на произвол совести». В осторожной форме Пушкин утверждает, что в жизни человека есть сферы, где он ответствен перед другими людьми, перед совестью, но не подлежит расправе монархической власти. А случай с Клавдио (в нем не было и состава преступления) принадлежал именно к

тем, при которых Пушкин исключал вмешательство «закона». Все это объясняет, почему сюжет «Анджелло» открывал возможности для широких обобщений и политических аналогий.

Эта направленность пушкинского замысла подтверждается исключительным интересом поэта к проблемам деспотической власти, законности, тирании и милосердия. Они отражены в различных его произведениях и в особенности в оде «Вольность», затем в «Стансах», «Друзьям», вплоть до стихотворения «Я памятник себе воздвиг...» с как бы итоговым признанием:

...в мой жестокий век восславил я свободу
И *милость* к падшим призывал.

В 1830-е годы эти проблемы возникли с новой остротой. Вспомним строки из стихотворения «Герой»: «Оставь герою сердце! Что же он будет без него? Тиран...» Именно в этот период, когда Пушкин ощущал себя пленником реакции, когда декабристы — «друзья, товарищи, братья» — томились на каторге, его все сильнее занимали темы о сущности государственного строя. «Правление в России — самовластие, ограниченное удавкой», — вспоминал он слова г-жи де Сталь. «Какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства» — эта возмущенная реплика возникла у Пушкина по поводу частного случая — полицейской слежки за его перепиской с женой, но в этой реплике — обличение самой сути режима.

Пушкин, желая выделить в своей поэме «Анджелло» основную, особенно актуальную линию сюжета, совершенно исключил развитую Шекспиром комедийную линию и намного сократил число действующих лиц. «Анджелло» не пересказ «Мера за меру», а оригинальная поэма по мотивам Шекспира. Совсем иной, чем у Шекспира, и характер пушкинского произведения. Жанр поэмы позволил Пушкину выступить в «Анджелло» с прямым выражением своей позиции, со своими оценками изображаемых событий и людей (что исключается самим жанром драмы, где авторская позиция проявляется лишь в развитии сюжета и скрыта в речах героев). Пушкин с такой настойчивостью подчеркивает в поэме свою авторскую позицию, что допускает в тексте даже непосредственное, прямое обращение к русскому читателю (напр. «Друзья, пора мне вам сказать...»). Это характерный пушкинский прием. Такие обращения встречаются и в «Руслане и Людмиле», и в «Евге-

нии Онегине». Здесь же, в произведении острого политического характера (пусть на материале нерусском и условно историческом), обращение к читателям-друзьям приобрело особое значение. Кстати говоря, стихотворение Пушкина «Нет, я не льстец, когда царю...» (где затрагивался вопрос о различии между жестоким деспотом и царем, способным на помилование,— речь шла о Николае I) было озаглавлено «Друзьям» и содержало также обращение к читателям в самом тексте.

Поэма «Анджело» невелика по размеру, всего 534 строки. «Мера за меру» — большое драматическое произведение. В первой части Пушкин очень лаконично, обобщая несколько сцен шекспировской пьесы, рисует политическую ситуацию — основу конфликта — и сопоставляет двух разных государственных правителей. Изображение первого из них явно рассчитано на симпатии читателя:

В одном из городов Италии счастливой
Когда-то властвовал предобрый, старый Дук,
Народа своего отец чадолюбивый,
Друг мира, истины, художеств и наук...

Возникшая ситуация истолкована далее иначе, чем у Шекспира. Дело не только в том, что у Шекспира действие происходит в Вене, а у Пушкина в одном из городов Италии,— важно, что Пушкин дает свою оценку состояния страны до перемены политической ситуации как «счастливой». В этой стране не произошло никаких событий, которые оправдывали бы после наступления диктаторства Анджело еженедельные казни (в поэме усилен мотив террора). Кроме того, Пушкин в самом начале подчеркнул постоянно волновавшую его тему властителя и народа.

В отличие от Шекспира у Пушкина образ Дука — властителя, близкого народу, дан путем сгущенного обобщения. Оно необходимо для резкого противопоставления Дуку Анджело, властителя другого типа. В первой же строфе поэмы завязывается конфликт. Дук добротой своей «слишком» «предавался», законы ослабил; он хотел восстановить порядок. Для этого ему пришлось призвать на время другого властителя — Анджело:

...муж опытный, не новый
В искусстве властвовать, обычаем суровый,
Бледнеющий в трудах, ученье и посте,
За нравы строгие прославленный везде,
Стеснивший весь себя оградой законной,
С нахмуренным лицом и с волей непреклонной...

Этому наместнику Дук и передал неограниченные права: «...в ужас ополчил и милостью облек...» Дальше у Пушкина целая строфа, которой нет соответствия у Шекспира, строфа весьма многозначительная. В ней повествуется о том, что произошло в этом городе счастливой Италии после смены правления:

Лишь только Анджело вступил во управленье,
И все тотчас другим порядком потекло,
Пружины ржавые опять пришли в движенье,
Законы поднялись, хватая в когти зло,
На полных площадях, безмолвных от боязни,
По пятницам пошли разыгрываться казни,
И ухо стал себе почесывать народ
И говорить: «Эхе! да этот уж не тот».

Приведу еще пример, чтобы показать, как Пушкин изменял, осторожно, но весьма существенно, политическую ситуацию по сравнению с тем, как она изображена в пьесе. У Шекспира закон о наказании за прелюбодеяние, примененный Анджело, в стране не действовал лет пятнадцать. У Пушкина этот мотив дается несравненно острее:

Такого приговору
В том городе никто не помнил, не слышал.
Угрюмый Анджело в громаде уложенья
Открыл его...

Как известно, такого рода «открытие» законов было характерно и для русского самодержавия. Когда надо было учинить кровавую расправу над декабристами, стали ворошить старинные судебники и уложения в поисках законов, которые бы дали возможность применить изощренные способы казни за самую попытку «возмущения» (ведь сначала наиболее видных вождей восстания приговорили к четвертованию и отсечению головы...). Когда же нужного закона не оказывалось, выдавали вновь придуманный закон за якобы уже существовавший...

Но вернемся к тексту поэмы. Анджело, получив власть, с необычайной быстротой изменил всю атмосферу в стране:

...Анджело на всех навел невольню дрожь,
Роптали вообще, смеялась молодежь
И в шутках строгого вельможи не щадила,
Меж тем как ветрено над бездною скользила...

Начались явления, характерные для всякого деспотического строя — доносы, предательства, запугивание наказаниями за попытки протеста:

Нас неудачами предатели страшат
И благо верное достать не допускают...

Как все это характерно для империи Николая I после разгрома восстания декабристов!

Очень интересна линия Изабелы — чудесного женского образа. Следуя Шекспиру, Пушкин показывает, как поначалу неопытная, наивная девушка, не понимавшая даже, чего требует от нее восплавывший страстью Анджело, способна лишь к мольбе, становится героиней, мужественно обличающей тирана. Она обращается к Анджело не только с просьбами о помиловании Клавдио, — в ее речах звучит и мотив милосердия, столь характерный и для легальной политической поэзии самого Пушкина:

...ни царская корона,
Ни меч наместника, ни бархат судии,
Ни полководца жезл — все почести сии —
Земных властителей ничто не украшает,
Как милосердие. Оно их возвышает...

И этот мотив приобретал для Пушкина особый смысл. Ведь в стихах, с которыми поэт обращался прямо или косвенно к Николаю I, он намеками убеждал в необходимости смягчения участи осужденных декабристов. Об этом же он твердил и в письмах друзьям, зная, что содержание этих писем не остается тайной. Но для тиранической власти всегда есть ссылка на закон: «Не я, закон казнит», — этот лицемерный ответ Анджело Изабеле однотипен для деспотических правителей. Но в условиях абсолютизма единственный путь к смягчению участи осужденных — царская милость.

О том, что в эпоху Пушкина мотивы казни вызывали немедленные ассоциации с казнью декабристов, свидетельствует изъятие цензурой из текста поэмы следующих строк из обращения Изабелы к Анджело:

...казнить его не можно...
Ужели господу пошлем неосторожно
Мы жертву наскоро. Мы даже и дыпят
Не бьем до времени. Так скоро не казнят.
Спаси, спаси его...¹³

Как Пушкин ни старался во втором издании поэмы восстановить (в составе сборника «Поэмы и повести», 1835 г.) приведенные строки (как и некоторые другие искажения), разрешения на это добиться он так и не смог. Кстати говоря, в цензурной истории «Анджело» не все ясно, так как до сих пор нам неизвестна рукопись поэмы, которая была

представлена властям для получения визы на печатание. Поэтому мы не можем с точностью сказать о всех искажениях и вычеркнутых местах в самом тексте поэмы. Сопоставление «Анджело» и «Мера за меру» позволяет предположить, что могли быть запрещены и другие места, обличающие деспотизм, его лживость и жестокость. Но в некоторых случаях и сам Пушкин мог не включать слишком прозрачные намеки в текст. Так, например, во второй строфе второй части поэмы Пушкина есть строка многоточий, которые, быть может, являются указанием на пропуск следующего места из Шекспира (цитирую в прозаическом переводе: «О власть!.. О внешность! Как часто ты своей оболочкой внушаешь страх глупцам и действуешь на умных своим ложным подобием. Кровь — ты есть кровь! Давайте напишем на роге дьявола, что он ангел. Но от этого он не станет ангелом»).

Все это подтверждает, насколько злободневно было для Пушкина содержание «Анджело». Но было бы совершенно неправильно искать в поэме прямые аллегории и иносказания. Известно, что Пушкин решительно возражал против примитивных приемов в искусстве, когда конкретных героев переодевали в одежды прошлых времен. Поэтому совершенно произвольными были, например, попытки некоторых литературоведов увидеть в Анджело отражение образа Аракчеева или в Дуке — Александра I. Суть замысла — в стремлении раскрыть историко-философскую и этическую актуальность проблематики, с исключительной остротой звучавшей и в период николаевского царствования. Именно такого рода актуальность имел в виду Пушкин, когда, работая над «Борисом Годуновым», называл изображение события далекого прошлого животрепещущим и признавался, что смотрел на образ Бориса с политической точки зрения. Именно потому открывалась возможность ассоциаций и аналогий между политической ситуацией в «Анджело» и русской действительностью 30-х годов. Несомненно, для усиления возможных ассоциаций и аналогий при восприятии «Анджело» читателями Пушкин убрал в заголовке поэмы при ее печатании ссылку на источник — «Мера за меру» (хотя, добываясь второго издания поэмы, Пушкин, чтобы усыпить бдительность цензуры, назвал свое произведение «Переводом из Шекспира»).

Для понимания замысла поэмы важны также некоторые обстоятельства личной биографии поэта. Тяжелейшие политические условия, в которых находился Пушкин в период

работы над «Анджело», совмещались с назреванием конфликта, который в конце концов привел поэта к роковой дуэли. В травле Пушкина самодержавием и реакционными кругами, закончившейся его гибелью, значительное место занимала история отношения придворного и светского общества к Наталье Николаевне, вокруг которой искусственно раздувались всякого рода клеветнические слухи. Характерно, что в письмах жене из Болдино (где он находился во время работы над «Анджело») Пушкин неоднократно касался именно этой темы. В особенности выразительно предупреждение в письме Пушкина 11 октября, где есть знаменательная фраза: «Не кокетничай с царем, ни с женихом княжны Любы»¹⁴. В связи с этим стоит обратить внимание на строфу поэмы «Анджело», где Пушкин касается темы подобного рода. Симптоматично, что именно эта строфа начинается обращением к читателям-друзьям (как я уже упоминал, в пьесе Шекспира такого рода обращений, разумеется, нет и не могло быть); о жене Анджело (напомним, что у Шекспира речь идет не о жене, а об отвергнутой невесте) здесь сказано:

...Летунья легкокрыла,
Младой его жены молва не пощадила,
Без доказательства, насмешливо коря...

Надо полагать, что эти строки ассоциировались у Пушкина с проходившей в его письмах к жене темой о возможности ее дискредитации в свете. Но важно другое. Когда Пушкин писал поэму об Анджело — лицемерном блюстителе строгих нравов, а на самом деле цинике, потребовавшем от сестры осужденного пожертвовать своей невинностью, у него не могло не возникнуть психологических ассоциаций с поведением Николая I, который (как было широко известно) носил маску благочестия и хранителя семейной этики, а на самом деле считал вполне естественным для себя пользоваться правом первой ночи... Но эти ассоциации относятся уже к сложной области психологии творческого процесса.

Главное же, к чему мы приходим в результате нашего анализа поэмы, — признание ее безусловной актуальности и политической остроты. Как мы видим, это произведение не выражало отхода от интересов современности, в чем упрекал Пушкина Белинский. Поэма «Анджело» должна занять свое место и в характеристиках творческого пути Пушкина, и в его биографии, и в изучении его политических взглядов.

Невнимание к «Анджело», которое проявлялось до сих пор, недопустимо.

Необходимо рассеять также проникшее в среду читателей мнение некоторых критиков о том, что «Анджело» — художественно неполноценное произведение. Ведь именно в нем находятся исполненные громадной поэтической силы стихи о жизни и смерти:

...умереть,
Идти неведомо куда, во гробе тлеть
В холодной тесноте... Увы! Земля прекрасна,
И жизнь мила. А тут: войти в немую мглу,
Стремглав низвергнуться в кипящую смолу,
Или во льду застыть, иль с ветром
носиться в пустоте, пространством
быстротечным
бесконечным...
И все, что грезится отчаянной мечте...
Нет, нет: земная жизнь в болезни, в нищете,
В печалях, в старости, в неволе... будет раем
В сравненьи с тем, чего за гробом ожидаем.

Этот жизнеутверждающий гимн усиливает приговор тирании и человеконенавистничеству, который вынесен всем глубоким, историко-философским содержанием поэмы «Анджело».





К истории гибели Пушкина

1

Каждый год 10 февраля, в 14 часов 45 минут, на Мойке, 12, в старом петербургском доме, люди застывают в скорбном молчании. В последней квартире Пушкина идет гражданская панихида. Прошло уже 150 лет с тех пор, как здесь прозвучали последние слова поэта: «Жизнь кончена... Тяжело дышать, давит...» Но и сегодня его гибель мы переживаем как потерю близкого друга. И так будет всегда. Когда-нибудь изменится все вокруг на набережной Мойки, а к этому дому 10 февраля вновь и вновь будут собираться те, для кого начало сознательной жизни связано с наслаждением пушкинской поэзией.

Понятен интерес, который проявляют миллионы читателей к истории гибели Пушкина, понятно волнение, с которым они узнают о каждой детали, связанной с одним из самых трагических событий русской культуры. Они хотят знать, что именно П. А. Вяземский назвал «адскими кознями», что он имел в виду, когда говорил, что только будущее раскроет, быть может, всю правду. Этими вопросами задаются читатели разной степени осведомленности. Тема настолько острая, настолько волнующая, что ей посвящаются не только исследования, но и пьесы, кинофильмы, романы, стихи.

В последние годы к этой теме с новой энергией обратились не только литературоведы, историки, но также врачи, судебные эксперты, специалисты по оружию: одни занялись поисками неизвестных ранее источников и архивных документов, другие пересматривают факты известные и привлекают не замеченные ранее, третьи стремятся восстановить подробности самой дуэли, ранения Пушкина и его лечения. Как мы видим, аспекты этой темы различные. Свообразно и само состояние проблемы: с одной стороны,

накоплено огромное количество материалов, а с другой — в ее освещении чувствуется давление старых подходов, с трудом преодолеваемых.

До сих пор многие с увлечением читают книгу П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина». Изданная впервые в 1916 году, она дважды переиздавалась. В свое время ее появление было большим событием. Щеголев сумел обнаружить много новых, исключительно важных материалов. В его повествовании чувствуется талант не только историка, но и психолога. В первых двух изданиях книги акцент был сделан на освещении ближайших поводов к дуэли и на драме ревности. В третьем издании (1928) усилен анализ социальной подоплеки, обстоятельств, которые привели к гибели Пушкина. Но в течение 55 лет, которые прошли после третьего издания книги, по-новому стали рассматриваться многие проблемы биографии Пушкина и общественно-политической жизни России его эпохи. Стало очевидно, что для исследования истории гибели Пушкина нужно обратиться не только к ближайшим, непосредственным поводам дуэли с Дантесом, но и к отдаленным причинам трагедии. Много нового вносят в ее понимание найденные за последние годы материалы и документы.

Очень ценным приобретением оказалась так называемая «Тагильская находка» — письма Карамзиных 1836—1837 годов, где много внимания уделено преддуэльной истории и смерти Пушкина. Об этих письмах подробно говорить нет необходимости, они хорошо известны читателям из статьи Ираклия Андронникова в «Новом мире» и его же рассказов¹. Затем была опубликована Пушкинским домом вся переписка Карамзиных с обстоятельными комментариями². Эта переписка ужасает той картиной непонимания Пушкина даже такими его близкими друзьями, как Карамзины. В ряде писем Пушкин предстает чуть ли не виновником драмы из-за своей ревности и неуживчивого характера. Трагическую историю Пушкина Карамзины сначала рассматривали как обычный светский конфликт между мужем, женой и влюбленным молодым человеком. Читая эти письма, мы с небывалой ранее ясностью ощущаем, какими мучительными были переживания Пушкина, когда он видел, что в семье близких ему людей — Карамзиных — Дантес был принят как желанный гость. И лишь после смерти Пушкина Карамзины поняли, какую непоправимую ошибку совершили они в своих суждениях о поэте и виновнике его смерти.

Эти письма содержат интересные сведения о проявлениях народного горя, о бурном возмущении Дантесом, в то время как в светском обществе было много обвинителей поэта.

Некоторые новые подробности содержатся в дневнике знакомой Пушкина, графини Д. Фикельмон, младшей дочери Елизаветы Хитрово, внучки прославленного полководца Кутузова. Страницы этого дневника, где говорится о Пушкине, опубликованы за рубежом и у нас³. По мере того как она узнавала Пушкина ближе, в ее дневнике появляются восторженные отзывы о нем. О Геккерне есть такая запись: «Господин де Геккертн — голландский посланник, лицо хитрое, фальшивое, мало симпатичное; здесь считают его шпионом г-на Нессельрода — такое предположение лучше всего определяет эту личность и ее характер». Фикельмон пишет также о презрении Пушкина к так называемому «большому свету», о том, что он не дорожил его мнением.

Есть в дневнике и записи о Наталье Николаевне. Говоря о ее необыкновенной красоте, о том, что жизнь открывается перед ней блестящая и радостная, Фикельмон замечает: «...эта женщина не будет счастлива, я в этом уверена! ...ее голова склоняется и весь ее облик как будто говорит: «Я страдаю». Но какую трудную предстоит ей нести судьбу — быть женою поэта, и такого поэта, как Пушкин!» 29 января 1837 года Фикельмон описала события, предшествовавшие дуэли, и с негодованием — поведение Дантеса: он «забывал всякую деликатность благоразумного человека, нарушая все светские приличия, обнаруживал на глазах всего общества признаки восхищения, совершенно недопустимые по отношению к замужней женщине, — она бледнела и трепетала под его взглядами, было очевидно, что она совершенно потеряла возможность обуздать этого человека и он решил довести ее до крайности». После женитьбы на свояченице Пушкина «Дантес, хотя и женатый, возобновил свои прежние приемы, прежние преследования и, наконец, на одном балу так скомпрометировал г-жу Пушкину своими взглядами и намеками, что все ужаснулись, а решение Пушкина (о дуэли. — Б. М.) было с тех пор принято окончательно. Чаша переполнилась, не было никакого средства остановить несчастье».

Интересны документы, которые опубликовал в книге «Пушкин», напечатанной в Париже в 1946 году, Анри Труайя. Труайя приводит, в частности, письма Дантеса к Геккерну⁴, где Дантес говорит о «бешеной» ревности Пушки-

на как препятствии для своих ухаживаний за Натальей Николаевной; следовательно, Дантес знал, к чему могут привести его настойчивые ухаживания за женой Пушкина. Но вот что особенно важно. В письме 14 февраля 1836 года Дантес рассказывает о своем объяснении с Натальей Николаевной. Описав свое положение, она (по его словам) сказала ему: «... не просите у меня никогда большего, чем мое сердце, потому что все остальное мне не принадлежит и я не могу быть счастливой иначе, чем уважая свой долг, пожалейте меня...» Дантес замечает по этому поводу в письме к Геккерну: «Очень трудно было поддерживать разговор, ибо речь шла об отказе нарушить свой долг ради обожающего ее человека».

Таковы некоторые материалы, которые не были известны Щеголеву. Но за последние десятилетия появились и другие, о них скажу ниже.

Новейшие исследования истории гибели Пушкина позволили с полной уверенностью определить ее как историю в основе политическую. Отсюда следует: больше внимания нужно уделять не только обстоятельствам, которые предшествовали дуэли, но и отдаленным. Конечно, ближайший повод дуэли — наглое поведение Дантеса и анонимные пасквили. Но Дантес не вел бы себя так, если бы не был осведомлен, что Пушкина ненавидят в империи, ненавидят царь, Бенкендорф, светские круги. Об этом свидетельствуют неизвестные ранее записи императрицы Александры Федоровны, использованные Э. Герштейн в статье «Вокруг гибели Пушкина»⁵ и М. Яшиным в «Хронике преддуэльных дней»⁶. С другой стороны, мы знаем теперь, что в Зимнем дворце были осведомлены о нарастании конфликта и о том, что предстоит поединок.

Когда императрица Александра Федоровна узнала, что Дантес хочет жениться на сестре Натальи Николаевны — Екатерине, она писала одной из своих корреспонденток: «Мне бы так хотелось иметь подробности о невероятной женитьбе Дантеса. Что это? Великодушие или жертва? Мне кажется, бесполезно, слишком поздно». Эти слова весьма знаменательны: «слишком поздно»! Значит, в Зимнем дворце знали, что грозит Пушкину.

Один из весьма заметных пробелов в пушкиноведении — недостаточное изучение той острой атмосферы борьбы, борьбы идей, взглядов, мнений, которая сопровождала трагическое событие.

В ее освещении нужно выйти за рамки биографии Пуш-

кина. Гибель великого русского национального поэта — один из крупнейших эпизодов этой эпохи. Однако при таком подходе к исследованиям сталкиваемся с большими трудностями. По справедливому замечанию академика Е. В. Тарле, период 1830-х годов представляет собою белое пятно в изучении истории России, он почти не освещен. Авторы, которые пишут об этом периоде, большей частью пользуются одними и теми же фактами, они переходят из одной книги в другую. Считается, что это было время «глухое», относительно «спокойное» для Российской империи, без особых потрясений и крупных политических событий. А между тем к числу таких событий относится гибель Пушкина, резонанс, который она вызвала в России и в других странах. Общественно-политическая борьба, возникшая в связи с этим событием, происходила в России в основном негласно — в письмах, в разговорах и в форме, до сих пор в должной мере не оцененной, — во множестве стихов, этой своеобразной рифмованной публицистике, которая большей частью распространялась в рукописном виде, отражала позиции разных общественных групп и выдвигала различные, часто совершенно противоположные версии о причинах дуэли и гибели поэта. Изучение этого материала позволяет заключить, что наиболее проницательные современники Пушкина не только разгадали многое из того, о чем в дальнейшем догадывались также исследователи, но оставили ценнейшие, далеко еще не учтенные ответы на темные, спорные вопросы.

2

Прежде всего нас должна заинтересовать реакция тех людей, отблеск судьбы которых лежит на всей судьбе и на творчестве Пушкина, — декабристов, находившихся тогда на каторге и в ссылке. И. Пущин позднее вспоминал: «Весть о гибели Пушкина электрической искрой сообщилась тюрьме — во всех кружках только речи было, что о смерти Пушкина, об общей нашей потере»⁷. Узнав о гибели друга, Пущин писал об этом событии своему лицейскому товарищу И. Малиновскому так, как говорят об этом сподвижники на поле боя: «Если бы при мне должна была случиться несчастная пушкинская история и если б я был на месте Данзаса (секунданта Пушкина. — Б. М.), то роковая пуля встретила бы мою грудь...» Ярким свидетельством восприятия гибели Пушкина декабристами является и письмо Александра Бестужева. С болью и от-

чаянием пишет он о трагической кончине поэта, с которым был когда-то в переписке, стихи которого печатал в «Полярной Звезде». Он рассказывает о том, как «не сомкнул глаз в течение ночи», «плакал тогда горячими слезами, как теперь плачу о друге и товарище по оружию, плакал о самом себе». Бестужев заказал панихиду на могиле Александра Грибоедова, за автора «Горе от ума» и за Пушкина. «...Когда священник запел: «За убиенных бояр Александра и Александра», рыдания сдавили мне грудь... Какой жребий, однако, выпал на долю всех поэтов наших дней! Вот уже трое погибло, и все трое какой смертью...»⁸ Трое — это повешенный Рылеев, растерзанный в Персии обезумевшей толпой Грибоедов и убитый Пушкин. Позже об этих же поэтах писал в стихотворении «Три тени» и находившийся в ссылке другой декабрист — Вильгельм Кюхельбекер. По мысли Бестужева и Кюхельбекера, русские поэты погибают от общей причины — «роковой судьбы» не миновать в деспотическом государстве.

Сохранилось много откликов на смерть Пушкина писателей, художников, артистов, мелких чиновников, простых, безвестных людей, представителей старого поколения и молодежи. Эти отклики убеждают, что за время после разгрома восстания декабристов не было общественно-политического события, которое вызвало бы такое возбуждение, как смерть великого поэта. По словам современника, провинциального гимназиста (С. Ляховича), в письме к другу, весть о «горьком несчастье» «подобно электрической искре потрясла сердце всех россиян и раздалась, как громовое эхо, по всему протяжению Империи, от Балтийского до Черного и Ледовитого морей»⁹. И это не было преувеличением: скорбная весть проникала в самые далекие окраины не только через лаконичные и сухие казенные известия, но и через рассказы очевидцев, которые волей судеб оказались в Петербурге в те дни. Один из них, мелкий чиновник, приехавший в Петербург с острова Диксон «искать фортуны» и не нашедший ее, писал перед возвращением к себе на родину: «Скажите ученым людям, что поэт Александр Пушкин... на дуэли оставил сей мир... О, Петербург! Сколько в тебе страшного! Вон поскорее из его! Лошадь, повозку, и пошел!»¹⁰ Таким безвестным людям Россия обязана тем, что вопреки цензурно-полицейским запретам весть о дуэли и смерти Пушкина распространилась по стране.

Недостаточно собран материал зарубежной печати, переписка зарубежных государственных деятелей и других

лиц, где так или иначе затрагивается это событие. А. Тургенев в августе 1837 года писал из-за границы: «Удивительно, как слава Пушкина универсализировалась: тут нет ни одного образованного человека... который не спросил бы меня о нем, не пожалел о нашей потере»¹¹.

В чем причина того, что это событие так сильно взбудоражило Россию и отозвалось повсюду? В том, что погиб не только гениальный художник слова, но и виднейший выразитель передового общественного мнения, тот, кто был властителем дум, кто отражал настроения той части общества, которая была подавлена террористическим режимом, но продолжала мечтать, надеяться, ненавидя весь уклад николаевской монархии.

Вот почему многие современники рассматривали гибель поэта как событие политическое, и в этом видели причину массового отклика народа, причину такого ранее небывалого явления, как молчаливая демонстрация многотысячной толпы у дома, где жил поэт. Один из свидетелей этого события, А. М. Языков, писал 2 марта 1837 года: «Это совершенно небывалое явление! Теперь ясно, что и у нас литературный талант есть власть, и этот вывод всего важнее в этом происшествии»¹². П. Н. Дивов, человек реакционно настроенный, заключал: «...Было бы отрадно видеть это всеобщее сочувствие, если бы это была только дань, отдаваемая его таланту, но, к сожалению, оно является скорее выражением сочувствия тем либеральным идеям, какие он проповедовал»¹³. О политической основе царившего общественного возбуждения свидетельствуют и показания иностранных наблюдателей. Таково, например, донесение-депеша Вюртембергского посланника Гогенлоэ — Кирхберга с приложением весьма интересной характеристики Пушкина: «Пушкин замечательнейший поэт, молва о котором разнеслась особенно благодаря тому глубокому трагизму, который заключался в его смерти. Пушкин, представитель слишком передовых для строя своей родины взглядов, был на разные лады судим своими соотечественниками...» Именно этим объясняется, что оппозиционная часть русского общества «превозносит его до небес и с восторгом и благоговением относится к его памяти». При перечислении причин гибели Пушкина здесь отмечена его обличительная деятельность, его «остроумные и язвительные намеки», сатирические выпады против самых высокопоставленных фамилий в России. «Вот истинные преступления Пушкина». Отмечается и политическая позиция поэта в последние

годы. «Назначением в камер-юнкеры Пушкин почитал себя оскорбленным, находя эту честь много ниже своего достоинства. С этой минуты взгляды его снова приняли прежнее направление, и поэт снова перешел к принципам оппозиции»¹⁴. (Сам Пушкин сказал за несколько лет до смерти своему приятелю А. Н. Вульфу, что «возвращается к оппозиции».)

Исследователи истории гибели Пушкина, как правило, отмечают, что для современников она была окутана тайной и впоследствии приходилось выяснять заново всю картину. Изучая сохранившиеся материалы, приходишь, однако, к выводу, что современникам этой эпохи основные причины гибели Пушкина были ясны. Надо лишь при анализе сохранившихся свидетельств учитывать, что в борьбу вокруг трактовки этих причин были вовлечены разные политические силы, высказывались разные, иногда грубо тенденциозные взгляды. Среди показаний людей этого времени (хотя, конечно, многое оставалось неясным) есть и такие, которые представляют особую ценность.

Для классификации мнений о дуэли и смерти поэта у нас имеются точные и верные указания. Наблюдательный и умный А. В. Никитенко записал в дневнике 30 января 1837 года: «Какой шум, какая неурядица во мнениях о Пушкине! Это уже не одна черная заплата на ветхом рубище певца, но тысячи заплат красных, белых, черных, всех цветов и оттенков». Заметьте: красные, белые, черные, цвета весьма символические!¹⁵ Другой современник, А. Я. Булгаков, директор московской почты, рассказывал в письме к дочери: «Трагическая кончина Пушкина все время занимает всех. В Петербурге — две партии, вполне определенные и крайне противоположные: одна — в пользу убитого противника, другая — в пользу того, кто пережил»¹⁶. Две партии! «Партия» Пушкина, с одной стороны, партия убийцы и всех, кто ему сочувствовал, — с другой. Борьба мнений, самая острая, отражалась тогда, как я уже упоминал, в рукописной стихотворной публицистике. Так, В. Макаров восклицал:

Друзья, я видел труп холодный
Певца возвышенных речей,
И слышал я в толпе народной
Язык коварства и страстей
Один бессмысленно взирает
На труп великого певца,
Другой, безумец, осуждает
И говорит: она, она!¹⁷
Всему вина.

Я думал: о, язык коварный,
Ты никого не пощадишь,
О, человек неблагодарный,
Не знаешь ты, пред кем стоишь.

Стихотворение заканчивается призывом прекратить оскорбляющие убитого толки. Действительно, оскорблением памяти погибшего, а также желанием выгородить истинных виновников была продиктована своеобразная, проводившаяся в разных формах реакционной «партией» и обывателями пропаганда таких версий, согласно которым вина целиком перекладывалась на жену убитого, на неудачный брак, на вспыльчивость и «африканский характер» поэта, будто бы неуживчивого, неблагодарного даже по отношению к царю, который его «любил» и под конец «облагодетельствовал».

В какой же версии был заинтересован царь, правительственные и светские круги? Об этом можно судить по официальному сообщению. В опубликованном тогда «высочайше подтвержденном» решении военного суда над Дантесом утверждалось: поводом к дуэли было то, что камерюнкер его императорского величества Пушкин был раздражен «поступками Геккерена», которые вели к нарушению «семейственного спокойствия». Таким образом, пытались объяснить все, что произошло, как рядовой конфликт между ревнивым мужем и нарушителем «спокойствия». Эта официозная, правительственная версия распространялась в устной и письменной форме, в стихах, которые посвящены обличению Натальи Николаевны и восхвалению государя — «ангела», который «простил поэта», «обласкал семью» и т. д. Например, в одном из ходивших по рукам стихотворении «На Н. Н. Пушкину» читаем:

Не смывать ей горькими слезами
С себя пятна,
Не отмолиться ей мольбами:
Жалка она.

Эта и близкие ей версии горячо опровергались представителями (говоря словами упомянутого Булгакова) другой «партии». В борьбе мнений вырисовывается иная, основанная не на предположениях, а на фактах история гибели поэта. Разумеется, в печати эта борьба не отражалась. Она происходила, кроме уже названных выше, и в формах весьма своеобразных: это так называемые «толки», «слухи», «разговоры»: «Это происшествие возбудило тьму толков, наибольшей частью самых глупых», — с неудовольствием

писал царь в одном из писем (подразумевая под «глупыми», конечно, все версии, противоречившие официальной) ¹⁸. «Слухи» — термин полиции, III отделения; оно имело специальных агентов по «собираанию» слухов, анализу их и вылавливанию «распространителей». В атмосфере шпионажа рассуждать об истинных причинах смерти Пушкина было небезопасно. Например, один из корреспондентов литератора и историка М. П. Погодина Н. Любимов предупредил его: «Пожалуйста, ради бога, воздержитесь от всякого излишнего проявления и горестей и радостей. Совершайте тризну во глубине души вашей...» ¹⁹ И все же общество бурлило, столкновения двух «партий» выливались в острые споры. Для полноты картины еще предстоит изучить многие материалы. Факты могут быть обнаружены там, где их и не ждешь. Вот один из примеров: в книжке «Действительное путешествие в Воронеж» Ивана Краевича, напечатанной в 1838 году, содержится любопытный рассказ автора, как он заехал в провинциальную глушь и как начался спор о Пушкине и о том, как кто-то обелял врага Пушкина — доносчика Булгарина. (Кстати говоря, гибель Пушкина как торжество болгаринской клики, травившей Пушкина, отмечена в ряде других откликов.)

Те, кто считал себя вправе встать на защиту Пушкина от имени народной России, не ограничивались, однако, домашними разговорами. Хотя в России тогда не было тайного общества, шеф жандармов Бенкендорф не ошибся, когда почувствовал, что анонимное письмо, полученное графом А. Ф. Орловым — одним из сподвижников царя, — выражает мнение многих. Письмо требовало грозного суда и напоминало о том, что он грядет, — мотив, который звучал и в стихотворении Лермонтова «Смерть поэта». Автор письма говорил «именем отечества»! Он утверждал, что «лишение всех званий, ссылка на вечные времена в гарнизоны солдатом Дантеса» (то есть меры, которые на самом деле не угрожали убийце) «не может удовлетворить русских за умышленное, обдуманное убийство Пушкина». «Вы видели вчерашнее стечение публики, в ней не было любопытных русских, следовательно, можете судить об участии и сожалении к убитому», — эти слова верно оценивали массовое хождение к месту, где лежал усопший поэт. «Мы горько поплатимся за оскорбление народное, и вскоре...» — продолжал автор, а внешне благонамеренные фразы, которые мелькали в этом письме, были верно поняты царем как осторожное прикрытие (на случай, если бы имя автора

раскрылось) прямой политической угрозы. Менее резкое, также анонимное письмо получил В. А. Жуковский, но и здесь содержалось требование возмездия. Автор призывал Жуковского: «...по близости своей к царскому дому употребите все возможное старание к удалению отсюда людей, соделавшихся через таковой поступок ненавистными каждому соотечественнику Вашему, осмелившихся оскорбить в лице покойного — дух народный»²⁰.

В происходившей тогда борьбе «партия» Пушкина (несмотря на пестроту политической позиции) преследовала две цели: протест против сведения причин трагического происшествия к вине Натальи Николаевны и привлечение внимания к действительным причинам — долголетней травле Пушкина, враждебному отношению к нему правящей клики, то есть той обстановке, когда Дантес убил поэта, по существу ничем особенно не поплатившись.

Опровержение первой, «семейственной» причины как основной проходит во многих письмах современников. Упомянувшийся выше корреспондент Погодина Любимов утверждал, что жена Пушкина «ни в чем не виновата, разве в том, что позволила себе любить свет и обманчивые его удовольствия (в чем почти все женщины виновны), а более ни в чем. Прощаясь с нею, Пушкин умолял ее, чтобы она не упрекала себя в его смерти, ибо она ни в чем не виновата». (Как известно, эти слова Пушкина засвидетельствовали и другие, в том числе присутствовавшие возле умиравшего.) Далее в письме с возмущением говорится: «Тем не менее составители скандальных хроник, даже теперь, не стыдятся выдумывать всякую всячину, но кто знает дело, тот знает, что это вздор и сушая клевета, и долг всякого честного человека уничтожать подобные слухи, которыми только возмущают тень Пушкина»... Точка зрения автора письма ясна: «...Пушкин, можно сказать, пал жертвой петербургского общества и людской злобы»²¹. Против «семейственной» версии возражали иногда и те, кто считал, что Наталья Николаевна все же была не безупречна. Например, П. А. Бестужев в письме к А. А. Бестужеву говорил: «...Жена его более ветрена, чем преступна; но если в обществе, где мы живем, ветренность замужней женщины может сделаться преступлением, то она виновата и тем более, что она знала характер своего мужа, это был пороховой погреб»²².

Чтобы читатель мог представить себе переживания Натальи Николаевны и судить о ней со слов одной из близ-

ких приятельниц Пушкина В. Ф. Вяземской, приведу рассказ из ее малоизвестного (хотя и опубликованного) письма, предположительно к Е. Н. Орловой (письмо описывает последние минуты Пушкина и его смерть).

«...Я услышала, как вошла его жена. Я бросилась к ней и остановила ее в дверях: она посмотрела на меня с ужасом. «Что? Кончено?» спросила она меня. Я не отвечала. Она повторила те же слова и хотела пройти. Тогда я сказала ей: «Нет еще». Она испустила ужасный стон и упала навзничь. Виельгорский и тетка ее вынесли. Я оставалась еще около Пушкина, невольно я дожидалась проявления признака жизни. Слезы, которые проливались всеми вокруг, вывели меня из моего печального уныния. Я опять подошла к Натали, которую нашла как бы в безумии.— «Пушкин умер?» Я молчала.— «Скажите, скажите правду!» — Руки мои, которыми я держала ее руки, отпустили ее, и то, что я не могла произнести ни одного слова, повергло ее в состояние какого-то помешательства. «Умер ли Пушкин? Все ли кончено?» — Я поникла головой в знак согласия. С ней сделались самые страшные конвульсии, она закрыла глаза, призывая своего мужа, говорила с ним громко; говорила, что он жив; потом кричала: «Бедный Пушкин! Бедный Пушкин! Это жестоко, это ужасно! Нет, нет! Это не может быть правдой! Я пойду посмотреть на него!» Тогда ничто не могло ее удержать. Она побежала к нему, бросилась на колени, то склонялась лбом к оледеневшему лбу своего мужа, то к его груди, называла его самыми нежными именами, просила у него прощения, трясла его, чтобы получить от него ответ. Мы опасались за ее рассудок. Ее увели насильно. Она просила к себе Данзаса. Когда он вошел, она со своего дивана упала на колени перед Данзасом; целовала ему руки, просила у него прощения, благодарила его и Даля за постоянные заботы их об ее муже. «Простите!» вот что единственно кричала эта несчастная молодая женщина, которая, в сущности, могла винить себя только в легкомыслии, легкомыслии, без сомнения, весьма преступном, потому что оно было одной из причин смерти ее мужа»²³. Только одной из причин...

Дополнением к этому письму могут служить ставшие известными недавно страницы дневника графини Фикельмон: «...какая женщина посмела бы осудить госпожу Пушкину? — пишет она, — ни одна, потому что все мы находим удовольствие в том, чтобы нами восхищались и нас любили, — все мы слишком часто бываем неосторожны и игра-

ем с сердцем в эту ужасную и безрасчетную игру. Мы видели, как начиналась среди нас эта роковая история, подобно стольким кокетствам, мы видели, как она росла, увеличивалась, становилась мрачнее, сделалась такой горестной,— она должна была бы стать для общества большим и сильным уроком тех последствий, к которым может привести необдуманность друзей, но кто бы воспользовался этим уроком? Никогда, напротив, петербургский свет не был так кокетлив, так легкомыслен, так неосторожен в гостиных, как в эту зиму...»²⁴

3

Борьба «двух партий» вокруг версий о гибели Пушкина нашла довольно полное выражение, как уже упоминалось выше, во многих стихах, большей частью не предназначавшихся для печати²⁵. Из-за цензурно-полицейского запрета этой темы такие стихи как бы заменяли гласное общественное обсуждение трагического события. Авторами их были, за немногими исключениями, люди, не претендовавшие на звание поэта,— то, что они писали, было лишь средством выражения их мнений и настроений.

Стихи, проникнутые гневом и гражданской скорбью, противостояли иным, где прославлялись благодеяния, оказанные Пушкину императором. Так, Н. Демидов уверял:

У русского царя внимательное око
Поэта берегло с любовью отца...

В таком же духе рисует отношения Николая I к Пушкину А. Норов:

Последний дал певцу привет
Без скорби перейти в тот свет
И умереть христианином...

Даже Федор Глинка в скорбном «Воспоминании о питейной жизни Пушкина», хотя и говорил о «роке», подстерегавшем поэта, не удержался от такого пассажа:

Ужель ни искренность привета,
Ни светлый взор царя-отца
Не воскресят для нас поэта?

С этим дифирамбом царю стихи были даже дважды напечатаны в 1837 году. (Впрочем, Глинка, осужденный в свое время в ссылку по делу декабристов, уже в 1826 г. напечатал приветственное стихотворение по поводу восшествия Николая I на престол.)

Двойственными по содержанию были такие стихи, как,

например, «На смерть Пушкина» А. Родзянко. Здесь и обличение Дантеса как «злодея», и призыв «музы мести», и надежда, что мстителем будет «венчанный россов представитель», то есть сам император.

В потоке стихов так или иначе нашли отражение все версии и толки о причинах гибели Пушкина и о его кончине. Но только знаменитое стихотворение Лермонтова «На смерть поэта» осталось, благодаря смелости обличения и художественной силе, непревзойденным памятником времени. Этот шедевр поэтического творчества должен рассматриваться и как замечательный исторический источник при изучении обстоятельств гибели Пушкина, образец редкостного проникновения в суть событий. Лермонтов, безусловно, хорошо представлял себе и всю картину общественного возбуждения, вызванного смертью Пушкина, и самые причины трагедии²⁶.

Сам Лермонтов в ходе следствия рассказал:

«Я был еще болен, когда разнеслась по городу весть о несчастном поединке Пушкина. Некоторые из моих знакомых привезли ее ко мне, обезображенную разными прибавлениями. Одни — приверженцы нашего лучшего поэта — рассказывали с живейшей печалью, какими мелкими мучениями, насмешками он долго был преследуем и, наконец, принужден сделать шаг, противный законам земным и небесным, защищая честь своей жены в глазах старого света. Другие, особенно дамы, оправдывали противника Пушкина, называя его благороднейшим человеком, говорили, что Пушкин не имел права требовать любви от жены своей, потому что он был ревнив, дурен собою — они говорили также, что Пушкин негодный человек и проч. Не имея, может быть, возможности защищать нравственную сторону его характера, — никто не отвечал на эти последние обвинения.

Невольное, но сильное негодование вспыхнуло во мне против этих людей, которые нападали на человека, уже сраженного рукою божией, не сделавшего им никакого зла и некогда ими восхваляемого»²⁷.

Лермонтов своим стихотворением стремился опровергнуть всякого рода клеветнические толки, связанные с гибелью Пушкина, и дать оценку ее причин. В «Смерти поэта» эти причины раскрыты с такой полнотой, которая могла быть достигнута лишь многими десятилетиями спустя. Главная причина — столкновение Пушкина с враждебной средой («восстал он против мнений света»), главные ви-

новники — властители и те, кто им служили, — «свободы, гения и славы палачи», кто «жадною толпой» стояли у трона, а не только Дантес. Обличаются здесь и клеветники и лицемеры с их «жалким лепетом оправдания»: это они способствовали приближению трагического конца, раздувая «чуть затаившийся пожар». Наконец, не забыта здесь и драма ревности (аналогия с Ленским — «добыча ревности глухой»). Таким образом, здесь сказано почти о всех обстоятельствах, подготовивших гибель Пушкина. И, что особенно важно, в обстановке, когда создавалась легенда о просветленной христианским всепрощением кончине поэта. Лермонтов говорил, что он умер, не примиренным, а с «жаждой мести», непреклонный, «поникнув гордой головой». Этот мотив повторяется и во второй части стихотворения: умер «с напрасной жаждой мщенья»...

Перевод поэтического произведения на язык прозы, когда это приходится делать при исследовании реальных исторических ситуаций, неизбежно обедняет глубину и многозначность его содержания. Но для понимания действительных причин гибели Пушкина роль стихов Лермонтова исключительно важна. Немного найдется произведений, в которых аналитическое и поэтическое начала соединялись бы с таким совершенством: каждый из мотивов лермонтовского стихотворения можно иллюстрировать теперь историческими фактами, документами, мемуарами современников.

Ни один из поэтов этой эпохи не мог, конечно, соревноваться с Лермонтовым, но идеи этого стихотворения отразились и в других стихах, которые также нельзя было тогда печатать. Среди них — «На смерть поэта» Н. Огарева, близкое по мотивам Лермонтову. Кроме того, Огарев прямо называл царя виновником трагедии:

...тот, чья дерзкая рука,
Полмир цепями обвивая,
И несобвенна и крепка,
Как бы железом облитая,
Свободой дышащую грудь
Не устыдилась своевольно
В мундир лакейский затянуть,
Он зло и низостно и больно
Поэта душу уязвил,
Когда коварными устами
Ему он милость подарил,
И замешал между рабами
Поэта с вольными мечтами.

Другой поэт — А. Креницин — восклицал, клеймя Дан-

теса («пришелец», «барона пажик развращенный») и рисунка героический облик Пушкина:

О, сколько сладостных надежд
И дум заветных, и видений,
На радость сильных и невежд,
Ты в гроб унес, могучий гений.
Во мраке ссылки был он тверд,
На ложе счастья — благороден,
С временщиком и смел, и горд.

А. Гвоздев в форме ответа Лермонтову на его стихи продолжил обличие «бездушного света», став «вран у ног царя». Э. Губер повторил мотивы о «суде веков» над убийцей «с клеймом проклятья на челе». Стихи И. Данилевского, комбинируя мотивы и образы пушкинских стихов, проклинали тех, кто «безвинным омрачит укором» тень поэта, воздавали хвалу певцу свободы, окруженному всенародной любовью.

Напечатать стихотворения, содержавшие хотя бы слабые намеки на истинных виновников гибели поэта, было невозможно, даже в случаях компромисса с цензурой, когда вынужденно смягчалась острота скорби и негодования. А. Полежаев рассчитывал открыть свой сборник стихов поэмой «Венок на смерть Пушкину». Исполинскую фигуру поэта он видит в кругу исторических деятелей России, начиная от Петра. О подвиге Пушкина он мог сказать только языком условным:

Он понял тайну вдохновений,
Восстал, как новая стихия,
Могуч, и славен, и велик,
И изумленная Россия
Узнала гордый свой язык.

Пушкин — «народной гордости кумир», он умер непокоренным:

...Взгляните, как свободно
Это гордое чело.

Об убийстве здесь сказано намеками — упоминается «грозная стрела», роковая судьба — «седой палач», «незнакомец», сразивший поэта «беспощадной косой». Но Полежаеву не помогла даже уступка цензуре — строки о «великодушном» царе. Стихотворение «На смерть Пушкина» и сборник в целом были запрещены. Книга появилась в искаженном виде только после его смерти.

Другое стихотворение на смерть Пушкина, написанное Тютчевым, поэтом, репутация которого с точки зрения вла-

стей не могла подвергаться сомнению,— «29 января 1837 года» — увидело свет только в 1875 году. Дантес был назван здесь цареубийцей, и уже потому нельзя было считать за напечатать. Лишь 38 лет спустя стали известными строки тютчевских стихов:

Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет.

Я коснулся лишь небольшой части стихотворений, связанных с историей гибели Пушкина, с различными оценками событий, с различными настроениями, но очевидно, что при исследовании этой истории нельзя игнорировать материал такого рода, как это было до сих пор. Одной из причин такого отношения к этим стихам (если говорить об основном потоке) — весьма невысокое их литературное качество, но ведь писали их большей частью не поэты, а те, кто лишь воспользовался стихотворной формой для выражения своих чувств и оценки событий.

4

Материалы, которыми располагает пушкиноведение, подтверждают, что версия о «раскаении» Пушкина перед смертью не соответствует действительности.

В статье Жуковской, написанной в форме письма к отцу поэта и напечатанной в 1837 году под заглавием «Последние минуты Пушкина», смерть его была представлена как кончина христианина и человека, беспредельно преданного монарху. В статье курсивом была выделена фраза, которую Пушкин будто бы сказал умирая: *«скажи государю, что мне жаль умереть; был бы весь его»*²⁸. Эту же фразу Вяземский в письме к А. Я. Булгакову 5 февраля 1837 года, рассчитанном на широкое распространение, повторил в несколько другой редакции: *«скажите государю, что жалею о потере жизни, потому что не могу изъявить ему мою благодарность, что я был бы весь его!»* (курсив Вяземского)²⁹.

Эту фразу Пушкина Жуковский и Вяземский стали распространять с поразительной поспешностью, письменно и устно. Но еще П. Е. Щеголев на основе подробнейшего, скрупулезного анализа различных редакций этой статьи Жуковского и других данных подверг критике их полную достоверность. Щеголев приводит также слова Плетнева, писавшего Я. Гроту о статье Жуковского «Последние минуты Пушкина»: «Я был свидетелем этих последних минут поэта. Несколько дней они были в порядке и ясности у меня на сердце. Когда я прочитал Жуковского, я поражен был

сбивчивостью и неточностью его рассказа; тогда-то я подумал в первый раз: так вот что значит наша история...»³⁰

Пойдем же дальше в попытках восстановить эту историю в ее истинности.

Желание добиться как можно более широкого распространения версии о раскаянии Пушкина, его преданности царю, по-видимому, и заставило Вяземского излагать эту версию людям, заведомо скомпрометированным в общественном мнении, но зато известным в качестве опытных распространителей слухов. Так, одно из писем на эту тему Вяземский написал А. Я. Булгакову, человеку бесчестному. Ранее, в 1834 году, будучи московским почтдиректором, Булгаков передал Бенкендорфу перлюстрированное письмо Пушкина к жене, где тот непочтительно отзывался о русских царях, в частности о Николае I, о том, что тот «упек» его в «камерпажи». Письмо стало известно Николаю и грозило Пушкину новыми карами. Узнав обо всем этом, Пушкин разорвал с Булгаковым. Вяземский все это знал и все же избрал его распространителем версии о раскаянии Пушкина. В письме к Булгакову 5 февраля 1837 года Вяземский развивает ту же версию о преданности Пушкина царю. В заключение Вяземский просил Булгакова показывать письмо всем, кому заблагорассудится. Пытаясь уверить в том, что в письме все истина, Вяземский дважды (что само по себе делало эти уверения сомнительными) повторял: «ручаюсь совестию, что нет тут лишнего слова и никакого преувеличения»; «повторяю, все в нем сказанное есть сущая, но разве не полная истина»³¹.

Булгаков понял замысел Вяземского — распространить его письмо как можно шире и ответил ему: «Ты желал гласности большой письму твоему, и желание твое сбывается с возрастающей всякий день прогрессиею. Мне нет отбоя от требований. Я не говорю уже о Сонцове, Ив. Ив. Дмитриеве, княгине Четвертинской, Денисе Давыдове, Корсакове, Нащокине, коим даны копии, но теперь успевать списывать нет уже возможности, ибо люди, даже мне почти незнакомые, пишут учтивые записки, прося позволения приехать прочесть письмо твое. Что удивительно? Это то, что не один образованный круг оказывает участие сие, но купцы, мелкий народ. Например, мои почтамтские. Когда им было читать Пушкина и им ли его хорошо понимать, работая с утра до вечера всякий день и не имея иное в голове, кроме цифрь и имена городов? Ну, нет! Р. пришел ко мне доложить, что многие жены наших чиновников про-

сят позволения списать письмо для себя. «Позволите ли?» — «Быть так!» Письмо твое действительно имеет великую цену, я и сам за большую огласку, оно приобретает вес еще больший, будучи писано свидетелем, очевидцем, другом покойника и человеком, веры достойным, которым был тут не один подвержен справедливим опровержениям. Я скажу тебе откровенно, что никому в мысль не приходит изъяслять малейшее сомнение в показаниях твоих»³².

Таким образом, письмо Вяземского превратилось в нечто подобное рукописной листовке, оно размножалось кем угодно без всякого разбора... Но сам-то Булгаков, лицемерно высказывая доверие показаниям Вяземского, в то же время прекрасно понимал их цель и им, конечно, не доверял. Об этом он откровенно писал своей дочери: «Заметны те огромные усилия, которые он (Вяземский.— Б. М.) делает, чтобы реабилитировать своего друга в моем сознании. Это делает ему честь, но я всегда отличу Пушкина от Вяземского»³³. Не доверял и отец Пушкина, Сергей Львович, письмам Вяземского и Жуковского о кончине своего сына: «Письма, написанные его друзьями некоторым особам сюда, признаюсь вам, меня не поддержали,— утверждал он.— Все это лишь газетные статьи, и сразу заметно, что писали они в намерении быть прочитанными публикой; к тому же они никогда не упускают закончить следующими словами: дайте это прочитать, кому найдете уместным. Письмо на 8 страницах, которое я последним получил от Жуковского, написано в том же духе»³⁴. Очень выразительно определил один из приятелей Пушкина Н. Кривцов версию, созданную Вяземским и Жуковским: он назвал ее «булгаковским блюдом» и откровенно высказал свое мнение Вяземскому»³⁵.

Да, невероятно тяжело было в то время Жуковскому, Вяземскому, А. Тургеневу: отчаяние, вызванное трагической потерей любимого друга; тревожные думы о семье умершего; возмущение действиями жандармерии. Сложнейшая психологическая коллизия! Нет сомнения, что особенно тяжело было Александру Тургеневу. Ему выпала горестная судьба и одновременно исполнение долга — сопровождать гроб Пушкина. Но вместе с тем это было сделано по личному поручению Николая I. В дневнике Тургенева 16 февраля есть запись, в которой он с явным удовлетворением зафиксировал милостивое отношение к нему царя, отметив даже такую деталь: царь взял его руку, «пожал ее крепко. Все слышали, все видели...»³⁶ Что чувствовал

друг Пушкина при этих знаках царственного внимания?..

Между тем версия, которую распространяли Жуковский и Вяземский, оказала отрицательное влияние на общественное мнение. Это видно в отрицательной оценке Пушкина декабристом-каторжанином И. И. Горбачевским³⁷. Другой декабрист по этому же поводу спрашивал брата Павла: «Отчего Пушкин худо умер?» Это мне пишут люди с понятием»³⁸.

Еще до сих пор порой всплывает версия, созданная людьми, которые действительно были его друзьями, которые были потрясены его смертью, но тем не менее сочинили эту легенду. Для того чтобы полнее прояснить ее возникновение, надо взглянуть на нее не только психологически. Друзья хотели, чтобы Николай I после смерти Пушкина материально обеспечил его семью. Ведь положение Пушкина в последнее время было настолько тяжелым, что он был вынужден заложить вещи. Забота друзей о семье — фактор важный. Но объяснять сочинение легенды о «раскаянии» Пушкина только этим нельзя. Все-таки их собственные взгляды, особенно в 30-е годы, весьма отличались от взглядов и позиции Пушкина³⁹. Действовала и обстановка, когда царь и Бенкендорф недвусмысленно намекали, что вызванному смертью поэта общественному возмущению способствовали Жуковский и Вяземский.

Среди мотивов, двигавших их стремлением «реабилитировать» поэта в глазах правительства, был, вероятно, и еще один — желание обеспечить возможность посмертного издания его сочинений (оно вышло, хотя и с грубейшими искажениями, которые были частично вызваны тем, что фактический редактор этого издания — Жуковский приспособлял тексты к цензурным условиям и соответственно «исправлял» их).

5

Теперь — о некоторых подробностях дуэли и вопросах, которые часто задают читатели в связи с высказанными в печати гипотезами.

В литературе не раз возникали недоумения, почему Дантес оказался раненным так легко. В самом деле, здесь есть неясности. Дантес объяснял свое спасение тем, что пуля, ранив руку, ударилась о пуговицу и отскочила. Он же уверял, что она продавала два ребра и причинила контузию. В рапорте штаб-лекаря Стефановича констатируется, что наружных следов контузии незаметно. По

этому поводу до сих пор бытуют разные версии и догадки.

Еще в 1938 году в журнале «Сибирские огни» была напечатана статья инженера М. Комара под названием «Почему пуля Пушкина не убила Дантеса». Здесь доказывалось, что пуля, выпущенная на расстоянии десяти — одиннадцати шагов и пробившая мягкую часть руки Дантеса, должна была нанести большие повреждения. Комар утверждает, что Дантес мог спастись «только благодаря тому, что он вышел на дуэль в панцире, надетом под мундир в виде корсета»⁴⁰. Эта гипотеза популяризируется. О ней писал Иван Рахилло в «Рассказе об одной загадке», напечатанном в 1959 году в журнале «Москва», а затем включенном (с небольшими сокращениями и изменениями) в его же книгу «Московские встречи».

И. Рахилло рассказывает историю догадки о наличии у Дантеса защитного приспособления, которая возникла у В. В. Вересаева под влиянием встречи в Доме творчества писателей в Малеевке с неким «архангельским гостем» (фамилия не указана). Этот неизвестный гражданин «...случайно наткнулся на запись не то в домово́й книге, не то в книге для приезжающих — на имя (в статье опять-таки не указанное.— Б. М.) некоего человека, приехавшего от Геккерна и поселившегося на улице, где жили оружейники». По словам Рахилло, на Вересаева произвело большое впечатление также письмо, полученное им с Урала от какого-то инженера (фамилия снова не названа, это был инженер Комар, упомянутый мною выше). В этом письме Вересаеву инженер рассказал, что он «...сходил в музей и достал там пистолет пушкинских времен», и приводит описание своего эксперимента: «Устроив манекен и надев на него старый френч с металлической пуговицей, я зарядил пистолет круглой пулей и с десяти шагов, как это было на дуэли у Пушкина, выстрелил в пуговицу... пуля не только не отлетела от пуговицы, а вместе с этой самой пуговицей насквозь прошла через манекен»⁴¹.

Через двадцать пять лет после появления статьи М. Комара и через четыре года после обнародования рассказа Рахилло, в журнале «Нева» (1963, № 2) появилась заметка В. Сафронова «Поединок или убийство», в которой с некоторыми изменениями и дополнениями утверждается версия, изложенная Комаром и Рахилло. По мнению Сафронова, Дантес обезопасил себя, надев металлический предмет или специальное защитное приспособление.

Таковы источники этой версии, которая за последнее

время получила значительное распространение в писаниях некоторых литераторов, как установленный факт (хотя в «Неве» заметка Сафронова была напечатана в отделе «Трибуна читателя», то есть в дискуссионном порядке), в популярных книгах, в лекциях, даже в школах, причем «защитное приспособление» превратилось уже не только в «панцирь», «пуленепроницаемый жилет», кирасу, но даже в кольчугу». Вместе с тем эта версия, как бездоказательная, вызвала и возражения пушкинистов и криминалистов⁴². Ее отвергли на Всесоюзных пушкинских конференциях (а на XVI Всесоюзной пушкинской конференции в резолюции была даже отмечена необходимость критики всякого рода бездоказательных гипотез и их распространения, приобретающего сенсационный характер). При этом указывалось, что такого рода гипотезы, не основанные на достоверных материалах, даже вредны, так как подменяют глубокую политическую трактовку гибели Пушкина, принятую советской наукой, детективно-сенсационной, отвлекая внимание от коренных вопросов пушкинской биографии.

Но раз гипотеза получила распространение, возникла необходимость ее проверки. Для этого компетентности пушкинистов недостаточно. Ведь здесь прежде всего решает сторона техническая, связанная с исследованием технических обстоятельств дуэли, требующих экспертизы специалистов по истории оружия. Эти специалисты и могут сказать действительно авторитетное слово. Если версия с панцирем не подтвердится, вина Дантеса, убийцы Пушкина, конечно, несколько не уменьшится. Речь отнюдь не идет при этом и о пересмотре морального облика Дантеса: в любом случае подлость его была и остается вне сомнений. Речь идет лишь о неперенном в любой науке требовании доказательств. Поэтому, прежде чем пропагандировать так широко версию в печати, следовало бы ее научно обосновать.

По словам Рахилло, незнакомец в Малеевском доме творчества писателей утверждал, что видел в Архангельске в какой-то казенной книге запись о прибытии туда посланца Геккерна. Отсюда заключение: Геккерн послал в Архангельск человека для того, чтобы купить панцирь. Мною был послан запрос в Архангельский архив с просьбой поискать какие-либо сведения о пребывании этого человека, но получил официальный ответ, что данных по этому поводу не найдено.

Далее: после того как появилась заметка В. Сафронова в «Неве» и газетное сообщение на ту же тему, 8 октября 1963 года, в Ленинградском ордена Ленина Институте усовершенствования врачей имени С. М. Кирова состоялась научная конференция кафедры судебной медицины. 24 октября 1963 года итоги этой конференции были подведены в следующем решении:

«Анализируя сообщение судебно-медицинского эксперта Ленинградского областного Бюро судебно-медицинской экспертизы В. А. Сафронова и выступления в прениях, следует сделать выводы:

После опубликования в журнале «Нева» (№ 2, 1963) статьи В. А. Сафронова «Поединок или убийство» в газетах и журналах появились сообщения о том, что ленинградскими судебными медиками установлены новые обстоятельства дуэли между А. С. Пушкиным и Дантесом, а именно, что на Дантесе во время дуэли были какие-то защитные приспособления⁴³. Желая ознакомиться с экспертными данными работы В. А. Сафронова, кафедра попросила его выступить с соответствующим сообщением на конференции, куда, как обычно, были приглашены представители всех судебно-экспертных учреждений Ленинграда, а также ученые-пушкиноведы.

Заседание кафедры констатирует, что доклад В. А. Сафронова не носил характера научного сообщения специалиста — судебного медика. В большей части это было изложение известных биографических данных великого поэта, его трагической гибели, гнусной роли в его смерти проходимца Дантеса. К сожалению, В. А. Сафронов почти ничего не сообщил о своих экспертных исследованиях.

Основное положение, которое высказал В. А. Сафронов, заключалось в том, что пуля, выпущенная из пистолета А. С. Пушкина, не могла рикошетировать от пуговицы мундира Дантеса ввиду несоответствия расположения пуговицы месту попадания пули; равным образом пуля не могла рикошетировать и от пуговицы на подтяжках брюк. В связи с этим делался вывод, что на пути пули оказалась какая-то преграда, какое-то защитное приспособление, от которого и рикошетировала пуля.

Категорически утверждать о невозможности рикошетирования пули от металлической пуговицы не представляется возможным.

Для того чтобы решить достоверно вопрос о случившемся, эксперту необходимы были исследования одежды, по-

добной той, в которой находился Дантес, а также исследование оружия, подобного тому, из которого был произведен выстрел такими же боеприпасами.

Таким образом, резюмируя все сказанное, следует полагать, что каких-либо новых экспертных данных, новых фактов, которые позволили бы перейти к научным доказательствам (криминалистических, судебно-медицинских и т. д.) В. А. Сафронов в своем сообщении не привел».

Таковы выводы конференции специалистов.

На эту же тему поступил ряд писем в Пушкинскую комиссию Академии наук СССР. Так, доктор юридических наук, профессор Я. Давидович, кандидат исторических наук доцент Л. Раков, сотрудник Эрмитажа, специалист по изучению быта пушкинской эпохи и писатель В. Глинка писали: «...мы не хотим ни в чем смягчать несмываемой вины темного авантюриста Дантеса. Этого безнравственного проходимца навсегда приговорил стих Лермонтова:

Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы...

В России Дантес был бездельником на службе, пустым хлыщом в петербургском «свете», холодным бездумным орудием заговора царя и придворной клики против величайшего поэта, как позже, у себя на родине, он стал бесстыдным торговцем политическими убеждениями и циничным участником финансовых спекуляций правящей плутократии империи Наполеона III».

Но, рассматривая гипотезу Сафронова, авторы письма пишут: «Выводы автора основываются не на использовании каких-либо новых фактов и не на установлении новых данных в результате глубокого анализа известного материала, а лишь на априорных предположениях, которые не подтверждаются никакими доказательствами. Подбор подобных «умозаключений» и подводит к выводу, который должен был бы рассматриваться также в виде предположения, но преподносится как факт. В настоящее время в нашей печати уже появился ряд заметок, в которых гипотеза Сафронова предлагается читателям в качестве сенсационного открытия. Быть может, эти легковесные конструкции и способны впечатлить неопытного читателя, к тому же исполненного понятой, неизбывной ненависти к убийце великого поэта, но серьезной критики они не выдерживают». В частности, рассматривая вопрос об одежде, в которую был одет Дантес, авторы опровергают утверждения

В. Сафронова: «...элементарное знакомство с историей русского военного костюма убеждает в том, что никогда никаких офицерских однобортных сюртуков с пуговицами, расположенными в один ряд по средней линии груди, не существовало. Более чем странным является и утверждение автора, что кроме кавалергардов никто сюртука не имел, в то время как с начала XIX века и вплоть до войны 1914 года их носили почти все офицеры русской гвардии и армии.

Указанная неточность уничтожает всю концепцию Сафронова, согласно которой «линия пуговиц далеко отстояла от места удара пули в грудь Дантеса». В действительности же пуговицы на двубортном сюртуке находились именно на боковых линиях груди, почему не случайно современники дуэли соглашались с существовавшей версией, объяснявшей попаданием пули в пуговицу легкость ранения и контузию Дантеса».

Поступило в пушкинскую комиссию и письмо А. Ваксберга, автора книги «Преступник будет найден» (1963), в которой по поводу статей М. Комара и В. Сафронова было замечено, что «загадка пушкинской гибели окончательно перестала существовать» (с. 98). Но вскоре после выхода своей книги А. Ваксберг, ознакомившись с возражениями ленинградских специалистов, упомянутых выше, написал в Пушкинскую комиссию АН СССР письмо о том, что эта его фраза «является весьма неудачной» и что необходимо обсуждение вопроса «компетентной комиссией». Наконец, следует упомянуть и о подробном письме в эту же комиссию Н. Раевского. Его соображения заслуживают внимания: он и пушкинист (ему принадлежит книга «Когда заговярат портреты»), и биолог (работает в одном из медицинских учреждений), и получил в свое время образование артиллериста. Раевский, суммируя данные авторов упомянутой гипотезы, в основном согласен с приведенными возражениями специалистов (которые ранее не были ему известны) и приводит некоторые интересные дополнительные соображения. В частности, по поводу возможности применения «кольчуги» он пишет: «Обычно она имела видходящей до колен рубашки из железных проволочных колец. Хорошо защищая тело от ударов холодным оружием, кольчуга оказалась бессильной против огнестрельного и, с усовершенствованием его, постепенно вышла из употребления. Кольчуги вовсе перестали изготавливаться с конца XVII века («Большая советская энциклопедия», т. 22, с. 102). На-

дев подобную музейную вещь, Дантес рисковал бы, вместе с пулей Пушкина, подвергнуться ранению осколками разбитых колец. В 1837 году кольчуга — не меньший анахронизм, чем алебарда или пищаль». По поводу же «пуленепроницаемых жилетов» Раевский замечает, что в России такие жилеты не были известны даже в первую мировую войну: «Различные изобретатели пытались, правда, навязать их военному ведомству (то же самое имело место и в японскую войну), но испытания неизменно заканчивались провалом. Достаточно легкого и в то же время очень прочного материала для их изготовления, видимо, еще не существовало»...

По поводу же утверждения В. Сафронова о том, что пистолеты противников были разного калибра и убойной силы, Раевский считает необходимым произвести экспертизу специалистов по истории оружия.

В заметке Сафронова и в письмах затрагиваются и такие детали, как форма и размер пуговицы, от которой рикошетировала пуля. Все это может показаться читателю неспециалисту ненужными мелочами, но поскольку речь идет о судебно-медицинской экспертизе, такие детали приобретают иногда решающее значение. Поэтому и авторы некоторых писем рассматривают их со всей серьезностью (и не в пользу выдвинутой гипотезы).

После моих выступлений на эту тему по радио и в печати я получил ряд писем, среди которых особенно интересным и убедительным представляется обширное письмо сотрудника отдела оружия Государственного исторического музея Н. Н. Николаева. Автор — специалист в этой области и основывает свои выводы на многих опытах проникновения и отражения круглых пуль от разного рода предметов при стрельбе черным порохом, то есть в условиях, важных именно при освещении вопроса о дуэли Пушкина и Дантеса.

Н. Н. Николаев отмечает, что Пушкин был отличным стрелком. Смертельно раненный, он, лежа, страшным усилием воли преодолевая мучительную боль, навел пистолет на фигуру врага и произвел «отличный выстрел»... «пуля лишь слегка отклонилась от средней линии фигуры Дантеса, причем как раз на уровне сердца. Какие-нибудь пять сантиметров левее и Дантеса бы не было». Спасение Дантеса Николаев объясняет следующим образом. В ожидании ответного выстрела Дантес, выгодно используя дуэльный кодекс, принял позу наименее опасную — стал боком к стре-

ляющему и прикрыл голову пистолетом⁴⁴. При этом рука была согнута в локте. Реконструируя эту ситуацию, Николаев заключает: можно считать, что пуля ударила в грудь Дантеса «под очень малым (порядка 10—15°) углом к касательной груди в точке удара» и что именно это оказалось самым существенным для судьбы Дантеса: получилась «почти касательная к правой стороне груди». Приводя соответствующие расчеты с учетом всех обстоятельств выстрела и препятствий, которые ослабили его эффект, и цитируя труды специалистов по оружию, Николаев пишет: «Пуля из пистолета Пушкина, пробивая руку Дантеса, имела все шансы отразиться в сторону от груди последнего, даже не встретив пресловутой пуговицы его мундира». Такова точка зрения специалиста.

Что же касается «кольчуги», то она «предназначалась главным образом для защиты от рубящего оружия и пробивалась в средние века даже специальным копьем с длинным наконечником типа стилета. Уместно ли тогда говорить о ее защитной надежности против огнестрельного оружия!» Продолжая свои рассуждения, Николаев говорит, что защитное приспособление Дантес мог использовать только при условии, если он был бы простаком и профаном в оружейном деле (не говоря уж о трудности надеть плотно пригнанный к фигуре мундир поверх тяжелой, неуклюжей, металлической кольчуги). А если допустить, что Дантес воспользовался бы защитным приспособлением, то и сам удар принес бы физические телесные повреждения, которые были бы обнаружены при медицинском освидетельствовании. Кроме того, «скандал получился бы грандиознейший, грозивший Дантесу гораздо более надежной смертью от руки возмущенных русских патриотов, мстителей за своего национального поэта».

Так обстоит дело с пресловутой гипотезой о «панцире». Можно заключить, что Дантес не использовал защитное приспособление в силу прежде всего нереальности этого предприятия по всей совокупности перечисленных причин. Этот вывод Н. Н. Николаева представляется убедительным. Будущее покажет, найдутся ли более доказательные аргументы как у противников, так и у сторонников версии о «панцире»...

Среди других вопросов, которые часто задают читатели, есть и такой: правильно ли лечили Пушкина?

Конечно, не пушкинистам решать этот вопрос, и я могу лишь возложить точки зрения специалистов-хирургов. Их

две. Одни врачи утверждают, что и в пределах возможности того времени Пушкина лечили неправильно. Встречаются мнения, что личный врач Николая I, лейб-медик Арендт, вольно или невольно действовал как царедворец. Версию о неправильном лечении Пушкина подерживал ряд деятелей медицины. Еще в конце XIX века появилась работа врача-патолога С. М. Лукьянова с анализом хода лечения. Лукьянов признал, что оно далеко не безупречно: кровотечение не было остановлено, отказались от перевязки кровоточащих сосудов, раненому объявляли о неминуемой смерти и т. д. Меры же, которые были приняты врачами, Лукьянов определил как «бесполезные для раненого»⁴⁵. В наше время близкие версии развивает ряд деятелей медицины. Л. П. Гроссман, обобщая такие мнения, писал: «Через столетие русская медицина осудила своих старинных представителей, собравшихся у смертного одра поэта»⁴⁶.

Но есть и противоположная точка зрения. Ее, в частности, отстаивал А. Гудимов в газете «Медицинский работник» (1961, 10 января) в статье «Рана Пушкина».

Оттуда следует, что и поведение врачей и лечение было безупречным. При этом автор ссылается на доклад, сделанный в 1937 году выдающимся русским хирургом Н. Н. Бурденко. О докладе этом (он не опубликован) известно лишь по отчету в газете «Известия» (1937, 5 февраля), где приведены слова Бурденко об Арендте: «Он начал лечить его по всем правилам тогдашней науки». В этом же отчете, однако, сказано: «Рана была сама по себе тяжелая, но не смертельная, дело было за хирургами». Указывая, что врачи «в большей части были под влиянием отсталой немецкой школы», Бурденко далее говорил: «Хирурги, собравшиеся у постели мучительно страдавшего Пушкина, нерешительно, зондами прощупывали рану, этим только увеличивая мучения поэта. На хирургическое вмешательство Арендт не мог решиться».

Может быть, отчет не точен и эти слова были сказаны в другой связи,— не знаю. А. Гудимов об этом отчете не упоминал совсем. Но говоря о докладе Бурденко, он писал: «Были изучены все документы, привлечен ряд специалистов, в том числе и таких, как профессор С. С. Юдин». Опять-таки Гудимов не упоминал о том, что заключение одного из самых выдающихся хирургов нашего времени С. С. Юдина было опубликовано в форме большой статьи в газете «Правда» (1937, 8 февраля). Юдин, насколько это позволяют документы и материалы, восстановил историю

болезни и лечения Пушкина, иногда по часам, и он считает, что «в те годы об операции не приходилось и думать», так как необходимая для этого антисептика появилась много позже. Но Юдин утверждает, что с точки зрения медицины того времени Арендтом как руководящим лечащим врачом были допущены грубые ошибки. Не будем перечислять всего, что пишет Юдин на эту тему (например, Юдин считает, что определенной ошибкой было применение причинившей Пушкину нечеловеческие страдания промывательной процедуры, вызвавшей «преждевременную перистальтику в момент, когда вся ставка была на покой, слипание кишок и локализацию воспаления»). Но вот что кажется резонным и не специалисту: «Врачи поступили безусловно неправильно, сказав самому Пушкину правду о смертельности ранения... Необходимая «святая ложь» настолько часто фигурирует в работе каждого врача, что ни для Шольца, ни тем более для Арендта и Спасского этот тактический прием не мог быть новинкой». Здесь вопрос не только врачебной этики: известно, какое влияние на больного оказывает приговор врачей, а его сообщили Пушкину сразу же. Нужно добавить, что версия о том, что Пушкин хотел смерти, неверна. Врачи с самого начала твердили, что он умрет, но когда Даль стал обнадеживать его, поэт с благодарностью откликнулся на эту моральную поддержку.

Вернемся, однако, к заключению Юдина. Он далее пишет: «Удивляет отсутствие сердечных назначений». И, наконец, он говорит о роли Арендта в инсценировке примирения Пушкина с царем.

Из анализа истории болезни Пушкина, сделанного Юдиным, можно заключить, что лечение Пушкина далеко не стояло «на уровне самого передового для 30-х годов прошлого столетия опыта», как об этом говорит Гудимов в газете «Медицинский работник»⁴⁷. Ясно также, что вопрос нельзя считать решенным и что читатели, которые и сегодня встречаются с абсолютно противоположными ответами на него, остаются в недоумении. Когда они обращаются к пушкинистам за разъяснениями, удовлетворительного ответа не получают. Разумеется, литературоведы не могут взять на себя решение специального вопроса. Но, с другой стороны, и всякое медицинское заключение, не учитывающее совокупности обстоятельств, сложившихся в последние дни Пушкина, оказывается большей частью односторонним.

Предвзятости в освещении истории гибели Пушкина не

должно быть. Это относится и к вопросу о его лечении. Если говорить, например, о роли Арендта, то ведь в принципе может быть не исключенным, к примеру, такой вывод: «Несмотря на то, что лейбмедик Арендт был лично приближенным к царю и казался замешанным в инсценировку примирения умирающего Пушкина с царем; несмотря на то, что Николай I был несомненно заинтересован в скорейшей смерти раненого Пушкина, лечение его в то время было правильным, а также отвечало требованиям врачебной этики...» Но возможно, что будет признано и другое, — серьезные отступления от этой этики, хотя бы и бессознательно допущенные под воздействием хитроумно-иезуитской тактики коварнейшего из российских самодержцев. Ведь заслуживает внимания факт, сам по себе странный. Кроме Арендта, авторитет которого был высок и благодаря заслуженной репутации и должности лейб-медика, у постели Пушкина побывали такие крупнейшие хирурги, как Х. Х. Саломон и И. В. Буяльский, — их мастерство, их опыт сложнейших операций вызывали восхищение; почему же о них ничего почти не упоминалось в свидетельствах друзей поэта, секундантов, врачей и Арендт (о котором, кстати говоря, Н. Н. Пирогов отзывался довольно критически) взял на себя всю полноту руководства лечением Пушкина, а остальные коллеги оказались отстраненными? Было ли это сделано под давлением царя, которого Арендт постоянно информировал о состоянии Пушкина и ездил из дворца на его квартиру, туда и обратно? Почему не было после смерти Пушкина полного, тщательного анатомического заключения о причинах смерти? (Это заметил даже генерал Бистром как упущение в следственном документе.) Вопросы могут быть умножены. Во всяком случае, в суде истории не место беспочвенным загадкам и субъективным побуждениям спорящих сторон. Решить может комплексная научная экспертиза, основанная на анализе фактов и с участием представителей различных специальностей, способных сказать веское слово.

Одной из новейших работ, посвященных ранению Пушкина, является особая глава на эту тему в книге Ш. И. Удермана «Избранные очерки отечественной хирургии» (изд-во «Медицина», М., 1970). Не берусь, разумеется, судить о чисто медицинской стороне рассуждений автора. Но если ретроспективный анализ хода болезни и лечения — дело специалистов-врачей, а не гуманитариев, то и врачи не могут при изучении этого вопроса не принимать во внимание

всех обстоятельств общественной среды, быта, которые глубочайшим образом влияли на течение болезни и общее состояние Пушкина. Из такого понимания задач исследования исходит, например, профессор Л. С. Журавский (заведующий кафедрой госпитальной хирургии Калининского медицинского института), в своем анализе ранения и лечения Пушкина, представленном в 1972 году в Пушкинский дом Академии наук СССР. С этой точки зрения категорическое утверждение Ш. И. Удермана, что врачи поступали правильно, сообщая Пушкину, что его смерть неминуема и что это не было отступлением от принципов гуманности, удивляет (не говоря уже о том, что подобные сообщения вызывают, как это отмечает Л. С. Журавский, «отрицательные сосудистые и гормональные сдвиги»). Наконец, кто бы ни писал об истории гибели Пушкина, нужно придерживаться фактов и не утверждать, как это делает Ш. И. Удерман, что дуэль происходила на кремневых пистолетах (в то время как стрелялись на современных капсульных пистолетах Лепажа) или что раненый Пушкин будто бы стрелял в Дантеса сидя (в то время как выстрел был произведен Пушкиным полулежа).

6

Непрестанно возрастает за рубежом интерес к творчеству Пушкина как гениального писателя, который внес крупнейший вклад в развитие русской и мировой культуры. Но вместе с тем в буржуазной критике продолжают бытовать самые нелепые представления о его личности. Особое внимание привлекает в этой критике последний период биографии поэта. История гибели Пушкина нередко толкуется как результат роковой ситуации пресловутого «треугольника». Но, что особенно возмутительно, встречаются и попытки оправдать Дантеса. Своего рода сенсацию вызвала появившаяся во французском журнале «Historia» (1964, том 36, № 216) статья Клода Дантеса — потомка Жоржа Дантеса — под интригующим заголовком «Кто убил Пушкина?» На нее до сих пор встречаются ссылки в некоторых зарубежных изданиях.

Автор статьи хочет доказать, что его предок — Жорж Дантес является в истории гибели Пушкина не виновником, а... жертвой. Не впервые предпринимаются попытки обелить убийцу великого русского поэта, представить Дантеса человеком, который действовал не по своей воле, а, так сказать, в силу «хода вещей». В то время как все честные

люди заклеили Дантеса, в светском обществе находились и враги поэта, которые сочувствовали убийце, и люди, введенные в заблуждение блестящим кавалергардом, сочетавшим хитрость и лукавство с умением расположить к себе остроумием, светским обхождением и способностью обольщать женщин. Однако попытки оправдать Дантеса всегда вызывали лишь негодование всякого порядочного человека, знакомого с историческими фактами.

Об этой статье всерьез можно было бы не говорить, если бы не одно обстоятельство. Редакция журнала «Historia» в своем примечании заявляет, как это ни странно, что статья Дантеса якобы восстанавливает историю смерти Пушкина и предшествующие ей события на основе неизданных документов, хранящихся в семейном архиве Дантесов-Геккернов. Но на самом деле ни одного документа, который меняет установившееся в нашей науке мнение о Дантесе, в статье не приведено. Вся она построена на домыслах и попытках обрисовать сентиментально окрашенный образ Жоржа Дантеса как человека «чистой» любви и якобы совершенно безупречного.

Каков же ход рассуждения Клода Дантеса?

Он задает риторический вопрос: разве прибавится хоть атом славы к имени Пушкина, если его врагов рисовать в дурном свете и превращать искреннюю любовь Дантеса к Наталье Николаевне в гнусный заговор? Из статьи следует, что Дантес в истории гибели Пушкина был лишь страдающей стороной, что он протягивал Пушкину «братскую руку примирения», но тот ее отверг. Особенно отвратительна фальшиво-сентиментальная сцена, которую создает в своем воображении Клод Дантес, представляя переживания Жоржа Дантеса во время поединка. Оказывается, «несчастный» убийца Пушкина в эти минуты вспоминал свое детство, родной дом в Эльзасе, свой приезд в Россию, «изумительную дружбу» с Геккерном («дружбу», о постыдных мотивах которой говорили современники), женщин, которых он любил... Клод Дантес печалится: «Русские и французские биографы не пощадили человека, который убил Пушкина!» Действительно, в характеристиках облика Дантеса, как и признает Клод Дантес, слово «негодяй» не является самым мягким. Но, по словам автора статьи, «Жорж Дантес не был ничем подобным. Он не подлежит упрекам...» «Низость? — нисколько». Клод Дантес готов признать лиризм стихотворения Лермонтова «Смерть поэта», но никак не согласен с оценкой, данной ему, чуждому России пришельцу.

Но каковы же документы из семейного архива Дантесов-Геккернов, о которых глухо говорится в этой статье? Ряд этих документов был опубликован в свое время в книге «Дуэль и смерть Пушкина» П. Е. Щеголевым, затем французским исследователем Анри Труайя. Они несколько не меняют картины гибели Пушкина и совершенно доказанной версии о виновности Жоржа Дантеса. Так, в статье приведено письмо Жоржа Дантеса, в котором тот жалуется на судьбу и, между прочим, пишет о Наталье Николаевне: «Конечно, она мне не принадлежала, но никто, даже ее ревнивый муж, не отнимет у меня эту прекрасную любовь, никто не отнимет у нас наши пламенные взгляды, которыми мы обменялись между двумя контрдансами». Но неужели эти излияния могут что-либо изменить в характеристике облика Дантеса и его поведения?

Клод Дантес хочет свести весь вопрос лишь к романтической истории. Но исследования исторических фактов убеждают, что история гибели Пушкина — это прежде всего история политическая. Сети заговора плелись вокруг Пушкина в течение ряда лет. Жорж Дантес оказался исполнителем в гнусном заговоре.

Слащаво идеализирован в статье самый облик убийцы Пушкина. Автор хочет создать представление, что по характеру Жорж Дантес... был романтически чистым человеком. Однако факты его биографии говорят о другом. Известно, что в июле 1830 года во Франции он сражался в рядах сторонников Карла X, а затем отправился в Россию, где его, убежденного монархиста, ожидала блестящая карьера. Благодаря протекциям, его, в обход всех правил, приняли корнетом в кавалергардский полк. Дантес был представлен офицерам самим Николаем I. Он стал приемным сыном Геккерна, мерзкий облик которого засвидетельствован многими современниками. Хотя служба Дантеса в полку сопровождалась бесчисленными взысканиями, это не мешало его карьере. Помогали высочайшие связи. После дуэли с Пушкиным, будучи выслан из России, он принял деятельное участие в политической жизни Франции, по-прежнему обнаруживая самые реакционные монархические убеждения. Он был в числе правых депутатов, которые в 1851 году боролись за изменение конституции с целью облегчить Луи Наполеону путь к государственному перевороту. В числе других Дантес был заклеен Виктором Гюго в примечании к его стихотворению «Написано 17 июля 1851 года».

Наполеон III после переворота, в награду за услуги,

оказанные Дантесом, назначил его сенатором. В дальнейшем Дантес, вновь и вновь обнаруживая свою изворотливость и хитрость, выполнял различные поручения Наполеона III. Его хватка проявилась также и на поприще капиталистического предпринимательства. Он участвовал в учреждении кредитных банков, железнодорожных компаний, всякого рода промышленных обществ и нажил большое состояние. Как мы видим, все это далеко от того мнимопсихологического портрета, который нарисовал Клод Дантес.

В статье, о которой идет речь, повествуется также о женитьбе Дантеса на сестре Натальи Николаевны Екатерине. Но хорошо известно, что осведомленные люди рассматривали этот брак как стремление Дантеса погасить первый вызов на дуэль, сделанный Пушкиным, и вместе с тем обеспечить себе возможность видаться с Натальей Николаевной уже на правах родственника, а на самом деле продолжать свои домогательства. Сестра Пушкина Ольга Сергеевна писала отцу об этом браке, что здесь «должно быть что-то подозрительное, какое-то недоразумение, и что, может быть, было бы очень хорошо, если бы этот брак не имел места»⁴³. Один из современников, Н. М. Смирнов, так описывал ситуацию: «Поведение Дантеса после свадьбы дало всем право думать, что он точно искал в браке не только возможности приблизиться к Пушкиной, но также предохранить себя от гнева ее мужа узами родства. Он не переставал волочиться за своею невесткой; он откинул даже всякую осторожность, и казался иногда, что насмехается над ревностью непримирившегося с ним мужа. На балах он танцевал и любезничал с Натальею Николаевной, за ужином пил за ее здоровье, словом, довел до того, что все снова стали говорить про его любовь. Барон же Геккерн стал явно помогать ему, как говорят, желая отомстить Пушкину за неприятный ему брак Дантеса»⁴⁹.

Мы знаем, что Пушкин не пришел на свадьбу Дантеса с Екатериной и заявил, что между домом Пушкина и домом Дантеса ничего общего быть не может.

Общеизвестны свидетельства гнусного поведения Дантеса. Напомню лишь о материалах, появившихся сравнительно недавно. В письме одного из членов семьи Карамзиных, тесно связанных с Пушкиным и хорошо знавших Дантеса, Александра Карамзина, из Петербурга 13 марта 1837 года мы читаем, что Дантес был «совершенным ничтожеством как в нравственном, так и в умственном отношении». Геккерн, приемный отец Дантеса, назван «утон-

ченнейшим развратником, какие только бывали под солнцем...» «Эти два человека, не знаю, с какими дьявольскими намерениями, стали преследовать госпожу Пушкину с таким упорством и настойчивостью, что, пользуясь недалекою ума этой женщины и ужасной глупостью ее сестры Екатерины, в один год достигли того, что почти свели ее с ума и повредили ее репутации во всеобщем мнении. Дантес в то время был болен грудью и худел на глазах. Старик Геккерн сказал госпоже Пушкиной, что он умирает из-за нее, заклинал ее спасти его сына, потом стал грозить мстью; два дня спустя появились анонимные письма». Карамзин признается, что только после смерти Пушкина он «узнал правду о поведении Дантеса». И далее он наказывает брату, что он должен пересмотреть мнение о Дантесе, который раньше бывал в их семье: «...ты не должен подавать руку убийце Пушкина»⁵⁰.

Характерно и поведение Дантеса после поединка. Карамзин писал в июле 1837 года: «Странно мне было смотреть на Дантеса, как он с кавалергардскими ухватками предводительствовал мазуркой и котильоном, как в дни былые». С. Н. Карамзина ответила: «То, что рассказываешь нам о Дантесе (как он дирижировал мазуркой, котильоном), заставило нас содрогнуться и всех в один голос сказать: «Бедный, бедный Пушкин!»⁵¹ По другим свидетельствам Дантес впоследствии не раз говорил, что ему не в чем себя упрекать и что только вынужденному из-за дуэли отъезду из России он обязан своей блестящей политической карьерой. Любопытно, что впоследствии он начал против Гончаровых судебный процесс, стремясь взыскать с них крупную сумму в качестве якобы недоплаченного приданого!

...Конечно, чувствовать себя принадлежащим к роду человека, убившего Пушкина на дуэли,— ощущение мало приятное: видимо, отсюда попытки Клода Дантеса оправдать своего далекого предка⁵². Казалось бы, продолжателям рода можно или молчать, или осуждать предка, уже осужденного историей. Есть и заранее обреченный на неудачу путь: пытаться выдать черное за белое. На этот путь и встал Клод Дантес и немногочисленные его сторонники на Западе. Однако убийцу Пушкина не обелить — этому не помогут никакие ухищрения фальсификаторов истории.

7

Исследование обстоятельств гибели Пушкина, поведения современников, так или иначе причастных к этой дра-

ме, или ее свидетелей продолжается. Неустанные поиски ученых дают плодотворные результаты. Долгое время не удавалось сделать достоянием гласности ряд документов иностранных архивов. В последние годы и эти документы постепенно обнаруживаются. Опубликовано неизвестное письмо Николая I о дуэли и смерти Пушкина сестре Марии Павловне, великой герцогине Саксен-Веймарской, от 4-го февраля 1837 года (адресовано в Германию). Здесь царем изложена (с ориентацией на распространение за рубежом) официальная версия события: Николай утверждает, что этому событию не следует придавать слишком большого значения; Дантес фактически оправдывается (его «вина была в том, что он, в числе многих других, находил жену Пушкина прекрасной»); Пушкин (он назван здесь «пресловутым») «оскорбил своего противника столь недостойным образом, что никакой иной исход дела был невозможен»; именно эта версия распространялась тогда и в дальнейшем правительством⁵³.

Изучение истории гибели Пушкина обогатилось и другими ценными документами. В одном из наших архивов, в рукописном собрании Зимнего дворца, обнаружена переписка Николая I с супругом своей сестры Анны Павловны — принцем Вильгельмом Оранским. Из этой переписки следует, что приемный отец Дантеса — Геккерн вызывал недовольство Николая и принца Оранского разглашением каких-то обстоятельств семейной жизни королевской четы. Отсюда следует, что мотивы отозвания Геккерна из Петербурга не однозначны. Здесь вплетается еще одно звено событий, и гибель Пушкина, возможно, не была самым главным аргументом необходимости удаления голландского посланника из Петербурга⁵⁴. Несколько дополнились наши знания о Наталии Николаевне, ее жизни и облике в 1833—1836 годах, дополнились ее неизвестными ранее шестью письмами к брату, Дмитрию Николаевичу Гончарову⁵⁵.

Фактических материалов о биографии Наталии Николаевны, и тем более о последних годах ее жизни с Пушкиным, очень мало. Письма ее к мужу неизвестны, не разысканы. Мнения современников о ее характере, уме, духовном развитии противоречивы. Поэтому понятен интерес к найденным письмам. Они содержат новые штрихи к портрету Наталии Николаевны, помогают вернее понять ее психологию в 1833—1836 годы. До сих пор не только читателями, но и литературоведами облик Наталии Николаевны воспринимался чаще всего вне эволюции ее харак-

тера, интересов, чувств. Ее помнят такой, какой Пушкин увидел ее на балу, когда Натали впервые вывели в свет и когда он страстно и безотчетно влюбился, испытывая (как он писал в 1829 году ее матери) «нетерпение сердца, больного и пьяного от счастья». Девушке было тогда 16 лет. Ее жизнь ограничивалась жесткими пределами суровой семьи, где она выросла. Ее характер калечила мать — самодурка и ханжа, старавшаяся внушить своим дочерям пошлейшие понятия о жизненных целях; не содействовал воспитанию и полоумный отец, который во время припадков буйства гонялся за своей женой с ножом. Можно лишь удивляться тому, что Натали в этой обстановке сумела сохранить душевную свежесть, естественность. После долгих проволочек, созданных будущей тещей, Пушкин женился. Как это видно из писем к друзьям, он не строил себе иллюзий. Он ясно отдавал себе отчет в ситуации и откровенно писал матери невесты (в апреле 1830 года): «Только привычка и длительная близость могли бы помочь мне заслужить расположение Вашей дочери: я могу надеяться возбудить со временем ее привязанность, но ничем не могу ей понравиться; если она согласится отдать мне свою руку, я увижу в этом лишь доказательство спокойного безразличия ее сердца». Привязанность возникла. Если не было любви, то не было и «спокойного равнодушия». Время изменило характер молодой женщины. И в письмах к Д. Н. Гончарову она перед нами предстает заботливой, вникающей в дела мужа. Как раз в том же 1833 году, к которому относится первое из ее опубликованных писем к брату, Пушкин писал ей: «...с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете — а душу твою люблю я еще более твоего лица» (письмо от 21 августа 1833 г.).

Для более точного восприятия писем Натальи Николаевны нужно представить себе фон жизни ее и Пушкина, и особенно 1836 год, когда ухаживания Дантеса за женой поэта были весьма энергичными и когда эти ухаживания стали предметом оскорбительных сплетен. Наталья Николаевна была увлечена Дантесом, но близкие и знакомые уверяют, что она осталась верной своему мужу. Об этом уже накануне смерти говорил, судя по свидетельствам друзей, и сам Пушкин. Увлечение Натальи Николаевны Дантесом было поистине драматическим. Драматической была и вся жизнь, окружавшая семью Пушкиных. Обстановка разнообразных тревог, отсутствие моральной и материальной независимости — обо всем этом мы знаем из писем

Пушкина, из его дневника, а теперь также из ее писем к брату. Нельзя недооценивать значение таких строк: «Мой муж дал мне столько доказательств своей деликатности...», «...я вижу, как он печален, подавлен, не спит по ночам и, следовательно, в подобном состоянии не может работать, чтобы обеспечить нам средства к существованию: для того, чтобы он мог сочинять, голова его должна быть свободна».

По-прежнему остается открытым вопрос о том, насколько Наталью Николаевну занимали творческие замыслы Пушкина, насколько он посвящал ее в ход своей работы. В письмах к ней он не рассказывает ни об этих замыслах, ни о своем творчестве. Из ее писем к брату, опубликованных теперь (как и других, напечатанных в 1964 году в «Звезде» № 8 М. Яшиным), следует, что она помогала Пушкину со стороны чисто деловой. Раньше считалось, что Наталья Николаевна была погружена лишь в светские заботы. Между тем она была серьезно озабочена материальным положением семьи, о чем говорит ее признание брату о крайне стесненном положении (например, из ее письма 27 сентября 1833 года, написанного в отсутствие Пушкина, мы узнаем, что она осталась бы с маленькими детьми «без копейки», если бы не заняла несколько сот рублей). Выполняя поручения Пушкина, она ведет переговоры с братом о бумаге для печатания «Современника», причем, так же как и в письмах с просьбами о деньгах, делает это рассудительно и с большим тактом. Вообще практичность Натальи Николаевны, как она вырисовывается из ее писем, поистине неожиданный и совершенно меняет, с этой точки зрения, сложившееся представление о ее характере. В одном из писем к брату она пишет, что могла бы гарантировать успех «Усачевского дела», если бы оно было передано в «Петербургский сенат», так как у нее «много друзей среди сенаторов», и добавляет: «...если у тебя есть какие-то поручения, будь уверен, что я употреблю все мое усердие и поспешность, на которые только способна». В другом письме сообщает о своей возможности оказать помощь в устройстве младшего брата Сережи при помощи протекции со стороны товарища министра внутренних дел Строганова и министра финансов Канкрин. Любопытно, что просьба к брату о том, чтобы ей было назначено из общих доходов семьи Гончаровых содержание, равное тому, которое получают сестры,— это личная инициатива Натальи Николаевны. Свидетельство тому — письмо Пушкина к ней 18 мая 1836 года, где мы читаем: «Новое твое распоряже-

ние, касательно твоих доходов, касается тебя, делай как хочешь...» Пушкин не без иронии добавляет, что ему самому это «все равно», поскольку деньги эти пойдут на пользу «Дюрье и Сихлер» — владельцам модных петербургских магазинов, то есть на наряды Натальи Николаевны.

Оправдано стремление некоторых исследователей решительно порвать с неверными представлениями о его жене как великосветской даме, думавшей только о балах и своих успехах. До последнего времени встречаются в литературе ошибочные мнения о личности Натальи Николаевны.⁵⁶ У нас не хватает еще многих сведений, очень многое остается неясным. История не терпит преувеличений и идеализации. Может быть, со временем будут найдены письма Натальи Николаевны к Пушкину. И сегодня очевидна злонамеренность сплетен врагов Пушкина о его жене, но очевидно также и то, что она не была свободна от влияния своей среды и от предрассудков века. Об этом с достаточной отчетливостью говорит столь частое отсутствие взаимопонимания с мужем, и это, как можно судить по его письмам к ней — письмам, полным любви и вместе горечи, — так часто причиняло ему боль. Правда, история литературы вообще не знает случаев, когда жены гениев были бы им под стать по уровню духовных интересов. Нелегко было Наталье Николаевне быть женой Пушкина. Но нелегко было и Пушкину быть ее супругом. Он очень любил ее, но порой завидовал тем из друзей, «у коих супруги не красавицы, не ангелы прелести, не мадонны...» Признаваясь в этом Наталье Николаевне полусерьезно, полушутливо, он объяснял: «Знаешь русскую песню —

Не дай бог хорошей жены, 9
Хорошу жену часто в пир зовут.

А бедному-то мужу во чужом пиру похмелье, да и в своем тошнит» (письмо в конце сентября 1832 года). Все это говорит о том, в какую сложную область мы вступаем, изучая облик жены поэта.

* * *

Многое прояснилось для нас сегодня в истории гибели Пушкина, но многое остается еще неясным. Расширение круга исследований предсказывает новые, плодотворные поиски и решения.







Народ и поэт

(О чем повествуют 1000 крестьянских писем)

1. Поиски и находки

Мечта о широком читателе сопровождала Пушкина всю жизнь. О своей судьбе в потомстве он стал задумываться еще в юности:

Мои летучие посланья
В потомстве будут ли цвести? —

восклидал шестнадцатилетний поэт. А в одном из последних своих стихотворений, незадолго до гибели, говорил о времени, когда имя его назовет вся великая Русь, «всяк сущий в ней язык»... Но только через семь десятилетий, в Октябре 1917 года, были сметены все преграды на пути приобщения народа к сокровищам русской культуры. С какой радостью прильнул народный читатель к живительному роднику пушкинского слова! Нельзя без волнения читать отзывы крестьян о Пушкине, записанные в послереволюционные годы Адрианом Митрофановичем Топоровым, сельским учителем¹.

В этих отзывах и гордость великим сыном русского народа, и мудрое понимание его освободительной роли, и наслаждение красотой его образов...

Теперь, в наши дни, Пушкин вошел в каждый дом, значение его стало поистине всенародным. Ежегодно проводятся Всесоюзные пушкинские праздники поэзии, многотысячные тиражи его сочинений быстро исчезают с книжных прилавков, радио разносит его стихи во все просторы многонациональной страны.

Мечта поэта сбылась.

Но в какой степени народ знал Пушкина раньше, в до-революционной России, в какой степени пушкинское слово влияло на сознание народа? Этот вопрос интересен не толь-

ко для истории народного читателя, но и шире — для истории народной культуры, ее традиций, связывающих прошлое с будущим. Меня как пушкиниста этот вопрос занимал много лет, и немало труда я потратил на собирание по крупицам материалов, которые позволили дать на него хоть какой-то ответ. Ни одного исследования на эту тему не существует. Считалось, что в неграмотной крестьянской России, лишенной света и образования, ответ может быть только один: деревня, кроме каких-то исключений, о Пушкине и не слыхала. Но не хотелось соглашаться со словами И. С. Тургенева, который говорил на открытии памятника Пушкину в Москве, что простой народ «теперь не читает нашего поэта» и лишь в неопределенном будущем сыновьям народа «станет понятно, что значит это имя: «Пушкин!» А ведь это была последняя четверть века, 1880 год! Мнения такого рода высказывались даже в 1899 году, когда, несмотря на все препятствия, которые царизм воздвигал на пути просвещения крестьянской массы, деревня тянулась к книге, свету, образованию...

О том, что Пушкин народу неизвестен, писали и журналисты, претендовавшие на знание деревни². В действительности попыток серьезного изучения этого вопроса журналисты не предпринимали. По справедливому замечанию В. В. Сиповского, «городские литераторы, конечно, не могли составить себе вполне верного понятия об отношении народа к Пушкину, так как приезжали на 1/4 часа, забрасывали мужиков и баб вопросами, «интервьюировали», ждали, по-видимому, от них длинных академических речей и уезжали недовольные немногословной характеристикой поэта: «Пушкин добру учил»³.

Итак, картина в общем получалась совершенно безотрадная: народ Пушкина совершенно не знал и не знает. Различие между всеми, кто разделял этот общий вывод, заключалось лишь в его оценке. Если, скажем, Тургенев говорил об этом с великой скорбью и горячо желал наступления времени, когда народ узнает своего поэта, то декаденты считали творчество Пушкина лишь достоянием «аристократов духа», а не «черни» (под этим именем они подразумевали людей из народа, «бесконечных, серых, малых», вызывавших у Д. Мережковского омерзение жертвованиями своих трудовых грошей на сооружение памятника Пушкину)⁴.

Однако так ли это; действительно ли народ не знал Пушкина?

По отношению ко времени, когда Пушкин еще жил, ответ на этот вопрос может быть дан, за отдельными исключениями, безусловно отрицательный. Сам Пушкин, творчество которого сыграло столь колоссальную роль в общем процессе развития русской культуры, в демократизации литературы и создании самой возможности приближения ее к духовным интересам народа, признавал: «У нас литература не есть потребность народная... Класс читателей ограничен».

Поэт высоко ценил мнения передовых читателей своего времени, которых, однако, было тогда мало, и противопоставлял им «почтеннейшую публику» (то есть ту «сволочь, которая нас судит»), «светскую чернь», тех читательниц, для «нежных ушей которых (как он писал иронически в связи с поэмой «Братья-разбойники») «отечественные звуки: харчевня, кнут, острог» невыносимы. Что же касается народа, то о нем Пушкин сказал в наброске «Блажен в златом кругу вельмож»:

Меж тем за тяжкими дверями,
Теснясь у черного крыльца,
Народ, гоняемый слугами,
Поодаль слушает певца.

Основной причиной незнания или крайне ограниченного знания народом Пушкина была неграмотность. Но даже тогда были исключения, и тогда имя поэта и даже некоторые его стихи были известны в части «простого народа». Современник Пушкина В. Н. Каразин писал: «Между солдатами есть люди весьма умные, знающие грамоте. Есть... и из дворовых весьма острые и сведущие люди; есть управители, стряпчие и прочие из господских людей, которые за дурное поведение или за злоупотребление отданы в рекруты. Они так, как и все, читают журналы и газеты»⁵. Известно также и показание декабриста М. П. Бестужева-Рюмина: «Рукописных экземпляров вольнодумческих сочинений Пушкина и прочих столько по полкам, что это нас самих удивляло»⁶. Однако распространение этих стихов, можно считать, происходило преимущественно среди офицеров: для политической агитации декабристами были написаны особые произведения «в простонародном духе».

В поисках материалов, которые дали бы представление о том, в какой степени народ знал Пушкина, я обратился к письмам современников, к мемуарам, к журналистике и критике. Результатов все это не давало. А между тем признания в качестве безусловного факта непрерывного рас-

ширения читательской аудитории именно благодаря пушкинскому творчеству встречались нередко. По словам Белинского, первые поэмы Пушкина «читались всею грамотною Россиею; они ходили в тетрадках, переписывались девушками, охотницами до стихшков, учениками на школьных скамейках, украдкою от учителя, сидельцами за прилавками магазинов и лавок. И это делалось не только в столицах, но даже и в уездных захолустьях»⁷.

Итак, неграмотность являлась главной преградой между читателем и творчеством Пушкина. Другим препятствием была дороговизна книг и крайне малые тиражи. Тиражи произведений Пушкина при его жизни находились в пределах от 1200 экземпляров до 2400. При этом, например, первое издание «Руслана и Людмилы» стоило 10 руб., «Кавказского пленника» — 5 руб., первое полное издание «Евгения Онегина» — 12 руб., трехтомное издание стихотворений — 30 руб. Если даже говорить о средних и мелких чиновниках в городе, то и им эта цена была недоступна: средний чиновник получал 60—80 руб. в месяц; Акакий Акакиевич из гоголевской «Шинели», например, получал 33 руб. Характерно, что и посмертное издание сочинений Пушкина из-за дороговизны и отсутствия достаточно широкой аудитории долго не расходилось. В 1845 году в газетах было объявлено, что 11 томов сочинений Пушкина уценены: вместо прежних 65 руб. ассигнациями за 11 томов на веленовой бумаге — 10 руб. серебром, а вместо 50 руб. ассигнациями на экземпляр на простой бумаге — 8 руб. серебром (поскольку 10 руб. ассигнациями равнялись 2 р. 85 к. серебром, издание было уценено почти вдвое). Но в последней трети XIX века наметились возможности большего знакомства народа с творчеством Пушкина. Кроме некоторого увеличения грамотности на селе огромное значение имел выход начиная с 1887 года (когда кончилось право наследования для родственников Пушкина) дешевых изданий его произведений. В 1887 году вышло полное собрание сочинений Пушкина, составленное Скабичевским, в одном томе, ценой 1 р. 50 к., оно же в улучшенном оформлении — 2 р. 50 к. В том же году вышли сочинения Пушкина в 10 томах ценой 1 р. 50 к. Появились также издания отдельных его произведений ценой 50, 20 коп. и отдельные брошюры (например, «Бахчисарайский фонтан», «Барышня-крестьянка», «Метель», «Русланка» и др.) ценой 3 коп.

Грамотей передавали вести о Пушкине неграмотным — из уст в уста, рассказывали сюжеты его произведений. По-

рой зная, а порой не зная имени автора, пели песни на слова его стихов: «Утопленник», «Зимняя дорога», «Осень», «Утро в селе», «Буря», «Зимний вечер», «Няня», «Гусар», «Узник», «Бесы», «Под вечер осенью ненастной».

Некоторые из этих песен распространялись в дешевых олеографиях — народных картинках с надписями (например, «Под вечер осенью ненастной») ⁸ или выпускались отдельными дешевыми брошюрками, что весьма способствовало их распространению ⁹.

Но все эти разрозненные сведения не создавали картины даже в пределах какого-то узкого временного отрезка. Ничего для пополнения этих сведений не дало и мое обращение к архиву известного книговеда и библиографа Н. А. Рубакина ¹⁰, а также изучение результатов состоявшегося в 1898 году обследования вопроса о знакомстве с Пушкиным сельского населения и в школах Ярославской губернии. Ответы на вопросы (преимущественно школьных учителей) Рубакина, как и обследователей Ярославской губернии, носили формальный характер отзывов о знании народом Пушкина, а главное — о восприятии Пушкина народом, живых откликов крестьян ни там, ни здесь не было. Н. А. Рубакин с грустью признавал, что российский читатель, и «серый», и «полукультурный», и наиболее интеллигентный, остается иксом. Он неизвестен не только в качественном, но даже в количественном отношении ¹¹.

Итак, казалось, что интересовавшая меня тема бесперспективна. Но однажды мне повезло. Знакомясь с фондами рукописного отделения Института русской литературы Академии наук СССР, я обратил внимание на архив «Сельского вестника», забытой дореволюционной дешевой газетки, предназначавшейся для деревни. А вдруг там есть нечто, связанное с Пушкиным? Архив этот никто не изучал. Начав просматривать папки с материалами архива, я буквально был ошеломлен: передо мной лежали сотни писем крестьян о Пушкине, писем со всех концов России, из центральных губерний и глухомани, писем, написанных зачастую на серой оберточной бумаге, большей частью полуграмотных, каракулями, по одной, по пять, по десять и больше страниц, иногда даже стихами, и все о Пушкине!.. Долго не мог я оторваться от этих листочков, за которыми вставала деревенская Россия с ее любовью к Пушкину, любовью нежной и проникновенной, как к живому человеку, целая россыпь мнений о нем, иногда наивных, большей частью восторженных, но порой неожиданных, странных..

Так раскрылся уникальный, ценнейший фонд документов. Впервые можно было судить об отношении народа к Пушкину, о знании и понимании народом Пушкина, о том, каким был образ поэта в крестьянском сознании, причем судить по рассказам самих крестьян! И даже видеть, как отразилось в отзывах о поэте расслоение деревни!

Обратившись в Публичной библиотеке к комплектам самой газеты, я обнаружил и самый повод появления этого потока писем.

9 мая 1899 года, незадолго до 100-летия со дня рождения Пушкина, газета «Сельский вестник» обратилась к читателям со следующей просьбой: «26 числа наступающего мая месяца исполняется 100 лет со дня рождения великого русского писателя Пушкина. Просим наших читателей, близко стоящих к простому народу и хорошо его знающих, сообщить нам: насколько известно в народе имя Пушкина? какие сочинения его наиболее читаются народом и как попадают к нему? что ему в них больше всего нравится и почему? что нравится меньше и почему? что простой народ знает и думает о Пушкине? Просим и самих крестьян, наших читателей, написать об этом просто и прямо, не стесняясь, как умеют и как бог на душу положит. Кто и совсем ничего не знает о Пушкине и даже не слышал о нем или знает очень мало, — пусть напишет и об этом. За всякие сообщения обо всем этом мы будем очень благодарны».

Редакция неожиданно для нее получила около тысячи откликов со всех концов России: не было почти ни одной губернии, от севера до юга и от востока до запада, откуда не шли бы крестьянские письма. Но в газете было напечатано только 101 письмо (причем тщательно отобранные в цензурном отношении). В архиве остался ценнейший, неопубликованный материал. Ценность этого архива состоит также в том, что он по существу равнозначен массовому обследованию упомянутых вопросов, обследованию, результаты которого выражены и зафиксированы самими читателями. Исследование этого материала дает возможность впервые в истории русской культуры и литературы XIX века прийти к конкретным выводам об отношении дореволюционного крестьянства к писателю, о его критериях оценки художественного творчества, выводам, основанным не на общих соображениях, а на фактах самой жизни.

Казалось бы, что само направление «Сельского вестника» должно было предопределить и характер откликов на

анкету о Пушкине. Эта газета издавалась при «Правительственном вестнике» и в качестве официозного издания бесплатно рассылалась во все волостные правления России. Она распространялась также и по подписке, 1 р. 20 к. в год. Значительная часть каждого номера была посвящена официальным сообщениям, славословию царя и «высочайших особ». Передовые статьи этой газеты были обычно посвящены духовным поучениям. В полном соответствии с религиозно-монархической направленностью газеты велась здесь и пропаганда творчества Пушкина. О содержании первой из напечатанных в ней статей — «А. С. Пушкин» — говорит ее подзаголовок: «Стихи Пушкина с духовным содержанием. Переписка его в стихах с московским митрополитом Филаретом. Христианская кончина его».

В духе обычной реакционно-официозной фальсификации Пушкина были выдержаны и другие статьи о нем, напечатанные в «Сельском вестнике». Постоянно подчеркивалось, что юбилей Пушкина — результат забот государя. Путем искажения пушкинского творчества утверждалась идея единения сословий: Пушкин «в своих описаниях русских людей указал на их чисто русские, драгоценные свойства; указал, что и дворяне и крестьяне, и образованные, и необразованные, несмотря на кажущуюся разницу, — все дети одной великой семьи» (статья «Пушкин» в № 21). В другой статье, «Пушкин как певец русского народа», растянувшейся на три номера (22—24), образ поэта был обрисован в следующих чертах: «Чувства его были — постоянное самоуничижение. Как всякий русский человек, сознавая свое глубокое недостоинство перед правдой божией, он обвинял себя, проклинал себя за то, что не во всем его жизнь была согласна с теми высокими стремлениями, какие всегда жили в его душе. Цикл статей о Пушкине «Сельский вестник» завершился напечатанием речи петербургского митрополита Антония, утверждавшего, что эпикуреизм поэта «был крайний, его вольномыслие граничило иногда с кощунством, его пренебрежение жизнью как даром Божиим часто не знало предела», но «под этою бурною поверхностью в глубине его души таились начала святые, истинно человеческие, христианские».

Учитывая эти установки «Сельского вестника», можно было бы думать, что они и должны были предопределить характер писем крестьян о Пушкине. Однако картина получилась иная. Можно сказать, что, призывая крестьян писать о Пушкине, редакция выпустила духа из бутылки. Эффект

получился неожиданный. Лишь небольшая часть читателей, следуя установкам редакции, иногда подделываясь под них, а порой отражая имевшую определенный успех в некоторых наиболее темных слоях народа многолетнюю реакционно-монархическую пропаганду, настраивалась на общий тон «Сельского вестника». Подавляющее же большинство писем говорило о том, что в сознании народа жил другой образ Пушкина — своей жизнью и творчеством показавшего пример самоотверженного служения народу, родине, правде, справедливости. При исследовании писем ясно обнаруживаются эти две противоборствующие тенденции, причем одна из них — христианско-монархическая — представлена по сравнению с другой несоизмеримо меньшим количеством читателей.

Обратимся теперь к самим письмам¹². Цитируя эти письма, я счел излишним сохранение их орфографии, так как в данном случае это лишь затруднило бы их чтение: большинство писем написано каракулями, с полным игнорированием синтаксических и грамматических правил, с воспроизведением произношения слов в тех или иных говорах, слитным написанием предлогов с существительными, глагола с местоимением и т. д.

Письма большей частью сопровождаются такими оговорками: «За ошибки и прописки прошу извинения»; «При сем прошу редакцию в том меня извинить, что толком не могу письма-то сочинить, грамматического учения я не получил. А только канончики учил»; «К редакции. Прошу простить за ошибки, если таковые окажутся, и за плохой слог сообщения»; «Прошу извинения меня за мое письмо. Я писал от души, самоучка» и т. д. Напечатанные в газете письма (как свидетельствует сохранившееся в архиве письмо А. А. Александрова, в то время сотрудника газеты) редакцией «переписывались», то есть подвергались стилистической обработке; этим главным образом объясняется кардинальное различие между опубликованными и цитируемыми подлинниками писем по степени грамотности.

2. Спор крестьян о Пушкине

В общей массе писем обнаруживается нечто поразительное: полуграмотные крестьяне ведут спор о Пушкине, происходит столкновение мнений, даже борьба, своеобразная

полемика «за» и «против»! Одно из самых интересных, острых писем — анонимное, присланное из деревни Федурино Муромского уезда. Написанное человеком, постигшим лишь начала грамоты, оно, тем не менее, обнаруживает удивительно проникновенное понимание роли, которую может сыграть передовой писатель в России. На 24 страницах бумаги почтового формата автор перемежает свои размышления о значении писателя описанием фактов нищеты крестьянства, произвола полицейско-административных властей и т. д. Автор подозревал, что вряд ли его письмо будет напечатано. Он пишет: «Желательно бы и то, если благоволит редакция, напечатать мое письмо, уяснить мое недоразумение: но опасаясь, что оно многосложно и обременительно для редакции». Далее говорится, что «простому народу более нравятся из сочинений поэта его те, которыми он защищал и сожалел о угнетенном народе и где обличал варварское тогдашнее дворянство, как оно угнетало простой народ. По сему-то и за это-то его простой народ и уважает, что он был правдив: по дару его остроумия и находчивости. Косвенным и посторонним примером он иногда обличал и высших властей».

Пушкина — обличителя и защитника народа — автор сравнивает с писателями современными. Он пишет: «А такие писатели и ныне дороги: но они, если пишут что о простом народе и его непорядке или пьянстве, то еще слушают, и все проходит благополучно, правда и неправда: чего ни свали на мужика, все пройдет». Называя правителей «двигателем», автор размышляет по этому поводу: «А дотронься до двигателя, то, пожалуй, не так повезет. А ведь двигатель дорог, если двигатель правильно действует, то вся машина споро ходит. А если двигатель неправилен, то как ни смазывай машинные приводы, все равно не пойдут. Я разумею за двигателя управляющих народом начальников. Я хочу нечто правдивое сказать о сих двигателях. Но если бы их восхвалить, то бы это еще ничего: а хвалить-то наших начальников не за что. Вот я опасаясь и если редакция благоволит напечатать мое письмо и укажет мое имя и отчество, то горе мне будет от своих начальников. Но едва ли редакция благоволит напечатать сие письмо, потому что оно на своих не пишет неблагоприятных отзывов».

Описание всякого рода случаев угнетения народа, полицейской расправы с крестьянами, заключения в тюрьмы автор письма перемежает такими рассуждениями: «Поэтому-то простой народ и уважает тех двигателей и писателей, по-

добных Пушкину, которые справедливо смотрят на угнетение чернеди, но их мало». «Двигателем в противовес правителям именуется Пушкин. Ведь всюду «всякого рода притеснения, а защиты нет». «А посему-то и трудно правде против рожна праться. Поэтому-то простой народ и уважает таких правдивых писателей, подобных Пушкину».

Как живой пример борьбы за свободу оценивает жизнь и творчество Пушкина и крестьянин Трофим Вилков из села Ивановского-Шуйского Яневской волости Суздальского уезда Владимирской губернии. Он пишет: «Александр Сергеевич мне нравится потому, что внес в нашу литературу живые струи поэзии и исправил словесность. И восславил свободу, как говорит он в памятнике нерукотворном. И негодовал на крепостное право, как видно из его стихов. А я крестьянин, значит, моим детям он желал свободы, над которой тяготело ярмо, которое люди несли века. И я всегда в жизни, встретя какую-либо неудачу в предприятиях или несчастье какое, то всегда беру пример Александра Сергеевича и помню слова его, как он оставлял Петербург 26 лет, не был печален и говорил: «Я променял порочный двор царей на мирный шум дубров, на тишину полей». Хотя я против его как песчина в море, но все-таки я осмеливаюсь, за то пусть простит мне его тень, но мое сердце дышит к нему любовью».

И дальше в письме еще раз подчеркивается роль Пушкина как пример жизненного поведения: «Да еще он мне нравится потому как на предсмертном поединке (дуэли) показал себя истинно русским воином и с храбростью самоотвержение. Я назвал его воином?»

Действительно! поэт должен быть подготовлен как воин к битве, когда воспевают темные и светлые стороны людей. И помер-то он, не оставя ничего, кроме одного долга да бессмертное имя в народных сердцах. А иные писатели плачутся о бедных и нищих, а сами страшные богачи и высказывая вид под маской лицемерия».

Для всех крестьян, не развращенных официозной пропагандой, Пушкин был прежде всего борцом за народное благо, за народное освобождение, другом угнетенных. С. Тимофеев из деревни Высокая Гора Опочецкого уезда Псковской губернии рассказывал: «Я случайно прочел в одной книжке о том, как в былое время в числе сторонников за освобождение крестьян был и наш незабвенный Пушкин, и сказал нашим старичкам, что Пушкин сильно стоял за освобождение нас от крепостной зависимости; тогда они

все единодушно заговорили, крестясь на икону: «Дай ему, господи, царствие небесное». Так они благоговеют при воспоминании о том, кто был борцом за их освобождение.

Пушкина как борца за свободу и справедливость воспевает в неумелых своих стихах крестьянин Стрелецкой волости «той же слободы» А. Филков. Явно имея в виду слова пушкинского «Памятника» об Александрийском столпе, автор утверждает, что «не один уже столп задорный» «пред славою (Пушкина) склонится». Пушкин продолжает жить:

Пред лествью вечно ископорный,
И в прахе он готов сразиться.

Пушкин пел песни о свободе, за что был «пред русскими царями оклеветан», но, гонимый, смело нес вериги, «толпе не кланяясь холодной». Поэт, «не щадя жизни, восстал на жизненный порок». Он живет и теперь: «Пари свой дух еовеки с нами».

Отличается смелостью и откровенностью письмо крестьянина села Рассказова Тамбовского уезда той же губернии — А. Корабельникова. Ему не нравится, что большинство читателей восхваляют такие произведения, как «Руслан и Людмила», «Утопленник» или сказки, замалчивая другие его сочинения, «скрытные»: «Если А. С. Пушкина понимают таким высоким человеком, то, думаю, грешно тем людям скрывать его трогательное предсказанье и обличенье, которые слышны только через преданье, а читать об них никогда не приходилось мне, а желательно почитать такие сочинения». Речь, конечно, идет здесь о тех нелегальных произведениях Пушкина, которые доходили в деревню только из уст в уста (именно в этом смысле следует понимать слово «преданье», от глагола «передать»). О содержании такого рода произведений мы в том же письме читаем: «Как видно из жизни Пушкина, что он любил говорить правду и обличать за неправду, не стеснясь самого царя и не жалея своего личного интереса. И еще видно из жизни его, что он как будто сожалел о бедном русском труженичке мужичке, часто он взглядывал на его тяжкие работы и с жалостью смотрел в запотевшее лицо бедняка труженичка и как будто хотел помочь в чем-то бедному мужичку... Но об этом не хотят писать и как будто хотят скрыть важные труды и жгучие слова Пушкина, которые слышны только малость от преданья».

Первые сведения о Пушкине автор узнал еще в детстве от крепостного деда, — то есть от крестьянина, жившего еще

при Пушкине. Следует такой рассказ: «...от своего отца я остался малолетним сиротой и потому находился под покровительством семидесятилетнего своего деда. Нередко мне приходилось с ним бывать в лесу и в поле, и при других работах. Вот что я слышал от него: про Пушкина. Во время паровой пахоты я был с ним в поле, помню, что день был жаркий и близко к обеду, и дедушка остановился пахать и отпряг лошадь. Я взял ее за повод и повел к телеге, а он подошел к телеге и со стоном лег около нее. Я спросил: «Что, дедушка, иль мочи нет?» и сел около него. А он мне ответил: «Устал очень, сынок», и говорит: «Ох, не напрасно об нас, несчастных мужичках, Пушкин написал». Я спросил: «Кто?» А он громко ответил: «Пушкин!» И начал он рассказывать. Но, к сожаленью, я очень много забыл и не могу все подробно рассказать, потому что в это время мне было не более десяти, а теперь мне 32 года... И долго он продолжал этот рассказ, и голос в нем изменялся и для меня оно было каким-то трогательным». Этот рассказ замечателен тем более, что такого рода свидетельств об отношении крестьян к Пушкину при жизни поэта до нас не дошло.

Возвратимся, однако, к приведенным выше оценкам Пушкина. Читателю наших дней они могут показаться стоящими на уровне обычных истин. Однако необходимо учитывать конкретную политическую обстановку конца XIX века, когда карались политические суждения о Пушкине даже менее острого характера (так, пушкинист В. Е. Якушкин поплатился высылкой за то, что в своей речи о Пушкине говорил о вольнолюбии поэта и его связи с декабристами). Тем более смелыми являются приведенные выше мнения о Пушкине, которые шли из глухой деревни, где малейшее проявление «крамолы», даже не на деле, а на словах беспощадно преследовалось. Тот же автор первого из процитированных писем о Пушкине приводил факты расправы с крестьянами за недостаточно почтительные слова о властях; автор другого анонимного письма сообщал, что земский начальник отвечал угрозами на одну только просьбу приобрести книги Пушкина для школьной библиотеки из крестьянские деньги, и возразить ему нельзя: «...скажи кто-нибудь: «а, ты бунтуешь, на три дня под арест!», скажи другой — «я язык отрежу», «а то в бараний рог согну».

Трудно сказать, какими путями проникали в среду малограмотных крестьян представления о Пушкине как о друге свободы, обличителе царей и «властей предрежащих»: во

всяком случае, сведения такого рода отсутствовали, конечно, в допущенных для народного чтения биографиях поэта, нельзя было их извлечь также из репертуара тщательно отобранных пушкинских произведений, включавшихся в хрестоматии и сборники. Вероятнее всего, их передавала устная традиция, подкрепленная пропагандистами эпохи народничества и крестьянами, побывавшими в городах на фабричных работах. Но так или иначе, суждения о Пушкине в приведенных выше крестьянских письмах не были исключением — их можно умножить. Эти мнения возникали в различных вариантах. Иногда они выражают в наивной форме представление о поэте — пророке, свободолюбце и бесстрашном борце. Крестьянин В. Москаленко из деревни Пороничи Радомысльского уезда Киевской губернии писал о Пушкине: «Насколько я чувствую, этот человек того времени был не кто иной, как гений, особо выступавший из среды человечества... Он не запихивался (то есть не заносился. — Б. М.) ни перед каким человеком, его мысль и писание обуздывают умы всех правителей, так как он одарен природою свыше. Он не мог видеть несправедливость и преследовал ее. Но за это подвергал себя во подозрение начальству... Он был повод к свету, которому после 100 лет сочувствует все человечество». Н. Полосков из села Раково Холмогорского уезда Архангельской губернии гибель Пушкина оценивает как возмездие борцу: «Был человек Пушкин подобно Мессии, глагол его так же жег сердца как высших, так и низших, призывал милость на падших, говорил правду, учил всех... Изучал жизнь от царских палат до вертепов, никого не проклинал, людей любил, фарисеев обличал и пал, как на Голгофе, от руки палачей».

В многочисленных письмах содержится провозглашение Пушкину вечной памяти, как «правдивому и гонимому за правду писателю-стихотворцу» (слова из анонимного письма крестьянина Беспятовской волости Зарайского уезда Рязанской губернии, деревня не указана).

С отражением подобных мнений о Пушкине мы еще встретимся ниже. Теперь же перейдем к группе писем противоположного направления, к тем, которые редакция «Сельского вестника» печатала с особой охотой. Но сначала несколько замечаний.

Нужно еще раз напомнить, что группа таких писем в общем потоке поступающих в редакцию невелика. Авторы их, будучи выразителями самых отсталых и развращенных официозными «поучениями» слоев крестьянства, были пред-

ставителями небольшого, но существовавшего вплоть до Октября резерва контрреволюции на селе, о гнусной роли которого неоднократно писал В. И. Ленин. Среди авторов этих писем были, по их собственным данным, волостные писари, «нижние чины», прошедшие муштровку царской службы, чиновная мелочь из сельской администрации, но встречались и крестьяне как таковые. «Благонамеренные» письма о Пушкине любопытны не только для исследования своеобразного преломления процесса социального расслоения в деревне, они важны и для понимания возникшего на страницах «Сельского вестника» горячего спора.

Через месяц после пушкинского юбилея — 27 июня 1899 года — в № 25 «Сельского вестника» было напечатано следующее письмо «отставного вахтера» Е. Коровкина из деревни Сычевки Смоленской губернии:

«Наука — свет и наука есть тьма. Скажем о науке света.

Св. священномученик Киприан, которого память 2-го октября, учился до 30 лет, был страшный чародей и с мертвыми мог говорить, а не мог девицы Иустины соблазнить, а покойный Пушкин и смерть получил через женский пол. Следовательно, он недостоин, как мне внутренний человек мой, то есть совесть, говорит, ни юбилея, ни царства небесного от господа бога не заслужил. Мои слова основаны на Священном писании, а именно: в Священном писании сказано: пьяницы, тати и блудники не наследят царства небесного, а он за женский пол и душу свою отдал в руки диявола.

Св. священномученик Киприан через св. Иустину получил от господа бога злат венец и царство небесное — это свет. А Пушкин — христианин, а ум свой и веру погубил через женский пол — это тьма.

Сочинения Пушкина попадали мне от продавцов книг, и я не нашел в них для души утешения.

Советую каждому православному, если только имеет состояние и время, читать и покупать книги духовного великого писателя Ефрема Сирина. Поучения сего преподобного для истинно православного христианина слаще сота и меда.

Св. священномученик Киприан причтен к лику святых святою церковию, а Пушкину поставлена статуя в Пскове на Тверском бульваре. Простая разница — что день, что ночь; дай бог и нам получить свет, а не тьму кромешную, молитвами св. священномученика Киприана и преподобного Ефрема Сирина и св. мученицы Иустины».

Нужно «обезопасить» народ от влияния Пушкина — та-

ков смысл также напечатанного в газете письма сельского старосты Ивана Шуркова из Арефинской волости Муромского уезда Владимирской губернии:

«...Особенно обращаю внимание на письма разных крестьян о Пушкине, имя которого превозносят, как говорится, до небес... Читая с удовольствием сочинения Пушкина, мы скоро и легко, пожалуй, забудем брать в руки книги Священного писания. А если мы забудем читать священные книги, то сочинения Пушкина будут нам во вред, хотя в них и нет вредного. Много из нас таких людей, которые знают наизусть любую сказку или стишок, но о земной жизни спасителя едва ли могут что-нибудь рассказать. Некоторые сочинения Пушкина даже будут вредны, если читать их легкомысленному человеку. В одном троицком листке («Книги — наши друзья») говорится: «ныне народ любит читать разного рода газеты и сочинения, но почитать слово божие охотников ныне нет». Правда, Пушкин читать слово божие не запрещает, но сочинения его могут далеко отвести от этого. Пожалуй, скажут: «всему есть время, можно читать то и другое». Но я говорю: увлекаться его сочинениями будет безрассудно, а увлечься очень недолго... Я расскажу про себя. Сначала была у меня охота читать разного рода сказки и повести разных писателей, в том числе и Пушкина. Находя в них удовольствие, я так приистрастился к ним, что у меня о духовных книгах размышления не было. Но раз пришлось мне взять Библию у священника. Почитав ее, я стал рассказывать о прочитанном народу своей деревни, и у каждого слушателя являлось, видимо, размышление о боге. Что касается меня, то я, сидя за работой, нередко задавал себе вопросы о будущей жизни за гробом, и мною овладевал страх. Да и как не страшиться, если праведный судия захватит нас за чтением какого-нибудь «Руслана и Людмилы» и спросит, знаем ли что-нибудь о своем искупителе? Но, увы, я тогда бы не сказал ничего, потому что я все время проводил за чтением разной чепухи».

Таких писем «Сельский вестник» напечатал несколько. Отрицательное отношение к Пушкину выражалось в письмах читателей этой группы по-разному. Крестьянин И. Болотов из деревни Кшени Тимского уезда Курской губернии осуждал самый повод, из-за которого Пушкин пошел на дуэль: «Не понимаю, что это за следствие человеческой горячки. Ну как ни осерчай на человека, а все-таки жаль убить его, да и самому из-за пустяков лезть на пулю, кин-

жал и т. п.— чего ради: ну, за веру, царя и отечество — дело другое, того предотвратить нельзя»¹³. Другой читатель, сторож Петербургского департамента окладных сборов, А. Лилицын, признавал только один способ отметить столетие со дня смерти Пушкина: «На мой взгляд, было бы гораздо лучше и приятнее как для нас, живущих на земле, так и для Александра Сергеевича Пушкина, живущего в загробном мире, если бы нашлись добрые люди, да в память его добрых заслуг открыли подписку на церковь, в которых у нас в России еще такой большой недостаток и в которой бы у престола божия возносилась вечная и горячая молитва от лица истинно православных христиан как за царствующий град и за себя, так и за того, в память кого она сооружена,— ведь в ней только можно найти спасение и отраду как нашим душам, так и для души Пушкина, которая ни в чем не нуждается теперь, кроме поминовения и молитвы».

Пропаганда подобных мнений о Пушкине представляла огромную опасность для судеб его наследия в народе. По словам одного из корреспондентов-крестьян, «некоторые необразованные и суеверные люди даже не хотят обращать внимания на него (Пушкина.— Б. М.), оттого что он был убит на поединке Дантесом: они думают, что если кто прочитает сочинение А. С. Пушкина, тот потеряет счастье в своей жизни. Такой слух распространяется в народе, переходя от одного человека к другому» (№ 25). До какого изуверства доходили сельские мракобесы, рассказал учитель Тополинской школы грамоты Атсуйской волости Бийского уезда Томской губернии К. Тарский:

«Наши староверы и единоверцы строгб-настрога запрещают взрослым и малолетним грамотеям не только читать разные книги и сочинения (светской печати), но даже и в руки брать. А если случится кому впасть в такой грех, то немедленно посылают за ним и чинят над ним исправу, то есть наставник их ставит виновного перед иконами, велит класть сначала 1000—2000 земных поклонов, после чего виновному читается прощальная молитва, и только тогда принимают виновного на общия моления и в общую чашку. В школу же детей отдают с тем условием, чтобы обучали по их старопечатным книгам. При отдаче в школу всегда условливаются со мной. «Смотри,— говорят они,— ты уже нам сорок да ворон не учи! Нам не нужно! А иначе мы и детей в школу не отдадим». И действительно, многие детей из школы берут. Книжки же, выданные учителем, православного содержания, принесши в школу, бросают на стол

или на лавку и говорят: «Зачем ты даешь нашему ребенку такую чепуху читать? Еретика хочешь из него сделать? Уж если учишь, так учи по-нашему, а не пакости ребенка! Что в этой книге? Какая-то мартышка да очки, да как медведь дуги гнул, еще какая-то старуха у расколотого корыта? Для чего все это? Нам нужно, чтобы ты учил: вечерню, да часы, да псалтырь, и еще уставу церковному,— а не этой чепухе! Слышишь? Я своего ребенка в еретики не отдам».

Из этого, я думаю, редакция может понять, отчего на мой вопрос все крестьяне нашей деревни сказали, что они про Пушкина не знают ни одного слова».

Интересно сообщение о читке «Капитанской дочки» на Тихвинском золотом прииске Челябинского уезда Оренбургской губернии. На этом чтении, «как и на каждом, народу с женщинами и детьми было до 450 человек, и всем понравилось, все были в восторге и после много говорили о коменданте Миронове, Пугачеве и Швабрине, тем более что это было в той самой Оренбургской губернии, где и без того много рассказывают о Пугачеве и разных его похождениях в здешнем крае» (письмо А. Евсеева, № 26). Вряд ли можно сомневаться, что среди этих 450 человек были такие, которых пушкинская повесть о крестьянском восстании навела далеко не на бесстрастные размышления и разговоры о прошлом. Не случайно именно оценка «Капитанской дочки» вызывала яростный спор между теми, которые были от нее «в восторге», и крестьянами, безраздельно преданными лозунгам «За веру, царя и отечество». Так, некий аноним, резко возражая крестьянину Н. Макарову, который хвалил «Капитанскую дочку», утверждает: «Достаточно будет прочитать одну книгу («Капитанскую дочку»), которую много хвалят, чтобы испортить свою жизнь и принести вреда. В книге «Капитанская дочка» ...описывается время малой смуты земли русской. Там несогласие, непрестанные поединки, дуэль, смертная казнь. Если читать такие книги одному малограмотному многим неграмотным, то научатся одной только ложной любви». По мнению этого анонима, читать следует другие книги: Майна Рида, Тургенева, Жюль Верна или книги о Смутном времени, «где видно, что несогласие довело до крайней нужды российский народ».

Если этот читатель считает «Капитанскую дочку» вредной, некоторые другие пытались истолковать это произведение в монархическом духе. Некий П. Мальцев пишет из Рождественской волости Кунгурского уезда Пермской губернии: «Я с наслаждением читаю его (Пушкина.— Б. М.)

сочинения. Особенно интересует меня сочинение «Капитанская дочка». В этом сочинении он раскрыл прямо, насколько есть верны царю и отечеству и православной вере сыны православной церкви, а насколько есть легкомысленных изменников, из-за корыстной цели позволяют вязнуть себе в пропастях бездны и пороков, каков был Емелька Пугачев и прочие самозванцы. Более всего удивляет меня тот факт: разбойник-самозванец Емелья Пугачев называл себя царем, и все перед ним трепетали, и не было пощады верно служившим императрице, всех их вешал, как и было в Белогорской крепости; но одному, верно служившему престолу и присяге, Петру Андреевичу, сделана милость; из чего? Из-за того именно, что выпросил прощение Петру Андреевичу его дядька Савельевич. Он не щадил своей жизни и с самоотвержением припал к ногам Пугачева и зывал: «Помилуй, государь, его, а вели вместо его меня повесить, старика». Тогда Пугачев вспомнил сделанную милость во время своего бродяжничества в степи Петром Андреевичем через этого старика, который принес ему заячий тулуп и вручил Пугачеву». И после этого автор письма заключает: «Первый пример: доброе дело укрощает врага России. Второй пример: неродственник-старик жертвует собой, чтобы спасти барина. А нонче скорей согласятся родные виноватые дети взамен себя предать отца. Где уважение? Где покорность, где добродетель, где любовь нелицемерная?» И дальше вновь поносится «Емелька Пугачев», как «неукротимый враг России и неумолимый в неверности царю и отечеству».

Эти примеры показывают, что и в XIX веке читатели из народа различались не только по степени грамотности: они расходились и в политической оценке творчества Пушкина. Надо, впрочем, заметить, что характеристики «Капитанской дочки», подобные приведенным выше, встречаются среди крестьянских писем в монархическом духе редко. Что же касается последнего из цитированных выше писем, то его топорно-верноподданническая прямолинейность заставила даже редакцию официального «Сельского вестника» оставить его в архиве и не печатать.

Реакционная пропаганда на селе имела известный успех прежде всего потому, что до того во многих местах о Пушкине вообще ничего не было известно. В редакцию «Сельского вестника» поступило немало писем, например, такого характера: «Покорнейше просим редакцию «Сельского вестника» объяснить нам, то есть людям, которые решительно ничего не знают, за что именно этого человека (Пушкина.—

Б. М.) назначено так торжественно чествовать, дабы все могли присоединиться к этому празднику... Читатель Ново-Никольской волости Грязновецкого уезда Вологодской губернии» (№ 23).

Из всего этого становится понятным, какое значение имело бы напечатание в газете писем, опровергающих мнения Коровкина и ему подобных. Конечно, оставить совсем без ответа такого рода письма редакция не могла: иначе получилось бы, что император, который, по сообщению газеты, одобрил утверждение пушкинского юбилейного комитета, совершил ошибку. Однако из полемических писем в «Сельском вестнике» были отобраны весьма своеобразные...

В газете помещались преимущественно те ответы Коровкину, авторы которых соглашались с тем, что Пушкин «был грешен», напоминали о евангельском требовании всепрощения или же пытались доказать, что Пушкин был религиозен и что именно поэтому почитать его «не грех». Появился также ряд писем, где полемика с Коровкиным свелась к защите Пушкина от обвинений в том, что он якобы погиб «за женский пол». Крестьянин из Онуфриевской волости Кологривского уезда Костромской губернии М. Швоков (при письме имеется пометка: «за неграмотностью его писал его сын Андрейко») сообщил в редакцию: «Много я перечитал разных писем о Пушкине, но всех хуже письмо из Сычевки Смоленской губернии Евдокима Коровкина... Толкуя как святоша, он забывает, что дар слова дан Пушкину богом и что Пушкин вступился не за женский пол вообще, а за честь своей законной жены, то есть за свою честь. И почему знает Коровкин, заслужил или нет Пушкин у бога царство небесное? Но памятники и торжества вполне им заслужены. Ведь и господь сказал: «Отдайте кесарево кесарю, а божие — богу». Поэтому есть время для того и другого» (№ 30).

Оставаясь на религиозной почве, защищал Пушкина и крестьянин Бирюченского уезда И. Подставкин. Он писал: «В № 25 «Сельского вестника» прочитал я письмо отставного вахтера Евдокима Тимофеева Коровкина о Пушкине и считаю нужным ответить ему следующее. Действительно, Пушкин скончался от раны, полученной на дуэли, но не за судницу какую-нибудь, а как сказано в том же Священном писании, на которое ссылается Коровкин, как «добрый пастырь, душу свою полагает за овцы», так и он расстался с жизнью за честь своей любимой жены, как воин, защищающий от врагов свое дорогое отечество».

Но были и письма другого характера, выразившие в бо-

лее или менее резкой форме прямое возмущение попытками оскорбить память Пушкина, представить его в глазах народных читателей «вредным». Из такого рода писем в газету попало только письмо крестьянина деревни Шима Ставропольской волости Е. Ефремова:

«В № 25 «Сельского вестника» было напечатано письмо отставного вахтера Евдокима Коровкина, который доказывает своим «внутренним человеком», «совестью», что наш всемирный писатель А. С. Пушкин царствия божия не наследует потому будто бы, что Пушкин за женский пол отдал душу свою в руки дьявола. Вот тут и думай, какие являются в Смоленской губернии предвозвещатели: знают уже, кому какая участь за гробом! Наверно, Коровкин многому на службе научился; жалею только об одном, что не знаю, в каком полку он служил. Но все-таки скажу, что таких отставных вахтеров, как Коровкин, у нас много, а про известного писателя А. С. Пушкина каждый скажет, что он был единственным человеком на всем земном шаре... Что касается памятника на Тверском бульваре в Москве, так это пускай Коровкин в свободное время подумает, для чего он поставлен и для чего вообще все так желают увековечить память великого писателя Пушкина. Вот уже сто лет прошло, как Пушкин родился. Он на свете мало жил, а много нам хорошего оставил. После смерти его осталось много написанных им книг, которые он оставил нам на вечную о себе память. Пушкин умер, а дела его не умерли, но живы». И в заключение Ефремов, мобилизуя весь свой сарказм, говорит: «Пускай Коровкин оставит такую о себе память, как оставил нам великий писатель Пушкин» (№ 27).

Возможность спора с Коровкиным, Шурковым и им подобными была осложнена уже тем обстоятельством, что их письма были напечатаны в официальной газете (напомним, в приложении к «Правительственному вестнику»), поэтому волей-неволей приходилось говорить общими фразами и намеками. Так, крестьянин П. Андреев из Шляпниковской области Осинского уезда Пермской губернии писал: «Молодежь наша, более читающая и более образованная, относится к Пушкину сочувственно, жалея о его преждевременной кончине; она видит в нем великого человека, употребившего свой дар на пользу родного народа. Конечно, очень многие, читая его сочинения, не понимают всего значения Пушкина. Но есть люди в простом народе, не только не понимающие значения Пушкина, но и с презрением относящиеся к его сочинениям как к богопротивным. Кто же это?

И что это за люди? Это старики, учившиеся по кириллице, часослову и псалтири, не понимающие высокого значения хороших писателей вообще и не понимающие также значения их сочинений». Таким образом, спор сводился здесь к противопоставлению нового и старого поколения крестьянства.

Еще более сложным было положение тех читателей, которые хотели возразить против предложения о замене постановки памятника Пушкину строительством церкви. В ответах противников этого предложения возможен был только компромисс. Действительно, такого рода ответы мы на страницах «Сельского вестника» и встречаем. Крестьянин из Высоковской волости Новгородского уезда Новгородской губернии А. Мельников, не соглашаясь с тем, что памятники не нужны и являются лишней тратой денег, писал: «Памятники необходимы и полезны. Это явный знак нашей благодарности, понятный как образованным людям, так и необразованному нашему крестьянскому миру. Памятник своим величием дает ясное понятие о величии того, в честь кого он воздвигнут». Но далее Мельников и предлагает компромисс: «...по моему мнению, вместе с памятником народным следует предложить открыть подписку на памятник духовный, то есть на построение храма в честь того святого, имя которого носил покойный поэт...» (№ 25). Но вслед за этим редакция, по-видимому для того, чтобы парировать это письмо, поместила другое — на этот раз не крестьянина, а князя Е. Еникеева из усадьбы Видомлиц Новгородской губернии: «Вполне присоединяюсь к превосходному, умному, золотому слову... о построении в память Пушкина храма-памятника. Дай бог, чтобы эта прекрасная мысль осуществилась».

Разумеется, не были опубликованы в «Сельском вестнике» и остались в архиве письма, подобные письму крестьянина Корабельникова, приведенному выше, и которые восхваляют Пушкина как защитника народа, обличителя царя и властей. Не было напечатано письмо Павла Макарецва из Симбирской губернии, который обличал Коровкина как врага просвещения и мракобеса. Он писал: «Нет сил умолчать насчет письма отставного вахтера Евдокима Коровкина, у которого в голове есть наука с двумя терминами — «свет» и «тьма»... Из дальнейшего в письме Коровкина видно, что к светлой науке можно причислить только описания жизни священномучеников и разного рода религиозные поучения, все же другое, написанное нашими русскими пи-

сателями, нужно, по мнению Коровкина, вместить в науку тьмы».

Далее Макарецв иронически восклицал: «Пушкин, наш родной поэт, слава, гордость России в такой немилости у вас. О, почтенный Коровкин, грозный вы судья!» Называя Коровкина «диким господином», автор письма далее возражает ему с наивным простодушием, но с безусловной логикой: «У вас, вероятно, есть жена? Оскорби ее какой-нибудь иностранец вроде Дантеса, убийцы Пушкина... Мне думается, вы заступитесь за свою жену; если не с леворвером нападете на оскорбителя чести своей благоверной, то с кулаком, я не сомневаюсь в этом, что ополчитесь на семейного врага, да едва ли сумеете простить такого оскорбителя своего при смерти своей». Смело возражает Макарецв и против предложения о замене создания памятников (как он опять-таки не без иронии пишет) «храмом до облаков»: «Я со своей стороны скажу, что в честь Пушкина есть храм в наших русских сердцах превыше облаков ходячих, именно тот самый «нерукотворный» памятник, о котором сам Пушкин сказал. Никогда мы, русские люди, не забудем Александра Сергеевича, будем вечные времена помнить его».

Очень интересно также ненапечатанное большое письмо, по существу целое сочинение, деревенского грамотея С. Д. Ковылкина (возможно, сельского учителя) из села Топовки Камышинского уезда Саратовской губернии. Автор просил редакцию: «В случае, где не так, прошу исправить», но изложенные им мысли разумны и верны. Отвечая хулителям Пушкина, Ковылкин пишет: «Нельзя забыть великого нашего поэта А. С. Пушкина за его «подвиг благородный», которым он усовершенствовал славу и гордость всей нашей матушки России... А тем лицам, которые считают произведения Пушкина пустым материалом для жизни и даже осуждают его, так сказать «воздают ему за добро злом», — скажу им словами самого Пушкина:

Поэт, не дорожи любовью народной,
Восторженных похвал пройдет минутный шум,
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

Веленью божию, о, муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца (?!) ¹⁴

Ты сам — свой высший суд,
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.»

«И, таким образом, наш великий поэт предвидел, что найдутся и такие люди, даже из просвещенного мира, которые будут по своей рассеянности ума ценить его талант, как ценил крыловский петух жемчужное зерно». По поводу же слов Коровкина, что в сочинении Пушкина он не нашел «для души утешения», Ковылкин пишет: «Очевидно, Коровкин полагает впредь, что книга Пушкина дополнительный Часослов, по которой можно молиться богу, а когда прочел ее и, не найдя ни одной молитвы ни перед обедом, ни после обеда, ни вечерней, ни утренней, то и не нашел в ней «для души утешения?» Любопытно, что в этом же своем письме Ковылкин упоминает и осуждает Писарева за то, что он считал Пушкина стихотворцем, не приносящим «никакой пользы России».

Таковы наиболее характерные выступления в этом, единственном в своем роде, споре крестьян дореволюционной России о Пушкине.

3. «Жизнь, добро и красота»

В письмах крестьян о Пушкине, в большинстве своем малограмотных или полуграмотных (хотя многие из них написаны живым, ярким народным языком), есть и наивные оценки, и странные уподобления, но несомненно, что в целом в этих письмах серьезное содержание — элементы стихийной народной эстетики и этики. Почитатели Пушкина из народа, разумеется, далеки от какой-либо книжной теории и не знают ее, чуждаются общих отвлеченных фраз о роли искусства. Мера этой роли определяется сопоставлениями стихов Пушкина о назначении поэта с содержанием его творчества. Именно потому в огромном количестве писем постоянно цитируется стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», именно потому оценки произведений Пушкина, его идей оказываются в письмах крестьян неразрывно связанными с живым обликом поэта. Общее же мнение о «пользе» пушкинского творчества метко отражено в словах одного из крестьян: «...в нем все вместе как-то есть, русская жизнь, добро и красота»...

В большинстве читательских отзывов Пушкин обрисован как учитель народа, человек необыкновенного ума, являющийся собой пример для подражания во всех трудных случа-

ях. По словам И. Окулова из села Красного Яра Верхнеудинского округа Забайкальской области, «малограмотный народ наш считает Пушкина весьма великим, или, по-мужицки, «мудрым» человеком и к тому же весьма добрым к бедному люду... Я со своей стороны могу сказать, что мало в свете таких людей, каков был Пушкин. Это какая-то воплощенная мудрость, воплощенный ум, человек без предрассудков и без барской спеси».

В сознании народа Пушкин уподоблялся богатырям, бесстрашным в борьбе за правое дело, оваянным славой, являющим собой немеркнувший пример для подражания. Вот одно из писем, где выражено именно такого рода представление о поэте: «Имея прямую душу, он (Пушкин.— Б. М.) не пропускал ни одного грязного дела, чтоб не заклеить публично его деятелей, отчего у него было много врагов в высшем петербургском обществе,— пишет крестьянин Краснополянской волости Елецкого уезда Орловской губернии Василий Козырев.— Поступая по высшему закону человека — совести, он ни в чем не имел себе соперников и оставался всегда полным победителем во всех прениях и спорах». Говоря о гибели Пушкина — «ударе», который был «выдумкой самого ада», автор письма рассматривает эту гибель как результат столкновения его, благородного борца за справедливость, с многочисленными врагами:

«Кто же убил его? Женский пол? — Нет.— Дантес? — Нет.— Но кто же, кто убил его?» На это следует ответ: «Петербург! Дантес был орудие Петербурга, а убийца — Петербург». Письмо заканчивается горестными восклицаниями: «О, Петербург, безжалостный Петербург, светило нашей отчизны, ты поднял руку на своего певца, на свое лучшее украшение, на великого Пушкина! Бедный, милый Пушкин! Все, кто сколько-нибудь имеет дар понимания прекрасного, все поняли и оценили тебя». Эта оценка выражена во многих крестьянских письмах, и не только прозой, но также и неумелыми, но горячими и искренними стихами. В неопубликованном, разумеется, четверостишии автор пишет:

Пушкин был защитник чести и свободы,
За то его восхваляют все народы,
Пушкин всем был друг и брат,
Его любить все будут, и стар, и млад.

Другой автор, Псковской губернии Новоржевского уезда Барановской волости деревни Лачуги, Г. Михайлов, восклицал:

Все думали, что дух Пушкина угас —
И не будит воли в нас...

Любопытен и вопрос, которым заканчивается стихотворение:

Теперь есть ли у нас
Такие добродетели,
Для несчастных радетели,
Такой ум и зоркий глаз,
Как Пушкин был у нас?

Далее автор так поясняет свой вопрос: «Многим и простолюдинам стало понятно, что Пушкин положил свою головушку не из-за жены, а из-за правды-матки, которую он резал всем тогдашним большим воротилам нашей матушки России и которые вооружили против Пушкина француза, но французу дешева была Россия, а дороги свои интересы... Но теперь-то, я думаю, что каждый простой русский человек в великой прискорбности вспоминать будет А. С. Пушкина. Он-то по делу первый начал раздувать маленькую искру в пламя на пользу тем, которые в то время не имели ничего собственного, а все было барское и сами-то они были не свои, а барские».

Понятие о народности Пушкина и его любви к родной земле выражено в крестьянских письмах в конкретных деталях, причем постоянно подчеркивается необыкновенная близость поэта к народу. Крестьянин Владимирской губернии Покровского уезда Кудыкинской волости — С. Павлов несколько раз подчеркивает эту черту характера Пушкина: «Пушкин скорбел о народе, любил его и не гордился перед ним, относился как с равным себе... Пушкин видел рабство, тяготившее народ, и жалел его, так как он понимал, что и раб такой же человек, как он сам, и также может страдать, мыслить и мечтать». Пушкин не только учил народ, но и учился у него. «Пушкин много обязан своей няне, старушке Ирине Иродионовне (Арине Родионовне.— Б. М.), вселившей ему своими сказками и рассказами чисто русский дух, драгоценный для поэтического творчества, и, ознакомившись с народной поэзией, восхищался от народной фантазии и ума:

А куда разумны шутки,
Приговоры, прибаутки,
Небылицы, былины
Православной старины...
Слушать так душе отраднo,
Кто придумал их так складно?

И не пил бы и не ел,
Все бы слушал, да глядел».

В другом письме крестьянина Гродненской волости Лужского уезда Нижегородской губернии Ф. Дорофеева о патриотизме Пушкина сказано: «Я, как выучившийся читать и писать в воскресной школе и прочитавший сочинения Пушкина, считаю его представителем русского чувства, воображения и увлечений. Этот человек излил в своих стихотворениях не свои лишь чувства, а чувства всего русского народа, за что русский простой человек глубоко ценит и уважает его славное бессмертное имя» (№ 20).

Замечательно, что самый облик Пушкина в крестьянских письмах предстает лирическим и интимным образом близкого и родного человека. Именно с такими чувствами обычно вспоминается памятник Пушкину. Крестьянин Т. Вилков из села Ивановского-Шуйского Яневской волости Суздальского уезда Владимирской губернии говорит: «Я теперь пишу, а мысли на Тверском в Москве и в Пушкинской в Петербурге пред монументами, у которых я бывал несколько раз. В Москве стоит он грустно задумчив, видно, его голову тяготили мысли, а какие? Не знаю, может быть, он думает об своих врагах, которых у него было много. И невольно срываются с языка слова Кольцова: «о чем дремучий лес призадумался» и проч. А в Петербурге как взглянешь на год и день его смерти, так слова и приходят сами Лермонтова «погиб поэт, невольник чести», и слез не нужен теперь хор. Заплакал бы, да некогда, пройдешь мимо его мельком в свободное время, а свободного времени у рабочего, сами знаете, 1 час в неделе, и то нужно весь город взглянуть».

Образ Пушкина как живого человека возникает и в письме крестьянина Могилевской волости Курганского уезда Тобольской губернии (подпись неразборчива): «Читаешь Пушкина или думаешь о нем, Пушкин сейчас же как живой, стоит перед тобой, улыбается, такой добрый, тихий, радостный, торжествующий и на все готовый для блага своего народа. И всегда Пушкин воображается таким, каким он рисуется на картинах, в каком-то халате с воротником и всегда без шляпы, с наклоненной немного головой. Чудный Пушкин, чудо природы, и больше такого не дождаться никогда». Близкими чертами рисуется облик поэта и в письме крестьянина Покровской волости Клинского уезда Московской губернии И. Воробьева: «Бог привел меня видеть его памятник в Москве, Я долго любовался им и, глядя на изо-

бражение Пушкина со склоненной головою, мне казалось, что он и в настоящее время настолько глубоко думает, что в мире никто не может этого понять» (№ 23). Неподдельное волнение ощущается в письме крестьянина Павла Никачалы из села Великого Самбора Конотопского уезда Черниговской губернии. Однажды он побывал в Киеве и попал в городской музей, «где собраны редкостные и любопытные предметы». Он рассказывает о своих впечатлениях: «Сколько мне встретилось тут разных художественных изображений, взятых из природы и человеческой жизни! И все мне было удивительно, но только как-то проходило мимо глаз, так как это были все древние лица, и я мало про них слышал и читал. Но когда я увидел Пушкина, то он мне показался как будто бы знаком или же точно односельчанин со мною. И я на него присматривался с большим удовольствием, как будто бы я его увидел живого. Он на меня смотрел, не сводя своих глаз. И лицо его казалось как будто бы в большой задумчивости. Он стоял чисто одетым, без шляпы, волосы на нем были кудрявые, шляпу с большими полями он держал в левой руке. И я этим случаем остался очень доволен, не жалея нисколько ни траты денег, ни времени. И мне очень захотелось, чтобы был со мной тут мой товарищ, с которым я учился и сидел на одной скамейке и с которым вдвоем мы учили наизусть стихотворения Пушкина и поверяли друг дружке свое удовольствие от его сочинений. Я думаю, что и друг мой остался бы теперь доволен» (№ 34).

Подлинное отношение народа к Пушкину окрашено в крестьянских письмах особым колоритом, который не могли воспроизвести никакие выпренные речи записных ораторов во время пушкинского юбилея 1899 года. Показательно само желание людей выразить свое отношение к поэту. Оценки эти в основном отличались только степенью грамотности. Вот, для примера, слова из письма полуграмотного крестьянина Богородской волости Ярославской губернии И. Пигунова: «...можно сказать, что г-н Пушкин очень любителъ делать для народа русскаго хорошее, на что имел всегда доброе и научное выражение и за что, можно сказать, навсегда вечная память рабу божьему г-ну Пушкину за его трудовые занятия в пользу всему грамотному народу».

Но что же подразумевалось под этой «пользой»? Заслуги Пушкина народ видел не только в прошлом, в истории, но также и в том, что он оставался другом, помощником, на-

ставником и сегодня. Следовать заветам Пушкина; его примерам и «урокам», морали его произведений, которые, как заметил один крестьянин, «нам в науку написаны» (№ 28), означало в понимании многих читателей выполнение великого долга перед памятью поэта.

Один из них рассказывал: «Во время пожара господского старого дома мне удалось спасти одну горевшую книгу, в которой сохранились чьи-то слова о Пушкине, что и меня побудило почитать его: «Ах, Пушкин, Пушкин! ужели твой сладкий голос, твои вольнозвучные октавы промчатся над нами, ничьим слухом не уловленные, ничьей душой не перенятые, без сочувствия и отголоска? ужели твоя могила ни в одном сердце не зажжет высокой и вдохновительной тоски, память твоих творческих дум не обновится поэтическим преданием, и мы только твоими же цветами будем осыпать гроб твой?..» Не знаю, почему и для чего, но я храню эти слова в моем сердце, помню наизусть,— и как Пушкину желаю царствия божия, так и тому, кто жалел о ранней смерти певца Петра и русской старины. Вечная тебе память, кавказский пленник,— не одну Россию ты пленил своими песнями, но и за пределами ее внимают глаголу твоему» (№ 32).

Для читателей-крестьян, преклонявшихся перед Пушкиным, «внимать глаголу» означало стремление соотнести самый смысл пушкинских творений с собственной жизнью. Пушкин «пробуждал и будет пробуждать добрые, теплые чувства» (№ 28).

Крестьянка села Грязнухи Симбирской губернии и уезда Ключищенской волости А. Васильева рассуждает так: при жизни Пушкина его «обижали и гнали за правду», «но зато теперь вся Русь узнала, кто был Пушкин», «а кто, в сущности, понимает, что сделал Пушкин для русского человека, кто заметил, сколько покойный уничтожил сорных трав на поле нашего отечества и сколько согрел сердец братской любовью, тот много найдет средства отплатить за это потрудившемуся безвозмездно человеку». Для этого «только следует — хорошо помнить прочитанное и *прилагать к жизни*. Вот этим добрым памятованием мы воздвигнем почившему памятник нерукотворный». Эту же мысль излагает в своем письме и крестьянин из села Беляево Дмитриевского уезда Курской губернии М. Носков. Он сообщает о себе: «Я из вольноотпущенных дворовых людей, обучался самоучкой и домашнего воспитания. Имел возможность прочитывать спрошенные книги. Читал сочинения разных писателей, как

и нашего незабываемого писателя Александра Сергеевича Пушкина, которым много вовлечен даже в самую жизнь... Его сочинения далеко увлекают жизнь и сердце «читателя». Пушкин, «непостижимый необъятностью его трудов писатель, оставил для нас память его умных, предначертанных молодому поколению хороших и добрых примеров на поприще их жизни, так я понял сочинения незабвенного писателя Пушкина, как маленький и простой человек. Поймут это и поколения простого народа...»

Более конкретно такое понимание заветов Пушкина и его творчества изложено в безграмотном по форме, но исключительно интересном по содержанию письме крестьянина деревни Головкино Гродненской волости Зубцовского уезда Тверской губернии — С. Никитина: Пушкин «показывал жизнь и науку», он учил узнавать людей: ведь человек «может представиться покровителем, а оказался губителем». Пушкин — пример и образец поведения, в этом суть основного содержания письма: он был за правду, «от того он не искал себе почета, более приставал к простонародию, потому что простонародье скорее возьмет пример, к чему он расположен». Далее о Пушкине говорится: «Если бы он не имел в себе правды, не пошел бы на дуэль, а как пошел на дуэль, то больше засвидетельствовал свою правду, ради правды не пожалел своей жизни». Сопоставляя поведение Пушкина с примерами из окружающей жизни, Никитин заключает: «А мы ради приятеля или богача какого-нибудь говорим облыжные слова, клеветаем... Только такие люди не пойдут на дуэль...»

Инстинктивное стремление извлечь из творчества Пушкина программу жизненного поведения сквозит и в письме крестьянина-лесника Нарымского лесничества Астраханской губернии М. Мурыгина. Он пишет: «Читал я сочинения А. С. Пушкина и заучил наизусть некоторые его стихотворения, о которых забочуся, чтобы не забыть мне таковые по гроб моей жизни, и сохраняю их якобы «Символ веры», каковыми руководствуюсь в своей обыденной жизни... Мы должны читать с большим вниманием и знать значение каждого написанного слова сочинения нашего поэта А. С. Пушкина и при случае должны руководствоваться ими как бы законом». Обратите внимание: *«как бы законом»!*

Любопытны в письме и простодушные попытки сделать прямые выводы из того или иного произведения Пушкина. Так, по поводу «Сказки о рыбаке и рыбке», написанной «в

самом простом русском слоге», Мурыгин заключает, что она «должна удерживать, во-первых, от зависти, а во-вторых, от властолюбия». Размышления о связи произведений Пушкина с крестьянским бытом, с правилами жизненного поведения содержатся и во многих других письмах. О смысле баллады Пушкина «Утопленник» читательница из деревни Чешуйки Марьянской волости Черниговского уезда Марфа Матвеевская пишет: «Каждого, сделавшего нехорошее дело, всегда будет мучить совесть». Читатель Н. Поройков из села Окулово Меленковского уезда Владимирской губернии рассматривает в качестве типичного жизненного примера сюжет пушкинского стихотворения «Под вечер осенью ненастной», в котором Пушкин «душевно, как бы своими глазами», смотрит на героиню, вынужденную «с тоскою и горестию на душе» пожертвовать «тайным плодом любви». Кстати говоря, рассуждения на тему любви в связи с произведениями Пушкина очень часто встречаются в крестьянских письмах. В упомянутом выше письме Т. Вилкова замечено: «Иные говорят, что Пушкин писал больше про любовь. И я скажу, да, это правда, писал, а любовь — это разве не священное чувство? Разве она не достойна поэтического впечатления?» Из такого понимания любви исходит и Николай Маслов из Алтырского уезда Симбирской губернии (село указано неразборчиво). В эпизоде поэмы «Полтава», в котором Мазепа соблазняет Марию, он видит осуждение поэтом «преступной любви», приносящей лишь несчастье. Более широкие выводы делает этот же автор из поэмы «Медный всадник»: «Читая поэму «Медный всадник», можно много-много зародить добрых пожеланий каждому из нас». Поэма о создании Петербурга и Петре — как преобразователе России — рассматривается как восхваление умения «добыть доступ ко всякому делу», то есть преодолеть любые препятствия в труде. Все эти примеры из крестьянских писем, которые иногда говорят о прямолинейности и наивности автора, тем не менее свидетельствуют о глубоком, свойственном народу восприятию образа и творчества Пушкина в теснейшей связи со своей повседневной жизнью и ее требованиями.

Если попытаться определить общепринятыми литературоведческими понятиями безыскусственные мудрые мысли читателей-крестьян, то придем к заключению, что для них главное в пушкинском творчестве, — значительность сюжета, правдивость изображения, его познавательная ценность, героические характеры, высота этических норм. Для примера

приведем характерное письмо крестьянина из деревни Филипповка Мартыновской волости Ерусланского уезда Самарской губернии — П. Епанешникова:

«Более всего нравятся нам книги исторические или по крайней мере похожие на историю, и притом такие, в которых говорится или о крупных событиях, или об интересных явлениях жизни, о видных или замечательных чем-либо людях и о героях, проявивших в чем-либо большую силу воли, чрезвычайную твердость и мужество или вообще отличающихся чем-либо выдающимся».

«К числу именно таких повестей, как известно, относятся и сочинения Пушкина, следующие его сочинения: «История Пугачевского бунта», «Капитанская дочка», «Дубровский», «Пиковая дама», «Арап Петра Великого», «Повести Белкина», и в особенности последняя из них — «Барышня-крестьянка». Все эти сочинения Пушкина читаются народом более всего и с особенной любовью, потому что каждая из этих повестей считается истинным происшествием, «былью». А это самое для нас важное, самый, можно сказать, смак книги. Стоит только сказать читающему книгу, что в этой книге описывается не быль, а так себе — выдумка сочинителя, как тотчас же эта книга теряет для читателя ее всякий интерес; поэтому большинство из нас никаких нынешних романов не читает, кроме разве так называемых исторических, в которых мы уже не подозреваем никакой фальши или выдумки, ибо в них видится любимая нами быль-правда. Сказку читать мы также любим, хотя и знаем, что в ней не истинное происшествие, не быль. Но это совсем другое дело: сказку мы начинаем любить чуть ли не с пеленок. Сначала, когда мы еще слишком малы, мы сказку любим просто слушать и слушаем ее просто как быль, с замираньем сердца; затем постепенно привыкаем к мысли, что это не быль, а сказка-«складка», то есть сочинение, но все-таки говорим ее друг другу ради удовольствия: одним — послушать сказку вместо чтения, а другим, младшим, — в поучение; и при этом иногда и рассуждаем, что есть в сказке хорошего и доброго и что — дурного или злого. Хорошему из сказок мы мысленно стремимся подражать и восхищаемся им, а на дурное негодуем или смеемся над ним, и вот сказка делается нам наукой, уроком без помощи учителя, однако же уроки эти укладываются в нас еще, пожалуй, лучше, чем в училище. Поэтому из стихотворений Пушкина мы охотно читаем одни лишь сказки, и то не все, а только некоторые; прочие же все стихотворные сочинения Пушкина

нам мало нравятся почему-то, а почему именно — я этого объяснить не умею. И такое, например, прекрасное произведение Пушкина, как «Евгений Онегин», к сожалению, тоже не особенно интересует нашего брата-мужика, и читается немногими и не так охотно, как повести Пушкина. Сколько я ни допытывался узнать этому причину от берущих у меня читать эту книгу, но добиться ничего путем не мог. Один, впрочем, страстный деревенский любитель чтения из мастеровых (иконописный позолотчик) говорил мне об этом сочинении так: «Ну, что же в нем хорошего, не быть (быть, по его понятию, стихами не пишется) и не сказка, а так себе что-то такое... между правдой и ложью, — поэтому, говорит, оно мне ничуть не нравится, а также не нравится и другим, которым я читал его...» Другие же, которым я давал эту книгу, так просто отмалчивались на мои расспросы, по всему заметно, что некоторые ее даже не дочитывали, — вот и все, чего я мог добиться от читавших «Евгения Онегина».

В заключение автор письма (возможно, сельский учитель, во всяком случае «грамотей») еще раз подчеркивает, что нравятся народу произведения, в которых подразумевается «истинное происшествие — «быль». На вопрос о том, почему именно и какие произведения Пушкина нравятся народу, он пишет: «Отвечаю: потому что главным образом, во-первых, что в них подразумевается быль, истинное происшествие, а во-вторых, потому что оканчиваются они все в духе наших желаний, то есть благоприятно для героев, как, например, в «Капитанской дочке» или в «Барышне-крестьянке»; в «Дубровском» же окончание хотя и неблагоприятно для героя, но зато он сам — такой доблестный и отважный, о каких мы любим вести разговор и которых мы долго всегда помним».

Как мы видим, в оценке истинности, правдивости произведения народный читатель отделяет сказочную фантастику (в которой, как, например, в «Сказке о рыбаке и рыбке» он также видит конкретный жизненный смысл от обычных литературных сюжетов). Истинность же, правдивость литературного сюжета («быль») может быть установлена им только в случае, если он хотя бы в какой-то мере может сопоставить изображение или с собственным жизненным опытом, или с какими-либо накопленными знаниями. Именно потому (а не только из-за затрудняющей чтение стихотворной формы и многих непонятных необразованному человеку реалий) народным читателем отвергался (это

подтверждается также другими письмами) «Евгений Онегин». Самый герой его, разочарованный и пресыщенный, был, конечно, совершенно чужд мироощущению крестьян, которые, по словам Епанешникова, любят произведения, где «говорится или о крупных событиях, или об интересных явлениях жизни, о видных или замечательных чем-либо людях и о героях, проявивших в чем-либо большую силу воли, чрезвычайную твердость и мужество или вообще отличающихся чем-либо выдающимся».

Вообще *правдивость как критерий оценки* отмечается в читательских письмах очень часто: «...я... много читал, а именно: «Капитанскую дочку», «Дубровского», о Пугачеве, о Кочубее и Мазепе и многие другие рассказы и стихотворения... Они очень нравятся потому, что правдивы и увлекают каждого продолжать чтение», — пишет крестьянин села Болдино Лукьяновского уезда Нижегородской губернии Д. Киреев. О том же самом рассказывает Н. Мамонова из Солдатской волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии: «Когда я начала 16 лет читать повести, то прежде всего мне понравился незабвенный знаменитый наш писатель Пушкин. Он писал правду из семейной жизни во времена крепостного права». При этом восприятие художественных образов у читателя-крестьянина является настолько сильным и ярким, что он вымышленных героев воспринимает как реально существовавших и даже существующих: «Это действительно был гений, который своими песнями может заставить каждого человека, читающего его сочинения, содрогнуть душой и сердцем, как например: читаешь его сочинение о Полтаве, гетмане Мазепе, Кочубее и Искре, «Капитанская дочка», «Кавказский пленник» и проч., просто невольно заставляет подумать и поинтересоваться, читая, и как будто и сам там находишься и все у тебя перед глазами» (крестьянин села Нижнерусского Бишкина Харьковской губернии Ниевского уезда Лиманской волости Т. Калашников). Или в другом письме: «Повесть «Дубровский» после прочтения оставляет на душе глубокое и грустное впечатление: как становится жалко бедного молодого Дубровского, которого помещик Троекуров (если не ошибаюсь, потому что повесть эту читал я десять лет тому назад) своими жестокостями довел до крайности, выгнал из родительского дома и заставил сделаться страшным атаманом разбойничьей шайки, имя которого наводило страх и ужас на все окрестности! Но при всем этом, читая повесть от начала до конца, все-таки жалеешь в душе горемычного Дубровско-

го. Но зато и Дубровский показал себя помещику, — торжествует читатель, — выжег дотла его усадьбу».

Одни читатели признаются, что произведения Пушкина для них прежде всего источник узнавания прошлого своей родины: «Он дал понимать человеку, как жили на православной Руси в старые годы» (крестьянин Конотопского уезда Черниговской губернии, фамилия неразборчива). Или другое признание И. Воробьева из Покровской волости Клинского уезда Московской губернии: «Больше всего меня интересуют его стихотворения, например: «Полтавский бой», «Казак» и «Кочубей в темнице» (названия, по-видимому, даны составителем какой-то хрестоматии. — Б. М.). По этим стихотворениям я немножко обучился истории России и узнал о кровопролитной битве со шведами, о мужестве на поле сражений и великом уме Петра Великого, а также о шведском короле Карле XII и гетмане Мазепе. Узнал их лукавые замыслы и о верности царю невинно казненных Кочубея и Искры. Затем узнал из сочинения Пушкина про Бориса Годунова, как его мучила совесть и как постигла небесная кара за его покушение и т. д. За все это я очень благодарен Александру Сергеевичу Пушкину» (№ 23).

Сегодня литературоведы расценили бы такого рода восприятие художественных произведений как сведение творчества к своеобразным литературным иллюстрациям истории. Но у читателей, находившихся на более высокой ступени развития, признание познавательной ценности произведений Пушкина сочетается с пониманием их актуальности и с ярко выраженным эмоциональным восприятием. Таково, например, письмо крестьянина П. Андреева из Шляпниковской волости Осинского уезда Пермской губернии. Он также признает, что «исторические повести, романы и т. п. занимают более взрослых и более начитанных крестьян. Из них всего более читается «Полтава», «Капитанская дочка», «Борис Годунов» и «Кавказский пленник». Эти произведения он, однако, рассматривает шире, чем предыдущий читатель: «В них особенно привлекает внимание народа историческое содержание и живые лица и события, изображенные в занимательной и яркой картине. «Полтава» занимает читателя вот чем: он видит Кочубея, крепко преданного Петру; простолудин, любя своего государя, при казни Кочубея относится к нему сочувственно. К Мазепе читатель относится с отвращением, как к изменнику своего государя. Полтавский бой приводит читателя в восторг: «Ура! Мы ломим; гнутя шведы». «Мы ломим, а шведы гнутя», — воеб-

ражает читатель и делается как бы участником этого дела, как будто он сам произнес это грозно-торжественное «ура!». В «Капитанской дочке» читатель ясно знакомится с происходившими прежде мятежами. В «Годунове» простолюдин негодует на поступок Годунова, несправедливо захватившего престол. Простолюдин видит в самозванце божие наказание, посланное Борису за убийство Дмитрия; читатель находит Годунова достойным этого наказания, но сожалеет о бедствии народа». Здесь, как мы видим, читатель как бы осовременивает историческое изображение, воспринимает его субъективно и страстно, точно так же, как и другие произведения Пушкина, уже не на исторические темы:

«Кавказский пленник» также занимает простолюдина, так как в нем изображено страдание в плену русского человека, описывается его положение, его действия: здесь читатель воображает, что это могло и с ним бы случиться» (№ 28). Следовательно, и произведения исторические, и «Кавказский пленник» в равной степени волнуют читателя, он становится в воображении как бы участником воспроизводимых событий, а это могло произойти лишь в том случае, если с точки зрения психологии восприятия идеи и сюжета в той или иной степени сохраняют для него свою злободневность.

Высокая оценка и, как сказал один из читателей, «уважительное» отношение к Пушкину были основаны, наряду с признанием многих достоинств его творчества, на понимании выраженных в нем норм морали. Произведения Пушкина, как отмечается во многих письмах, облагораживают душу, помогают «искоренять ложь и ненависть и другие пороки». Естественно, что в читательских откликах, которые шли из патриархальной деревни, постоянно замечалось стремление истолковать пушкинские произведения в духе религиозном. Но вместе с тем они часто привлекаются для иллюстрации правил *народной житейской этики*.

Никогда не пользуясь словом «гуманизм» (и не зная его), читатели-крестьяне имели в виду, по существу, именно эту особенность пушкинского творчества, когда говорили и о его отношении к «простым людям» и о том, что он всегда осуждал все, что противоречило «добру». Именно в этом смысл рассуждений одного из малограмотных читателей, который писал, что Пушкин, рисуя человека жестокого или лжеца, обличал его, «дабы человек понял, что он похож на какое-то животное или насекомое... А такое сочинение для народа очень интересное...» Как мы уже упомина-

ли, в письмах встречаются многократные применения «Сказки о рыбаке и рыбке» к различным эпизодам крестьянского быта и всякого рода размышления на эту тему. «Сказка о рыбаке и рыбке» имеет глубокий нравоучительный смысл для людей скупых и алчных к легкой наживе, богатству и достижению славы» (Л. Коленов, станица Нижне-Озерная Оренбургского уезда, № 34).

Длинное письмо посвящает этой теме крестьянин деревни Сергеевки Салонянской волости Екатеринославской губернии И. Подгорный. Свое письмо он «по-ученому» называет «сообщением»; перечисляя многие прочитанные им произведения Пушкина, он пишет: «Но более всего меня интересует «Сказка о рыбаке и рыбке», она представляется смешною, но если хорошенько всмотреться в это сочинение, то в нем есть сущая правда, и даже поучительное; в нашем малообразованном крестьянском быту немало найдется примеров, как в сказке, если жена попадетсЯ сварливая и ни в чем не расчетливая, а, как говорится, с большим зубом и возьмет власть над своим простоватым мужем, тогда все дела пошли в грязь; водит мужичка своего за нос, и ему, горемыке, неоднократно придется ходить к синему морю, к золотой рыбке с поклоном за всякими снадобьями. Набрал муж жене на сарафан, она посмотрит, не понравилось — начинает его бранить: дурачина, простофиля, как упомянутая в сказке старуха, и что мужичок ни справит своей старухе, то все ей не уноровить. И так во всех отношениях продолжается жизнь такого мужа-пленника, угнетаемая капризами жены. Хорошо, если мужичок вскоре хватится за ум и толково примется за дело над женой и подберет ей нос, то сделает переворот на свой лад, а если ослабеет и оставит свою владелицу-жену ходить на просторе, то когда возвратится в последний раз от золотой рыбки, найдет прежнюю землянку и сидящую на пороге плачущую старушку, свою жену, и перед ней разбитое корыто». В этом забавном «приноровлении» пушкинской сказки явно чувствуется горькая судьбина человека, изрядно настрадавшегося от характера своей сварливой жены. Предыдущий же читатель (Л. Коленов) более глубоко понял смысл сюжета. Восторженное упоминание «Сказки о рыбаке и рыбке» почти во всех письмах говорит о том, что народ ценил в ней не только, так сказать, бытовую мораль, но и антидворянскую тенденцию. Как справедливо отмечает новейший исследователь баллад и сказок Пушкина Р. М. Волков, «образ «вольной царицы» в сказке близок к тому наивному представлению о царе,

какой был у пугачевцев... причем в сказке подчеркнуто, как далека царица от народа: «служат ей бояре, да дворяне», охраняет ее, ограждая от простого люда, «усердная стража», отношение царицы к народу охарактеризовано обращением старухи царицы к мужу-мужику: «На него старуха не взглянула, лишь с очей прогнать его велела»¹⁵.

Осуждение крестьян вызывает и «неблагородное поведение в любви». В связи с этим в письмах встречаются негодующие тирады по поводу «связи крестного с крестницей» — Мазепы и Марии, обличаются люди, на которых ложится вина за судьбы девушек, подобных описанной в стихотворении Пушкина «Под вечер осенью ненастной». Крестьянин М. Швоков из Онуфриевской волости Кологривского уезда Костромской губернии хвалит поэму «Граф Нулин» за то, что такого рода сочинения «заставляют думать об нашей нравственности» (№ 30). Как мы видим, в связи с творчеством Пушкина в читательских откликах затрагиваются самые различные вопросы этики.

Сложнее всего определить в крестьянских письмах критерии оценки тех или иных произведений с точки зрения художественной, так как понимание собственно эстетических качеств творчества требует относительно более высокого уровня развития читателя. Но тем не менее и эта сторона вопроса нашла в откликах свое отражение.

Попытаемся сопоставить на некоторых примерах мнения крестьян о тех или иных достоинствах произведений Пушкина и его творчества с общепринятыми теперь критериями художественности.

Нередки в письмах общие характеристики сочинений Пушкина такого рода: «Сочинения Пушкина... я любил более, чем другие книги, за их интерес, красоту, живость и бодрость» (И. Шевелев из Бердюшской волости Ишимского уезда Тобольской губернии). Многократно отмечается простота и ясность пушкинских стихов. Но наиболее интересны те отклики, в которых сквозит ощущение читателями яркой образности и эмоциональности пушкинского творчества. Термин «образ» в письмах, конечно, не встречается, но он эквивалентен часто употребляемому выражению «картины». Точно так же не встретим мы в крестьянских письмах, разумеется, и термина «эмоция», но часто наталкиваемся на равнозначное слово «чувство». Крестьянин П. Андреев из Шляпниковской волости Осинского уезда Пермской губернии пишет, что в сочинениях Пушкина «увлекают наших читателей не мысли писателя, а лица, им созданные», Из

дальнейшего изложения можно заключить, что автор хотел противопоставить, по существу, не образность идее (мысли), а живое изображение лиц отвлеченному рассуждению. Так, далее он пишет: «Все чисто сказочные, но и яркие подробности простому народу очень нравятся и кажутся ему занимательными и забавными. Например, это место: «с ресниц, с усов, с бровей слетала стая сов» («Руслан и Людмила»). Из рассказа П. Андреева следует, что слушателей особенно привлекали образные и яркие живописные детали. Эта же особенность читательского восприятия обусловила, как мы видели, особое одобрение «Полтавы», «Капитанской дочки», «Бориса Годунова», «Кавказского пленника». Эти же качества пушкинского творчества отмечаются, по существу, и в отклике крестьянина П. Морозова (Агафеновская волость Таганрогского округа): здесь говорится о «молодых ясных оттенках» в пушкинских стихах, о том, что в них *«является живая картина»*.

Высоко оценивается способность Пушкина с такой отчетливостью воссоздавать неизвестную читателю жизнь, что он словно видит изображаемое: «...читая произведения его, невольно увлекаешься и уносишься в неведомые страны, где чувствуешь себя как бы зрителем осуществления и действия пылкой его фантазии» (Н. Паладин из Студенец-Соломинской волости Моршанского уезда).

С восторгом пишет о пушкинских образах природы крестьянин Кудыкинской волости Покровского уезда Владимирской губернии С. Павлов. «Пушкин описывал в стихах природу, как живописец, со всеми ее прелестями, так прекрасно и ясно, и особенно с живым участием открывал народную действительность». Здесь весьма любопытна деталь характеристики: «особенно с живым участием», то есть не бесстрастно, а с отчетливо выраженным отношением. Эту черту пушкинского творчества Павлов связывает с умением поэта видеть то, чего другие не замечают: «Пушкин есть истинно поэт-гений, который так любил свой народ, родную природу и с таким глубоким впечатлением ко всему относился, чего другие даже и не замечали того и проходили мимо». В качестве примера далее приводятся отрывки из «Евгения Онегина» («Зима... крестьянин, торжествуя»), стихотворение «Зимний вечер» и «Бесы».

Среди крестьянских писем, где так или иначе затрагивается вопрос о художественных эстетических достоинствах пушкинского творчества, особенно следует выделить письмо крестьянина Могилевской волости Курганского уезда То-

больской губернии (подпись неразборчива). Автор не обладает умением излагать свои мысли, выражает их в примитивной, наивной форме, но в основе их сквозит понимание умения Пушкина раскрывать возвышенное и прекрасное в привычном, обыкновенном и повседневном. Ведь по сути именно эту изумительную способность Пушкина имеет в виду автор письма, когда говорит:

«О чем бы Пушкин ни писал, все у него пело и торжествовало, пел у него простой русский деревенский плетень... Он зиму суровую претворил в красавицу лучше лета, да и что было бы русскому без родной зимы, подумайте, и кто бы это мог сделать, кроме Пушкина, припомните, что и простые русские дровни поют...»

«Что же это такое, что Пушкин так верно и прекрасно умел изображать все русское, да и диво ли это, а вот что диво, что сам он создателем мира был вырван из всей природы бытия и сгруппирован в одно целое, «в Пушкина» для показания чуда на святой Руси... Пушкин возвел простую русскую женщину на пьедестал недосягаемости». Продолжая развивать свою мысль о том, что у Пушкина «все поет», автор письма далее пишет: «К чернильнице», а «К няне» — голубушке, что это за чудесные творения! Простой чернильнице, может, трехкопеечной, Пушкин сотворил дно неисчерпаемого сокровища, он сотворил ее своей отрадой и утехой, и всем. А кто бы это сделал, кроме Пушкина? Никто! Из простой деревенской крепостной дрянной старухи что Пушкин сотворил? Красоту, голубушку... претворил в прелесть, и эту самую простую дуру деревенскую, нетесанную... неграмотную, Пушкин сумел поставить (в) зависть всем народам, сделал из нее умную, добросердечную красавицу. Это ли не чудо творения, и можно ли чего у Пушкина начитать досыта?.. Чем больше читаешь Пушкина, тем больше хочется читать». Во всем этом — причина того, что «всякий стих Пушкина как-то особенно действует».

Восторгаются читатели из народа и глубокими чувствами, которыми проникнуты произведения Пушкина и на которые они рождают глубокий отклик. Крестьянин Н. Кузнецов (Солторайская волость Курганского уезда Тобольской губернии) пишет: «Да, Пушкин вдунул в свои произведения народный дух, он проник в тайны человеческого сердца, уразумел человеческие мысли. Вот каким великим и редким даром он награжден был от природы!.. Нет села или деревни, где бы не знали Пушкина и не пели его простых песен, которые отличаются глубоким чувством и

понятны для народа. Вот почему происходит любовь народа к Пушкину и к его прочувствованным песням. Народ любит простоту каких бы то ни было песен, но чтобы в них проявлялось чувство. Так как в песнях Пушкина много теплого чувства с задушевной простотой, то поэтому народ любит их. Это чувство передается и народу, в чем и заключается великий талант нашего Пушкина. Он пробуждал и будет пробуждать добрые, теплые чувства и в грядущих поколениях» (№ 28). О «чувствах» (то есть эмоциональности) пушкинской поэзии подробно говорит упомянутый выше читатель С. Ковылкин. Он начинает с общих размышлений на эту тему: «Как мы беспрестанно испытываем различные впечатления от предметов, беспрестанно в душе нашей появляются мимолетные, разнообразные чувствования. Поэт изображает такие впечатления и чувства, оказывает большую услугу людям. Без него много прекрасных чувств и благородных стремлений было бы забыто нами, они появились бы в нас на минуту и тотчас исчезли бы под влиянием разных житейских забот и мелочей. Поэт, умеющий прекрасно изобразить сердечные чувства, дает нам прочное напоминание о нем и вновь вызывает из глубины души то, что прежде было заглушено в ней». Примером такого поэта и является Пушкин: «Песни же великого нашего поэта А. С. Пушкина выражены с большим искусством... потому что чувства его более глубоки, сознательны и впечатлительны... Во всех его произведениях нет положительно никакой лести и ничего нет нелюбопытного, но, напротив, всюду чрезвычайное любопытство» («любопытство» родственно здесь, конечно, пониманию поэзии как «общеинтересного» в жизни).

Судя по уровню образования авторов приведенных писем (большой частью это или самоучки, или окончившие один-два класса церковноприходской школы), им были совершенно неизвестны, за редким исключением, какие-либо критические очерки творчества Пушкина (как мы увидим ниже, сельские учителя, как правило, не сообщали ученикам даже самых элементарных сведений о биографии Пушкина). Тем более ценными являются замечательные проблески понимания роли Пушкина и его творчества.

Живая картина восприятия Пушкина крестьянами встает из неопубликованного письма одного из «любителей-читак» (то есть из чтецов сочинений Пушкина односельчанам) Д. Палертева (из деревни Пушкари Выездновской волости Арзамасского уезда Нижегородской губернии):

«Это было в субботу, зимой, народу собралось много, так что я им обещался обязательно принести книгу о Пушкине. Читали мы книги у моих соседей и к ним собирался народ чуть не каждый день, так как зимой время свободное, а вечера долгие. Пришедши... с книгой, меня народ спросил первым делом, который уже собрался: «Какую принес книгу?» — послышались из толпы голоса. Я отвечал, что об А. С. Пушкине: Народ пришел в восторг. «Нам давно хотелось послушать», говорят, которые не слыхали еще его сочинения, об его славе уже знали... Сев за стол, я начал читать первый, так как нас читало трое наперемену. Чтение началось с «Капитанской дочки». Кончил ее я читать, народ до того пришел в восторг, что со всех концов избы было восклицание: «Ай да Пушкин! Вот так поэт! Недаром об нем гремит слава на всей России». Вторую книгу начали. «Дубровский» читать начал мой товарищ. Когда товарищ дочитал «Дубровского», то народ до того пришел в восторг, что меня чуть не целовали за то, что принес им книгу, а Пушкину до того возносили славу, что если б он был живой с ними, то, кажись, расцеловали бы ему руки и ноги. В этот вечер мы читали до 4 часов утра с вечера. И с сердечной скорбью расстались с чтением, я и слушатели. Я стал ходить с книгой до тех пор, пока все ее кончили. Читая народу «Полтаву», народ, слушавший, до того расстроился, что некоторые утирали слезы на глазах. Когда я заявил народу, что книга уже вся, то народ сказал: «Мир праху твоему, великий поэт, А. С. Пушкин!»

Живая сила пушкинского творчества преодолевала сопротивление староверов, которые «ученикам воспрещают дома читать богохульные сказки», а заставляют читать Псалтырь (сообщение крестьянина Варнавинского уезда Костромской губернии Ф. Мутовкина).

Итак, из обнаруженных нами материалов проясняется подлинное отношение читателей из народа к творчеству Пушкина. Картина, как мы убедились, довольно интересная и сложная, основанная на мнениях и оценках крестьян, в той или иной степени знакомых с его сочинениями.

4. Предания и легенды

Нам остается ответить на вопрос: что знала деревня о биографии Пушкина? Некоторые сведения об этом мелькали и в письмах, о которых говорилось выше. Но есть и та-

кие, где на эту тему рассуждают подробнее. Многие письма подтверждают, что знание произведений Пушкина и восхищение ими часто совмещалось с полным неведением даже имени автора. Вот несколько любопытных писем. Крестьянин из Алатырского уездного округа Симбирской губернии Ардатов пишет: «Я делал опыт и многих спрашивал о великом писателе Пушкине. Хотя многие читают его сочинения, но никто не обращает внимания на это, что кто сочинил, лишь было бы для него интересно». А между тем, по сообщению этого же крестьянина, в его местах «сочинения читаются следующие: «Капитанская дочка», «О царе Салтане», «Золотая рыбка», «Арап Петра Великого» и «О мертвой царевне». Крестьянин села Новопятницкого Горской волости Ямбургского уезда А. Пикалев с удивлением узнал, что любимые им стихотворения «Зима», «Утопленник» и много других оказались теперь произведениями Пушкина». Имя Пушкина он не связывал с этими произведениями до юбилея 1899 года, когда узнал кое-что об авторе, хотя самую фамилию слышал в следующем стихотворении: «Ворон к ворону летит, ворон ворону кричит: ворон, где б нам пообедать, как бы нам о том проведать, ворон ворону в ответ, знаю, будет нам обед: в чистом поле под ракитой богатырь лежит убитый — Пушкин». Редкий случай приурочивания стихотворения поэта к его же собственной судьбе!

В незнании биографии Пушкина даже значительной частью грамотных и читающих людей была повинна и система обучения в сельских школах. Об этом мы узнаем из письма крестьянина села Сметанина Яранского уезда Вятской губернии И. И. Наумова: «Наш малограмотный крестьянин ценит сочинения, а не сочинителя. Конечно, более виноват в этом не крестьянин, а учивший его грамоте учитель. Ранее учили так. Я, например, скажу про себя. Я учился в народном училище, экзамен сдал в 1879 году. В настоящее время мне 29 лет. В эти недавние годы учение производилось вовсе не так. Например, зададут нам какое-нибудь стихотворение выучить, учитель спрашивает тебя, ты начинаешь с первого слова стихотворения... Нонче, когда ученика спросят, он первым делом высказывает заголовок статьи, а потом объяснит, чье произведение. Вот эти будущие крестьяне знают и будут знать, что такое сочинитель...» «Я случайно читывал его стихотворения и знаю, что был писатель Пушкин, но никакой истории об нем читать не доводилось», — признается в письме крестьянин Ф. Ключев из Тагильского завода. По этой причине он просит редакцию не

печатать его отклик: «на стыд моего перед Россиею лица».

Из деревни Козлово Новоторжского уезда крестьянин Д. Кирсаков с огорчением писал, что среди его односельчан многие «о Пушкине и понятия не имеют. Начни такому говорить или читать произведения Пушкина, а он, в свою очередь, спросит вас: «Кто же этот был Пушкин,— анерал и аблакат?» Вина этому малограмотность, отсутствие школ. Для того чтобы «узнал наш народ всех великих людей родной земли, не только Пушкина, Гоголя и Белинского, а многих и других печальников и песенников русской земли», этот читатель предлагает увековечить память Пушкина открытием не храма, а хотя бы одного училища на волость. Встречаются вместе с тем и письма курьезные. Так, казак Иван Русаков из станицы Краснокутской, почти неграмотный и еле-еле нацарапавший свои каракули, с трудом поддающиеся разбору, решил, что не редакция «Сельского вестника», а сам Пушкин обращается к читателям с просьбой сообщить, что они о нем знают. И казак отвечает ему (в этом курьезном случае сохраняем орфографию и синтаксис): «Милостивому Государь Пушкин. Вы пишете, чтобы Мы вас уведомили, что вас знаим илинет но то Мы до сех пор не знали о ваших Сочинениях. А таперя Мы выдим что очинь онтиресное чтения и любопытное». Далее в письме Пушкину сообщается о стихийных бедствиях, которые произошли в станице (град, который выбил весь хлеб), и в конце следует просьба прислать какую-нибудь книгу.

Некоторые любители Пушкина по собственной инициативе производили своего рода обследование, для того чтобы выяснить степень знания Пушкина в народе. Вот толки в связи с сообщением о юбилее Пушкина, записанные в селе Малышеве Спасского уезда Тамбовской губернии:

«Приходится слышать такие, например, разговоры в группе крестьян, собравшихся в правлении или на улице:

— Что, ребята,— начинает какой-нибудь любознательный мужичок,— чай, недаром, батюшка панихиды в церкви служил, сказывал об Александре Сергеевиче Пушкине— должно, велик человек был Пушкин-то?

— Как не велик? Знамо, важная птица,— продолжают в толпе.

— А вот к примеру сказать,— продолжает любознательный,— был Суворов, то ведь какой был генерал, сколько турок побил, и то ему так не справляют. Это, сказывают, Пушкина-то вся Россия одобряет, должно, этот похлеще Суворова будет, а?

— Пожалуй что и похлеще,— соглашаются мужички».

По этому поводу сельский корреспондент печально заключает:

«На ум невольно приходят слова другого поэта:

В столице шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России,
Там вековая тишина...»

А вот другая, еще более любопытная запись, оставшаяся в архиве, так как в ней имеются мотивы, никак не устранившие редакцию «Сельского вестника». Пишет крестьянин, сообщающий о себе, что он уроженец глухой местности, и не подписавший свой отклик. После школы он поехал в Петербург, где занимался отхожим промыслом. В его письме содержатся сведения об отношении народа к Пушкину, о всяких предположениях по поводу его гибели:

«Я стал... прислушиваться к народной молве, более всего к таким серым, как и я... в местах где-либо перед бюстом или перед фотографической карточкой (Пушкина.— Б. М.). И вот однажды остановился у толпы чернорабочих перед бюстом и стал прислушиваться. «Кто это? Чья это такая курчавая статуя?» — спрашивает. — «Это Пушкин», — отвечает другой. — «Кто же он был? Жив он теперь или нет?» — «Нет, он, должно, померши». — «Так это не ему ли хотят праздновать когда-то?.. За что же ему, святой он, что ли?» — «Нет, его хотят почтить память за его труд», — отвечает один субъект, видимо кое-что и читавший о нем. — «Так что же он хорошего сделал?» — «Он писал много стихотворений. И я читал «Конница», «Детство». — «Не его ль это стихотворение такое складное?» — «Не знаю». — «И не он ли написал сказку о золотой рыбке и коньке-горбунке?» — «Что-то не упомню», — был ответ. — «Не его ль стихотворение «Зимняя вьюга?» — «Да, его!» — Да, это был деляга, — говорит с восхищением вопроситель, — а вот он такой молодой помер» — «Да, говорят, лет тридцать, что ли». Иду дальше, стоят трое и говорят: «...Как не жалеют его, что он такой молодой помер теперь... Он писал и осуждал многих великих, за что же? За то, что несправедливо поступали. Вот как! ...Я слышал, что он куда-то был и сослан». Далее среди разнообразных мнений приводятся и такие: «...Вот праздник устраивают, памятник, затрачивают большие тысячи, а того не видят, что люди тысячами мрут от голоду. На эти деньги много бы людей прокормить». Это мнение вызывает протест: «...Денег этих голо-

дающие все равно бы не видали», а Пушкин достоин этого, он «открыл как бы неведомый мир», «у него картину жизни посмотришь». И в конце автор заключает: «И таких разнообразных слухов и не опишешь всех, кто говорил...»

В крестьянских письмах есть многочисленные свидетельства о том, с какой жадностью народ воспринимал всякого рода рассказы о жизни Пушкина. Не имея возможности ознакомиться с биографией поэта по причинам, о которых говорилось выше, крестьяне создавали своеобразные, фольклоризированные биографии на свой лад. Вот одна из самых интересных фольклоризированных биографий, записанных в Новгородском уезде крестьянином С. Поддубским со слов 80-летнего старика кузнеца, жившего лет пять в Петербурге:

«Пушкин первое служил в прусском полку, за хорошее поведение и острый ум его был переведен в С.-Петербургскую свиту его величества полк. О Пушкине скоро узнал государь всероссийский, император, и часто требовал к себе налицо Пушкина для совета важных дел и за остроумие. Пушкина очень государь полюбил его. И что же, наконец, Пушкин был нелепообразен, а жена его была очень красавица и полюбила одного из посланников, о чем Пушкин не верил, а захотел сам испытать. Вдруг потребовал его государь, то есть Пушкина. А Пушкин выехал из дому, помедлил с час, вдруг воротился назад в дом свой или квартиру, застал там у себя посланника и сказал ему: «Вы зачем, милостивый государь!» — «Вас посетить». Пушкин сказал, что «более меня никогда не посещать!». А также в другой раз испытал тоже, застал у себя в доме посланника и сказал: «Вы зачем опять у меня в доме?» — «Вас посетить». — Я сказал, что меня никогда не посещать. Завтра на дуэль». А когда они явились на дуэль, то посланник закупил секундантов, и зарядили ему ружья ядовитой пулей, которой прострелил Пушкина сквозь короткие ребра. Тотчас дали знать государю, который приехал с любимым доктором, осмотрел рану и сказал доктору: «Вылечить Пушкина». А доктор отказался, что не может вылечить, потому что летучий огонь приключился с ядовитой пули. А государь, сожалея Пушкина, сказал доктору: «чтобы не было тебя в России». И с тех пор государь уничтожил дуэль, и чтобы не было в России. А Пушкин, не теряя духа, при остатках часах жизни сочинил такое сочинение, как лишился жизни через свою жену, что каждый читая, не может удержаться от слез и сожаления его».

В этом жизнеописании Пушкина любопытно совмещение достоверных сведений о Пушкине с легендами о том, что император благоволил к поэту и что пули пистолета, из которого стрелял Дантес, были отравлены. Вместе с тем весь рассказ проникнут любовью к поэту и глубокой скорбью о его гибели. Проникли в деревню и более достоверные рассказы, но опять-таки своеобразно преломленные в сознании крестьянина. Василий Козырев из Краснополянской волости Еленецкого уезда Орловской губернии писал:

«Он привык первенствовать в том обществе, где находился, что, впрочем, понятно: необыкновенному человеку подчиняется все. Насмешки он отражал, отличаясь остроумием, с мастерской ловкостью. И так жизнь его шла весело, как он сам писал о себе,— были, конечно, и черные дни, но мало. Потом он женился на московской красавице — Наталье Николаевне Гончаровой. Беда его была в том, что он, имея небольшое состояние, любил держать себя и жену свою по-барски, для чего вошел в круг петербургского большого света, где, как сказано, у него было порядочно врагов. Содержание себя и жены в этом обществе было ему не под силу, но он не мог оторваться от него — к тому же и его жене эта жизнь пришлось по душе. За женой Пушкина начали увиваться люди, жаждущие любовных приключений». Далее рассказывается о том, как «один молодой иностранец Дантес был особенно любезен с Натальей Николаевной. Враги Пушкина воспользовались этим. Они пустили слух, что Наталья Николаевна — жертва любезностей Дантеса. Посыпались на Пушкина намеки и безымянные письма. Он приходил от этого в иступление».

Особенно интересовались в народе политической биографией Пушкина. Некоторые письма мы приводили уже во втором разделе статьи. Вот еще несколько рассказов о Пушкине, бытовавших среди крестьян,— рассказов,— в которых верное смешивалось с неверным. О преследованиях Пушкина крестьянин И. Воробьев из Псковской волости Клинского уезда Московской губернии рассказывал: «Образование Пушкин получил в Петербурге, в лицее. За свой талант, по клевете ненавистников, был в опале государя и в 1820 году был выслан из Петербурга под надзор генерала Инзова. Мог перенести много неприятностей, и в 1826 году, по милости государя Николая Павловича, случайно получил прощение и прославился». Или другой вариант той же истории: «...О Пушкине говорят, что когда-то за

слишком смелые и дерзкие мысли, выраженные в стихах, которые попали в руки императора Николая I, Пушкин был призван во дворец. Представ пред государем, он не смутился. По приказанию его он прочел без тетради и книги все свои произведения, без малейшей ошибки, государь был удивлен такой памятью и, ценя русского великого писателя, отменил назначенное ему наказание» (крестьянин деревни Полянниково Петропавло-Глинковской волости Гжатского уезда Смоленской губернии Егор Назаров). Впрочем, этот же читатель замечает: «Как всегда о великих людях в народе ходят рассказы, похожие на сказки»... В приведенном рассказе эпизод с вызовом Пушкина к Милорадовичу спутан с его свиданием с Николаем I. Вообще в большинстве рассказов, бытовавших среди крестьян, восхищение смелостью Пушкина, его защитой угнетенных, его вольнолюбием соседствовало, однако, с неверной оценкой отношения царей к Пушкину (хотя большей частью отмечалось, что Александр I сослал Пушкина). Крестьянин деревни Прилук Высоковской волости Новгородской губернии сообщал в письме: «Все жалеют о безвременной кончине величайшего из людей, как справедливо о нем отнесся еще при жизни поэта государь император Николай Павлович. Раз, придя с утренней прогулки, говорит своему князю, не упомяну какому: «Я сейчас разговаривал с умнейшим из людей». Тот взглянул на государя удивленно и вопросительно. Государь спросил: «Знаешь с кем?» Он ответил, что нет. «С Пушкиным», — был ответ государя». Этот рассказ имеет, как известно, книжный мемуарный источник.

Крестьянин Е. Назаров в своем письме заметил: «О жизни Александра Сергеевича в народе знают еще и от молодежи, которая живет на стороне. Знают хорошо, что Пушкин убит в молодости, на поединке, каким-то французом, на которого сыплются проклятия. Не одобряют и самого Александра Сергеевича за то, что он пошел драться». Гибель Пушкина, как мы уже убедились, обсуждалась в народе непрестанно. Немало было и легенд. Так, корреспондент из Лодзи рассказывал со слов каких-то старых людей, утверждавших, что Пушкин был убит на дуэли в Париже Дантесом, французом, и что «за эту гибель Пушкина отомстил Мицкевич и убил Дантеса тоже на дуэли» (№ 21).

Всякие рассказы и упоминания о дуэли обычно сопровождаются у крестьян выражением презрения и ненависти к виновнику гибели Пушкина и сетованиями по поводу без-

временной кончины поэта. В одном из анонимных писем мы читаем: «Благословенная Франция, но негодяй француз, который в лице Пушкина оскорбил всю Русь, разбил эту бриллиантовую звезду, блиставшую всему свету. Мир праху твоему и вечная память тебе, доброму поэту».

Крестьянин-поэт Д. Папертев в примитивных, но взволнованных стихах восклицает:

Зачем тогда не разорвался
В руке поганой пистолет.
Тогда бы невредим остался
Великий Пушкин, наш поэт.

Другой крестьянин, склонный к резонерству, выходец из Вятской губернии, рассуждает о Пушкине в своем письме, посланном в редакцию «Сельского вестника»: «Немало он труда положил и горя перенес и потерял себя, одного только не хватило: кончил жизнь не так отраднo. Державин указал Пушкина себе преемника, а Жуковский пишет: «Ученику-победителю от побежденного учителя». Что же такое, умом учителя и побеждал, за гуляние в кутеже не пропал, в изгнании духом не падал, а чем кончил жизнь свою, от жены позорную смерть получил».

Однако встречается и более трезвое понимание причин гибели Пушкина. К приведенным выше разговорам на эту тему надо добавить пронизательное заключение крестьянина села Убежиц Арбатовского уезда Нижегородской губернии: «Дантесов было много, а он один».

Передавались из уст в уста рассказы о близости Пушкина к народу, о его сочувствии всем страдавшим от властей. Вот один из рассказов такого рода: «Пушкин жил в имении; в том стане становой был страшный взяточник, через что с Пушкиным, заступавшимся за обиженных, частенько бывали у него горячие споры. И вот приставу за долгую службу выслали орден; в это время в местном погосте была ярмарка, где пристав и захотел шегольнуть полученною наградою; на той же ярмарке был и Пушкин, который, встретив станового и увидав у него в петлице орден, сказал: «Господи Иисусе Христе, ты спас разбойника на кресте, а нынче пришло ко мне горе, вижу — крест надет на воре», чем будто бы и смутил станового» (из письма крестьянина Михаила Чихачева из Ашева Новоторжского уезда Псковской губернии).

Или другое сообщение: «...в народе распространен слух, что Пушкин очень любил слушать нищих старцев, которые

в базарные дни собираются к монастырю, становятся здесь в ряд, человека по три, по четыре, и поют своего сочинения стихи, в которых поминают усопших и молятся за живых. Старики утверждают, что часто видели Пушкина, подолгу стоявшего близ старцев и слушающего их протяжные, заунывные напевы. Нравились ли ему те простые выражения, из которых состояли эти стихи, или слуху поэта были приятны старческие напевы — решить мудрено. Может быть, то и другое» (Н. Никифоров из села Жадриц Псковской губернии).

Интерес вызывали памятные места, связанные с Пушкиным. Крестьянин деревни Гинкино Заборовской волости Вышневолоцкого уезда Тверской губернии В. Я. Кузьмин-Карельский обратился к редакции с вопросом: «А хотелось бы знать, найдено ли то место доподлинно, где был убит этот гений и почтенно ли оно чем-либо?».

Крестьяне жадно ловили всякие подробности о Пушкине, его жизни и работе. Крестьянин Болдинской волости Лукояновского уезда Нижегородской губернии Д. Киреев рассказывал со слов стариков, что «Пушкин (всегда один) часто ездил верхом и ходил пешком в поля, а больше всего посещал принадлежавший ему лесок «Лучинник» и соседний чужой лесок «Осинник» (первый из них в полуторе версты от Болдина, а второй — в 2 верстах), в которых он многое записывал для своих сочинений, слушал щебетанье и пенье птиц и охотился. Рассказывают, что когда А. С. Пушкин шел по дороге или полями, то постоянно говорил сам с собою, глядел по сторонам с большим вниманием и все замечал» (№ 23). А крестьянин из Полотняного завода Калужской губернии, где было имение Гончаровых, с гордостью написал, что в этом месте «беседка Пушкина и до сего времени стоит. В ней, говорят, писал он «Капитанскую дочку» и часть «Евгения Онегина». Случалось, что создавались легенды о пребывании его в местах, которые он никогда даже не проезжал.

* * *

Итак, теперь можно с уверенностью утверждать, что если по отношению к эпохе Пушкина мнение о незнании его крестьянской массой можно считать (за редчайшими исключениями) правильным, то в последнюю четверть XIX века положение весьма и весьма меняется. Несмотря на многие препятствия (неграмотность, количественно ни-

чтожное распространение книг в деревне, реакционная пропаганда «вредности» пушкинских произведений, жесткие ограничения, налагавшиеся властями на списки изданий, разрешаемых для «народного чтения»), проникновение Пушкина в крестьянскую среду значительно расширяется. Хронологической вехой является здесь конец 1887 года, когда закончилось право наследования и народный читатель получил возможность (хотя и весьма ограниченную из-за небольших тиражей) купить дешевые копеечные книжки. Хотя правительство и власти на местах предприняли все возможное для пропаганды фальсифицированного облика поэта, в конце XIX века среди крестьянских масс резко возрос интерес к его жизни и творчеству, распространились хотя бы самые элементарные сведения о поэте. Что же касается степени знания Пушкина народом, то эти знания были крайне неравномерными даже в пределах деревень одного и того же уезда или волости и зависели от наличия в них школ, от активности сельского учителя, оттого, были ли здесь крестьяне — любители Пушкина («читаки»), — и от многих случайных причин. Поэтому в этот период были и факты весьма отрадные, но в тех или иных местах, особенно на далеких окраинах, не знали даже имени поэта.

Самое ценное, что дают нам письма, — это возможность судить о критериях оценки крестьянами Пушкина. Как мы видели, читателей из народа можно дифференцировать не только по уровню развития, но и по убеждениям. В противоположность тем читателям, которые находились под влиянием реакционно-монархической агитации, подавляющее большинство относилось к поэту с огромной любовью и благоговело перед его памятью. Споры о Пушкине, отразившиеся в крестьянских письмах, весьма показательны своей остротой. Разными, неясными для нас путями (о которых можно только строить догадки) проникали в самые глухие углы сведения о Пушкине, как о героической личности, защитнике народа, борце за свободу, обличителе царя и властей. Этому способствовали также народные легенды о Пушкине и передававшиеся из уст в уста своеобразные фольклоризированные биографии.

Исключительную ценность представляют также высказывания крестьян, которые позволяют судить о характере восприятия пушкинских произведений. Читатели из народа искали и находили в них прежде всего программу жизненного поведения, связывая их сюжеты и образы с собствен-

ным жизненным опытом, со своими чаяниями, стремлениями. В ярких и эмоциональных оценках пушкинских произведений проявлялись также нормы стихийной народной эстетики, основанные прежде всего на требованиях правды, живописности изображения, воспевания героических характеров как воплощения доброты, мужества и бесстрашия в борьбе со злом.

С ненавистью говорили крестьяне о «высоких» и «мелких» своих начальниках, которые осудили деревню на темноту и невежество. При этом читатели из народа часто задумывались и о будущей судьбе Пушкина в России. Крестьянин деревни Высокая Гора Опочецкого уезда Псковской губернии Семен Тимофеев писал: «Когда будет дано нашему темному народу давно нужное и желанное образование и будет наша Россия праздновать 125—150-летие дня рождения нашего великого Пушкина, то не нужно быть пророком, чтобы предсказать, какой ответ тогда получится... Тогда мало найдется или совсем не будет тех, кто скажет: «Не знаю Пушкина», но протопчут тропу, теперь не всем известную, и время свое сделает: посеянное доброе семя принесет свой добрый плод».

Читая эти строки, нельзя не вспомнить снова отзывы о Пушкине крестьян другой эпохи, послереволюционных лет, записанные А. М. Топоровым. В этих отзывах тоже восхищение Пушкиным как великим другом народа, певцом свободы и справедливости, та же беспредельная восторженность, увлеченность прелестью его образов. Такова живая традиция восприятия пушкинского творчества, но теперь уже восприятия его освобожденным народом. Поэтому о поэте говорят не только как о *провозвестнике* свободы, но как о человеке, который *участвовал в ее победе*: «При царской тьме в России он, как огненный столб, освещал угнетенному русскому люду путь к свободе. Теперь у нас полная свобода, и мы говорим душевное спасибо Александру Сергеевичу Пушкину!»¹⁶

Теперь нет, вероятно, в нашей стране человека, который не знал бы вещей пушкинских строк о грядущем времени, когда в стране не только — «гордый внук славян» — русский народ, — но «всяк сущий в ней язык» назовет его имя (в черновике названы, кроме «финна», «тунгуза», «калыка» также «грузинец», «черкес», «киргизец»). Взглянем на эти строки в ракурсе истории. Поэт предвидел, что в будущем народы России, в том числе и те, которые были совершенно оторваны от цивилизации, даже не имели своей

письменности, выйдут на общую дорогу культурного развития и приобщатся к русской культуре, русской поэзии.

В пушкиноведении обстоятельно изучены вековые литературные традиции, отраженные так или иначе в стихотворении «Я памятник себе воздвиг...» Но в поэзии предшественников Пушкина, когда-либо разрабатывавших подобную тему, не было мотивов, связанных с прогнозами о судьбах национальностей, которые в то время именовались «дикими». Более того, распространено было мнение, что они обречены навечно остаться в «первобытном» состоянии. Аркадий Родзянко, один из поэтов этого времени, высмеивал в сатире «Два века» (1822) идеи национального своеобразия и уважения к народностям, которые отстаивались в прогрессивной русской и западноевропейской литературе (в частности, знаменитой французской писательницей Жерменой де Сталь; она пользовалась большим уважением Пушкина и декабристов). Подобные идеи, по мнению Родзянко, зыблют «прекрасный идеал» и мчат «в первобытный мрак». Родзянко издевательски восклицал:

...Башкир, киргиз, малаец,
Канадский людоед, свирепый парагваец,
Гордитесь! Франции вас славит первый ум.

Нигилистическое отношение к «инородцам», неверие в их будущее не раз проявлялось и позже. Вспомним, например, строки стихотворения Фета:

У чукчей нет Анакреона,
К зырянам Тютчев не придет...

Однако к зырянам, как их раньше называли, — к народу коми — «пришли» и Тютчев, и Пушкин, и другие поэты (включая, в частности, и Фета с его чудесными стихами о любви и природе, которые так не вяжутся с его обликом закоренелого крепостника-консерватора). Пришел Пушкин и к другим народам, не имевшим, подобно «зырянам» и чукчам, до Октябрьской революции своей письменности; пришел и ко всем северным народностям, о которых тогда бытовали фантастические, поистине дикие представления.

Предвидение Пушкиным будущего развития народностей России опиралось на его глубокое убеждение в том, что в каждом народе таятся нераскрытые еще возможности, что нет народа, который не был бы интересен своеобразием своего быта, своего характера, своего фольклора. «Климат, образ правления, вера дают каждому народу осо-

бенную физиономию, ...которая более или менее отражается в зеркале поэзии,— писал Пушкин.— Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежавших исключительно какому-нибудь народу». Эти взгляды Пушкина были знаменем времени. Орест Сомов, примыкавший к декабризму, в трактате «О романтической поэзии» (1823) отстаивал широкий подход к пониманию народности литературы и призывал поэтов обратиться к изображению разноплеменной России. Он писал:

«Сколько разных обликов, нравов и обычаев представляются испытующему взору в одном объеме России совокупной! Не говоря уже о собственно русских, здесь являются малороссияне, с сладостными их песнями и славными воспоминаниями, там воинственные сыны тихого Дона и отважные сыны Сечи Запорожской: все они, соединясь верою и пламенной любовью к отчизне, носят черты отличия в нравах и наружности. Что же, если мы окинем взором края России, обитаемые пылкими поляками и литовцами, народами финского и скандинавского происхождения, обитателями древней Колхиды, потомками переселенцев, видевших изгнание Овидия, остатками некогда грозных России татар, многообразными племенами Сибири и островов, кочующими поколениями монгольцев, буйными жителями Кавказа, северными лапонцами и самоедами?..» И Сомов заключал: «Итак, поэты русские, не выходя за пределы своей родины, могут перелетать от суровых и мрачных преданий севера к роскошным и блестящим вымыслам востока; от образованного ума и вкуса европейцев к грубым и непритворным нравам народов звероловных и кочующих; от физиономии людей светских к облику какого-нибудь племени полудикого, запечатленного одною общею чертою отличия».

Когда Сомов писал свой трактат, Пушкин уже стал на этот путь. Гоголь, говоря о его новаторстве, восхищенно восклицал: «Судьба как нарочно забросила его туда, где границы России отличаются резкою, величавою характерностью... Рисует ли он боевую схватку чеченца с козаком — слог его молния: он так же блещет, как сверкающие сабли, и летит быстрее самой битвы. Он один только певец Кавказа... он проникнут и напитан его чудными окрестностями, южным небом, долинами прекрасной Грузии и великолепными крымскими ночами и садами!»

Пушкин стремился узнать как можно больше о разноплеменном населении России, он широко раздвинул пред-

ставление о своей стране и ее людях. В «Кавказском пленнике» он поэтически воссоздал быт черкесов, их характер и считал это описание лучшей частью своей поэмы. В примечании к ней он писал: «Счастливым климат Грузии не вознаграждает сию прекрасную страну за все бедствия, вечно ею претерпеваемые. Песни грузинские приятны и по большей части заунывны». Пушкин постоянно интересовался фольклором народов, населяющих Россию. Об этом говорят «Черкесская песня» в «Кавказском пленнике», «Татарская песня» в «Бахчисарайском фонтане» или песня Земфиры из «Цыган», представляющая собой переложение молдавской народной песни. В творчестве Пушкина отразились образы и мотивы украинского фольклора (стихотворения «Казак», «Гусар», образ кобзаря в «Полтаве» и т. д.). О грузинских песнях говорится в «Путешествии в Арзрум». В архиве Пушкина сохранились записи украинской песни «Чорна роля заорана» и казахского предания о батыре Косу-Корпече и его возлюбленной Боян-Слу.

В отношениях Пушкина к людям различных национальностей нет ни грама пренебрежения, свойственного тогда дворянскому обществу. Настоящей дерзостью с точки зрения аристократической эстетики и норм «приличия» должно было казаться стихотворение Пушкина «Калмычке», которое, по его словам, было написано «на одной из кавказских станций» во время поездки в Арзрум, после того как он посетил калмыцкую кибитку:

Твои глаза, конечно, узки,
И плосок нос, и лоб широк,
Ты не лепечешь по-французски,
Ты шелком не сжимаешь ног;
По-английски пред самоваром
Узором хлеба не крошишь,
Не восхищаешься Сен-Маром,
Слегка Шекспира не ценишь,
Не погружаешься в мечтанье,
Когда нет мысли в голове,
Не распеваешь: *Ma dov'è*¹⁷,
Галоп не прыгаешь в собрание...
Что нужды? Ровно полчаса,
Пока коней мы запрягали,
Мне ум и сердце занимали
Твой взор и дикая краса.

О тунгузах, упоминаемых в стихотворении «Я памятник себе воздвиг...», Пушкин узнал, по-видимому, от В. Кюхельбекера. Из баргузинского далека ссыльный декабрист писал о бурятском и эвенкийском населении. «Тунгузы» —

это эвенки, которые тогда причислялись, как и все народы Севера, к «первобытным» племенам и которые в наши дни, так же как нанайцы, удэге, коряки, эскимосы, ханты, чукчи и другие народы, учатся не только в средних школах, но и в вузах, читают Пушкина на своих и русском языках. Поэтам-эвенкам принадлежит не только опыты перевода пушкинского «Памятника» на свой язык, но ряд стихотворных откликов на него. Вот один из таких откликов, принадлежащий перу эвенка А. Платонова (в подстрочном переводе Г. Семенова):

Нерукотворный «Памятник»
Мне ясно говорит,
Что ты, великий Пушкин,
Слышишь наши песни.
Ты, Пушкин, погляди
На «дикого тунгуза» —
Ведь это я — эвенк,
Навек теперь свободный
Я землякам в колхозе
Стихи твои читаю,
Слова твои звенящие
Над Севером летят,
И счастьем прорастает
Таежная земля,
Твое, твоё пророчество
Сбылось, великий Пушкин.

Осенью 1972 года в связи с 50-летием СССР в Ереване состоялась Всесоюзная Пушкинская конференция, на которой была развернута широкая картина связей национальных литератур народов нашей страны с традициями пушкинского творчества. Увлекательное выступление Юрия Рытхэу, чукчи по национальности, одного из видных советских писателей, произведения которого переведены на ряд иностранных языков, было посвящено не только роли Пушкина в его собственной биографии, но и в возникновении национальной поэзии чукчей:

«Долгое время, — рассказывает Рытхэу, — я был убежден, что стихотворная речь присуща только русскому языку.

Это не значит, что словесная игра, рифма и ритмика были чужды чукотскому. Но эти особенности языка употреблялись в редких случаях — обычно в пословицах, поговорках, в шуточных скороговорках. Они были как бы забавной способностью слов складываться в удивительные сочетания.

Овладение русским языком шло у нас через освоение пушкинского стиха, через осмысление огромного духовного богатства, оставленного нам этим удивительным человеком, поднявшим значение звания поэт до таких высот, что иной другой род человеческой деятельности может иметь и поэтическое измерение».

И дальше Рыхтэу продолжал:

«Поэзия Пушкина, его язык помогли открыть мне богатства моего родного языка: его скрытые возможности и его главную возможность — оказывается, и на моем родном чукотском языке можно передавать поэтические мысли!

Возможно, что кое-кому такие признания покажутся не совсем правдоподобными, но надо мыслить реальными историческими категориями.

Я начал учиться грамоте по самым первым книгам, существовавшим когда-либо на всем протяжении существования на земле нашего народа. А ведь это был конец тридцатых и начало сороковых годов. Представьте себе своего современника где-нибудь в Ростове, который бы в это же время начал учиться по первопечатным книгам Ивана Федорова.

И вдруг в мышление человека, наполовину стоящего в самом реально существовавшем еще тогда первобытно-общинном строе, врывается могучий поток поэзии, поэзии близкой, родной, словно бы созданной только для тебя очень близким тебе человеком...»

Роль пушкинского творчества для «ускоренного» развития национальных литератур — это еще не изученная, но очень важная проблема. В отношении к литературе казахской об этой огромной роли Пушкина говорил в свое время на одной из ленинградских пушкинских конференций академик Казахской Академии наук Сильченко. Раздвинув в своем творчестве географию России, Пушкин способствовал разрушению ограниченных представлений о стране. Он любил и воспел Москву и Петербург, он подарил русским читателям неповторимую картину северной природы, но Россия была в его поэзии цельной — «от Перми до Тавриды», «от финских хладных скал до пламенной Колхиды», от Кремля «до стен недвижимого Китая».

Консерваторы считали, что Россия — это лишь Россия снегов. Как характерно, что националист А. С. Шишков, глава «Беседы любителей русского слова», в своем «Рассуждении о любви к отечеству» патетически восклицал:

На все природы южной неги
Не променяем наши снега
И наш отечественный лед.

Это, конечно, демагогия — дело было не в чем-то желании «променять» русскую природу на иную, будь то «южная нега» «Тавриды» (Крыма) или Кавказа или «нега» теплых заморских стран, а в убеждении шовинистов, что «окраины» России, населенные «инородцами», вообще не в счет, когда говорят о России как таковой. Пушкин едко высмеял графа Нулина, который:

Святую Русь бранит, дивится,
Как можно жить в ее снегах.

Но пушкинское понимание «Руси», ее пространства, ее природы, ее состава было свободным от узости, свойственной защитникам старины, протестовавшим против всего, что нарушало застывшие, неподвижные представления.

В XIX веке творчество Пушкина было одним из тех звеньев, которые соединяли различные национальности с великим русским народом. Немалое влияние оказало творчество Пушкина на украинскую литературу. Пушкин был любимым писателем Тараса Шевченко. Освободительное содержание пушкинской поэзии, интерес к крестьянским движениям во главе с Разиным и Пугачевым — все это сближает творчество Пушкина и Шевченко. Под влиянием Пушкина формировалось творчество Леси Украинки, благотворное воздействие его идей испытал Иван Франко и другие. Горячий отклик нашел Пушкин в литературе белорусской. Его влияние сказалось на лучших белорусских писателях — Янке Купале и Якубе Коласе и отразилось на всей передовой литературе, проникнутой чаяниями и думами белорусского народа. В грузинской литературе переводили и органически усваивали Пушкина Александр Чавчавадзе (отец Нины Чавчавадзе, жены Грибоедова), Вахтанг Орбелиани, Акакий Церетели. Высоко ценил Пушкина Важа Пшавела. В истории грузинской культуры запечатлен эпизод встречи Пушкина с представителями грузинской интеллигенции во время его поездки в Арзрум. В честь поэта в Тбилиси был устроен торжественный праздник. По воспоминаниям современника, «более тридцати единодушных хозяев праздника заранее столпились у входа сада восторженно встретить своего дорогого гостя... Пушкин... благодарил всех нас за то торжество, которым мы его почтили, заключивши словами: «...я вижу, как меня любят, по-

нимают и ценят и как это делает меня счастливым...» И в армянской литературе интерес к творчеству Пушкина возник при жизни поэта. Многим обязаны его влиянию классики армянской литературы — Микаэль Налбандян и Ованес Туманян, писатель следующего поколения. Один из выдающихся представителей армянской поэзии Ваан Терьян назвал произведения Пушкина ярким выражением «великого русского духа». Пушкинское творчество издавна привлекало внимание азербайджанских писателей. Среди кавказских друзей Пушкина был видный азербайджанский писатель Бакиханов. Мирза Фатали Ахундов откликнулся на смерть Пушкина прочувствованной поэмой, в которой назвал его «главой собора поэтов». Знакомство с произведениями Пушкина вызвало идейный перелом в творчестве классика и основоположника казахской письменной литературы Абая Кунанбаева. Переведенное Абаем Кунанбаевым письмо Татьяны из «Евгения Онегина» стало казахской народной песней. Пушкин стал родным поэтом для всех национальностей Советского Союза. В «Песне о Пушкине», созданной акыном Джамбулом в 1937 году, об этом сказано:

Сто лет пронеслось, как тебя погребли,
Ты стал всенародным акыном земли.
Читают тебя с упоением в глазах
Башкир и туркмен, белорус и казах.
Из песен твоих не забыть ни одной,
Ты, Пушкин, народному сердцу родной¹⁸.

Об этом же говорит в своем стихотворении Максим Рыльский:

Я видел твой портрет у друга-армянина,
Я слышал, как якут твердит твои слова,
И в честь твою венок сплетала Украина,
Народной вольностью жива.

О любви к Пушкину пишут в своих стихах поэты всех национальностей нашей страны.

...Громкое имя твое каждый день
Звучит, как привет, на устах у людей
И радостный отзвук находит в сердцах,
Как вешние громы в бескрайних полях,
И там, где за тучей белеет гора,
И здесь, где над Неманом плещет заря,—

воскликает белорусский поэт Максим Танк. «Как с другом жизни мы слиты с поэтом», — вторит ему азербайджанец Самед Вургун.

Ты русское сердце и русскую душу, 7,5
Как двери в свой дом, перед нами раскрыл,—

воскликает казах Халижан Бекхожин. Аварец Расул Гамзатов обращается к Пушкину:

...в каждом сердце, Пушкин, вы прочтете
Свои стихи.

Вот слова молдаванина Емелиана Букова:

О, Пушкин, наш друг, наш великий поэт,
В сердцах твои песни несем мы!

О Пушкине, как вечном спутнике, говорит татарский поэт Ахмет Ерикеев:

Он к тебе приходит вечно новым,
Он твой путь осветит, как звезда,
Чтобы ты, с его сдружившись словом,
С ним не расставался никогда.

Можно было бы составить большую антологию посвященных Пушкину стихов, написанных советскими поэтами всех национальностей. Многоцветный поток этих стихов нескончаем. Все новые и новые голоса звучат на ежегодных массовых пушкинских праздниках в Михайловском, сливаясь с голосами зарубежных поэтов, приезжающих сюда из всех стран западного и восточного полушарий...





Споры о „Евгении Онегине“ в прошлом и настоящем

1

У каждого человека есть книги — спутники жизни, они никогда не примелькаются, сколько бы ни перечитывать. Раскрывая их, всегда находишь что-нибудь новое. К таким принадлежит «Евгений Онегин». И сегодня мы можем повторить слова Гончарова о первом знакомстве с этим романом. «Какой свет, какая волшебная даль открылась вдруг и какие струи правды и поэзии, и вообще жизни, притом современной, понятной, хлынули из этого источника, и с каким блеском, в каких звуках! Какая школа изящества, вкуса для впечатлительной природы»¹. Вот уже более ста пятидесяти лет прошло после того, как роман был закончен, но не меркнет его свежесть, он продолжает волновать глубиной мысли, поэтичностью образов, непревзойденным, тонким лиризмом. Не умолкают споры вокруг «Евгения Онегина» и в наше время.

До сих пор в книгах, статьях, в публичных дискуссиях сталкиваются различные точки зрения, пересматриваются, казалось бы, уже решенные вопросы, выдвигаются новые, то убедительные, то вызывающие на дальнейший спор мнения. Вполне закономерен этот живой постоянный процесс осмысления и переосмысления пушкинского романа.

Первый серьезный спор о романе возник между Пушкиным и его друзьями. Автор и его оппоненты были людьми близких идейных убеждений. Расхождения в трактовке замысла «Евгения Онегина» касались принципиальных вопросов.

Пушкин предвидел, что читатели, восторженно встретившие его романтические поэмы, станут осуждать «антипоэтический характер главного лица» — Онегина². И в са-

мом деле, такова суть ряда откликов даже близких Пушкину людей на первую главу романа. По словам Пушкина, Н. Н. Раевский «бранит» роман, он ожидал «романтизма, нашел сатиру и цинизм и порядочно не расчихал» (письмо к брату в начале 1824 года). С критериями романтизма подошла к оценке «Евгения Онегина» и декабристская критика. А. Бестужев одобрительно отозвался только о тех местах первой главы, «где говорит чувство», «где мечта уносит поэта из прозы описываемого общества». Лучшим произведением Пушкина для Бестужева оставалась поэма «Цыганы»³. Он полагал, что противоречившее понятиям «высокого» изображение светской жизни не является достойным предметом для поэта. Полемизируя с Пушкиным, отстаивавшим право поэта на изображение «света», Бестужев писал ему 9 марта 1825 года: «...для чего ж тебе из пушки стрелять в бабочку?», желая таким образом сказать, что Онегин слишком ничтожный объект для романа (обложка первой главы была украшена виньеткой с изображением бабочки, которое Бестужев понял как аллегорический намек на сущность героя). Рылеев, хотя и признавал, что первая глава «Онегина» в целом «прекрасна», все же резюмировал: «...Онегин, сужу по первой песни, ниже и Бахчисарайского фонтана и Кавказского пленника» (письмо к Пушкину 12 февраля 1825 года). Правда, эти отзывы были основаны на впечатлении только от первой главы, где изображена рассеянная светская жизнь, создавшая Онегина как человека преданного «безделью», истомленного «душевной пустотой». Но все же по этим отзывам можно судить о том, чего же ожидали от романа критики декабристского направления. В образе Онегина Бестужев ожидал увидеть нечто подобное Алеко, то есть героя, которого можно было бы поставить в «контраст с светом». Верный романтической догме, он признавал задачей искусства создание исключительных характеров, а не таких, как Онегин, которых, по его словам, «тысячи встречал наяву».

Расхождения между Пушкиным и Бестужевым были, следовательно, расхождениями реалиста и романтика. Несмотря на общность идеологической позиции (ведь и тот и другой резко осуждали светское общество), Бестужев так и не мог понять смысла совершенно нового этапа в пушкинском творчестве. Не принимали роман и литераторы романтического лагеря, не принадлежавшие к декабризму (Н. Языков, В. Титов).

В журналах похвалы первым главам были большей ча-

стью самыми общими. Однако по мере того как идейный замысел произведения обнаруживался с большей ясностью и отчетливостью, стали преобладать отзывы отрицательные. Пушкина стали упрекать в подражательности, в мелочности описаний, отсутствии «важных мыслей» и идей.

Все же и тогда стали появляться статьи, где содержались пророчески верного понимания романа. К такого рода отзывам принадлежит статья Николая Полевого о первой главе «Онегина», который видел ее значение в том, что она написана не по старым рецептам пиитик, а по новым правилам — творческого воображения. Далее, он утверждал, что Пушкин, выбрав героя, рисует «с неподражаемым искусством различные положения и отношения его к окружающим предметам». Критик догадывался, что роман открыл новый период искусства. Он, хотя несколько одно-сторонне, поставил вопрос и о национальном своеобразии пушкинского романа: поэт описал в нем современные нравы, «мы видим свое, слышим свои, родные поговорки, смотрим на свои причуды...»⁴

Это мнение вызвало отповедь критика «Сына отечества». В недоумении он восклицал: «Я не знаю, что тут народного, кроме имен петербургских улиц и рестораций». Но Полевой (позже, в конце 20-х и в 30-е годы ставший противником Пушкина) продолжал отстаивать и развивать свою мысль. Отвечая своему противнику, он писал: «Общество, куда поставил своего героя Пушкин, мало представляет отпечатков русского народного быта, но все сии отпечатки подмечены и выражены с удивительным искусством. Ссылаюсь на описание Петербургского театра, воспитание Онегина, поездку к Талону, похороны дяди, не исчисляя множества других черт народности»⁵.

Полемика разгоралась. В нее включился поэт Д. Веневитинов. Споря с Полевым, он критиковал неполноту его понимания народности. По мнению Веневитинова, народность отражается не только в «местных чертах» и описании обычаев, а в самих чувствах поэта, в его связи с духом своего народа. Значение романа Веневитинов видел в том, что он переносит читателей в новую сферу идей. Все это было справедливо, но вместе с тем оставалось общими фразами: время анализа поэтического текста еще не пришло.

Любопытно, что уже тогда, по первым двум главам, начались попытки угадать дальнейшее развитие характера Онегина. (С такого рода попытками мы столкнемся и в

наше время, с той разницей, что гипотезы будут строиться о судьбе Онегина в зависимости от возможностей реализации Пушкиным других вариантов финала; но об этом речь впереди.)

Веневитинов писал о будущем героя: «Для такого характера все решают обстоятельства. Если они пробудят в Онегине сильные чувства, мы не удивимся: он способен быть минутным энтузиастом и повиноваться порывам души. Если жизнь его будет без приключений, он проживет спокойно, рассуждая умно, а действуя лениво»⁶. Проницательность удивительная!

Важные вопросы задеты критиком «Сына отечества» в статье о четвертой и пятой главах романа. Разбор «Онегина» связан с размышлениями о сущности романа как жанра: роман — это «теория жизни человеческой», он должен быть верной и полной картиной жизни, не только внешней, но прежде всего внутренней. Роман должен обрисовывать и развивать характеры действующих лиц, с героем романа мы стараемся надолго «ознакомиться, чтобы знать, чего должны ждать от него, чем можем в нем пользоваться и чего остерегаться». Таким образом, здесь поставлен вопрос о громадном познавательном значении романа как жанра. Оценивая «Онегина» с этих позиций, критик находит в этом произведении подтверждение своей теории. Он рассматривает характеры и обстоятельства, в которых действующие лица себя проявляют, утверждая при этом, что роман с его действующими лицами есть только «рама для картины обширнейшей»⁷. Эти замечания не подчинены еще в статье какой-либо единой концепции (чего не могло быть при уровне критики того времени), но тем не менее статья резко выделяется своей попыткой понять новаторство Пушкина.

Более глубокой была оценка романа И. Киреевским. Заслуги его велики. Он впервые показал роль Пушкина как основателя новой школы в русской литературе — поэзии действительности. В противоположность клеветническим толкам о «безмыслии Пушкина» он именовал его «поэтом-философом». Но в его оценке «Онегина» в 1828 году были странности. С одной стороны, он считал роман началом нового периода нашей литературы, отличительные черты которого — «Живописность, какая-то задумчивость, что-то невыразимое, понятное лишь русскому сердцу». Он видел здесь «верность описаний, оригинальность языка», черты «национального, чисто русского». Однако понять идейную

глубину романа и характер Онегина Киреевский не смог. Онегин в его глазах — «существо совершенно обыкновенное и ничтожное», «пустота главного героя была, может быть, одной из причин пустоты содержания первых пяти глав...» Остальные главы тогда критик не знал, но сомневался в возможности достигнуть «чего-либо стройного, полного и богатого в замысле при таком начале»⁸.

В спорах были и попытки защитить Пушкина от тех, кто подходил к роману с мерками пошлых взглядов на искусство. В одной из статей высмеивались люди, которые ждали от романа «донжуанских походов», скандальной хроники современной эпохи или считали, что главной целью было для поэта выступить «с показом самого себя». В одной из статей начала 30-х годов впервые в русской критике Онегин был назван таким типом, в котором «отразился век»⁹ (появление этих терминов тем более показательно, что они были в то время еще крайне редки: в произведениях, статьях, письмах Пушкин употребил понятие «тип» только дважды). В этой статье поясняются и принципы обрисовки характера Онегина: «Писатель с взглядами многосторонними, дарованием разнообразным, с умом гибким и переменчивым, подсматривает все черты, все особенности человека, создает из них своих героев, свои действующие лица. Так создан характер Евгения Онегина, может быть из множества разных характеров, которые поэту случалось встречать и которые в его воображении очертились в один идеал — идеал холодного эгоиста, исключительного самолюбца, жадного ко всякой светской славе, хотя по наружности и равнодушного к ней... Вот черта, которую ясно обозначается характер главного лица поэмы»¹⁰.

Для своего времени эта трактовка была весьма примечательной. Сама же оценка Онегина только как отрицательного типа будет повторяться без конца — вплоть до наших дней.

Борьба вокруг романа не ограничивалась вопросами литературными. Уже при жизни Пушкина она принимала острый идеологический характер, особенно с конца 20-х годов. Желчью и ненавистью были напитаны отзывы реакционной критики. Литераторов этого лагеря меньше всего занимало действительное содержание «Евгения Онегина». Побудительными мотивами и критерием оценки была политическая конъюнктура и степень соответствия авторской позиции «видам правительства». Поскольку позиция Пуш-

кина противоречила этим «видам», предопределялось отношение к автору и его произведению.

Враждебность этой критики особенно обнаружилась в отзывах о седьмой главе романа, отразившей скорбные настроения последекабрьских лет. Именно после появления седьмой главы нападки на Пушкина достигли крайней резкости. Казалось, что глумлениям не будет предела. В рецензии Булгарина седьмая глава оценивалась как «совершенное падение». От Пушкина ожидали, что он «в сладких песнях» прославит царистские завоевания на Востоке, а вместо этого появился «опять Онегин бледный, слабый...»¹¹. Булгарин поносил и эстетическую программу Пушкина — расширение сферы творчества. Защита права поэта на всестороннее, без каких-либо запретов, изображение повседневности шельмовалась как подмена «прелести поэзии» «низкими» предметами, картиной «горшков и кастрюль»¹². Булгарин не был одиноким. В тон ему, сопоставляя эстетику лжеклассицизма с пушкинским пониманием целей и задач творчества, другой критик восклицал: «В чем состоит истинное достоинство поэзии?... в приличном выборе предмета»... Ни «Граф Нулин», ни «Онегин» «приличным выбором не отличались: «Если же дарование поэта признается истинным только в изображении слишком возвышенных предметов, как, например, что баба в пестрой паневе шла через барский двор белье повесить на забор, а между тем две утки полоскались в луже и козел дрался с дворовою собакой, или если истинные красоты поэзии состоят в мастерском исчислении поваренной утвари и разных домашних пожитков, как, например: стульев, сундуков, тюфяков, перин, клеток с петухами, кастрюлек, горшков, тазов et cetera, — то *chacun a son goût, messieurs*»¹³. Разумеется, не детали «низкого быта» сами по себе возмущали консерваторов: эти детали были для них синонимами нового искусства, враждебного официозным догмам: их тревожило вторжение поэзии в действительную жизнь, пересмотр понятий «возвышенное» и «низкое». Пройдет несколько лет, и критики этого лагеря станут обличать пушкинско-гоголевскую школу за пристрастие к «грязи», к изображению «простонародья», быта петербургских окраин, городской бедноты...

В 1833 году выход полного издания романа стал поводом для новых пасквилей. О Пушкине хулители говорили как о писателе «без мыслей, без великих философических и нравственных истин, без сильных ощущений, он «просто

гударь»...¹⁴ Но и некоторые из тех журналов, которые раньше оценивали первые главы романа сочувственно, теперь писали о нем совершенно иначе, обнаруживая полную неспособность понять его новаторство. В «Московском телеграфе» мнимая защита романа от упреков в фрагментарности преследовала цель унизить его роман. О «Евгении Онегине» «хотели рассуждать как о произведении полном, а поэт и не думал о полноте, он хотел только иметь рамку, в которую можно было бы вставлять ему свои суждения, свои картины, свои сердечные эпиграммы и дружеские мадригалы... Какая неизмеримая коллекция портретов, картин, рисунков и очерков... Но в подробностях все достоинство этого прихотливого создания. Спрашиваем: какая общая мысль остается в душе после Онегина? Никакой... при создании Онегина поэт не имел никакой мысли...»¹⁵. Предвзятость, эстетическая узость, глухота к поэзии — все это сказалось в рассуждениях Надеждина о пушкинском романе.

Хотя критик признавал талант Пушкина мощным, богатым, тем не менее Онегин для него был не более чем «прелестной игрушкой», поэтической безделкой. Надеждин не хотел, чтобы его статьи о Пушкине ассоциировали с пасквилями Булгарина, но он кое в чем совпадал с ними, упрекая поэта в пристрастии к «низменной природе». «Евгения Онегина» он оценивал как «рамку, в которую автору заблагорассудилось вставить свои фантастические наблюдения над жизнью, представлявшиеся ему не с степенного лица, а с смешной изнанки»¹⁶. Последние главы романа, по словам Надеждина, были продолжением «пародии на жизнь», «подвижной калейдоскопической мозаикой»¹⁷. И это печаталось в одном из лучших журналов того времени — «Телескопе», и писал критик, в других отношениях выдающийся!

В условиях разгула последекабрьской реакции прогрессивный литературный лагерь не имел возможностей говорить полным голосом о хулителях Пушкина и его романа. Все же борьба в какой-то степени велась. Так, близкий в прошлом к декабристам Орест Сомов высоко оценил роман, его жизненность, верность действительности; обличал консерваторов, которые «старались уронить поэтическое достоинство седьмой главы «Онегина»»¹⁸.

Как же реагировал Пушкин на споры об «Онегине» и на глумления над его любимейшим творением?

Он отлично представлял себе и весьма неблагоприят-

ную ситуацию в литературе, и общий низкий уровень как литературной критики, так и той публики, на которую ориентировались защитники салонного или мещанского вкуса. В рукопись второй главы «Евгения Онегина» первоначально была включена строфа, где Пушкин с горькой иронией говорил о приеме, который получит его роман в «гостиной» (то есть в светском обществе) или в «передней» (здесь подразумевалось — у лакейской клики журналистов), где:

Равно читатели черны,
Над книгой их права равны,
Не я первой, не я последний
Их суд услышу над собой,
Ревнивый, строгий и тупой

Пушкин считал, что нападки «черных читателей» на его роман не достойны его ответа. Он нарушил свое презрительное молчание лишь в нескольких случаях, когда речь шла о защите литературных принципов, важных для утверждения «поэзии действительности». В ненапечатанном предисловии к последним главам романа он процитировал без комментариев ругательный отзыв Булгарина о VII главе, полагая, что цитаты говорят сами за себя. Там же Пушкин привел издевательский стишок, который Булгарин сочинил в качестве ответа на вопрос о содержании VII главы:

«Ну, как рассеять горе Тани?»
Вот как: посадят деву в сани
И повезут из милых мест
В Москву на ярмарку невест!
Мать плачется, скучает дочка:
Конец *седьмой главе* — и точка!

Точно так, любезные читатели, все содержание этой главы в том, что Таню увезут в Москву из деревни!» — заключал Булгарин. И это говорилось о главе романа, которая отличалась тонким лиризмом, раскрывала драму Татьяны, рассказывала о ее попытках проникнуть в характер Онегина, о прощании с родным домом и переломе в ее жизни...

Свое предисловие Пушкин не напечатал. Остался в рукописи и его ответ на статью М. Дмитриева о четвертой и пятой главах романа. Пушкин и здесь прибегнул к ироническому пересказу критических замечаний Дмитриева. В частности, Пушкин писал об этом критике: он «негодует на Татьяну за то, что, раз увидев Онегина, она влюбилась без памяти — и пишет ему любовное письмо; что, конечно, очень неприлично. Наконец, находит он, что сии две главы

никуда не годятся, о чем я с ним и не спорю». Далее Пушкин писал: «Из 291 мелочи многие достойны осуждения, многие не требуют от автора милостивого отеческого заступления,—вольно всякому хвалить и порицать все, что относится ко вкусу». Пушкин останавливается лишь на тех замечаниях педанта, которые касаются правил «грамматики и риторики не столько для собственной его пользы, как для назидания молодых словесников».

Вновь вернулся Пушкин к литераторам, выступавшим против его романа, в статье «Опровержение на критики». Здесь кроме столь же иронически-сдержанных замечаний особенно важной была защита того принципа синтета литературного языка и народной речи, который нашел свое выражение в «Евгении Онегине». Пушкин писал по этому поводу: «Разговорный язык простого народа (не читающего иностранных книг и, слава богу, не выражающего, как мы, своих мыслей на французском языке) достоин также глубочайших исследований. Альфиери изучал итальянский язык на флорентийском базаре: не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирям. Они говорят удивительно чистым и правильным языком».

Однако и статья «Опровержение на критики» осталась лишь в рукописи. Спор приходилось вести на таком уровне, который никак не соответствовал самому предмету спора. Выпады Булгарина и Надеждина требовали не полемики, а эпиграмм, которыми Пушкин навсегда пригвоздил «зоилов»¹⁹. Но была и еще одна форма полемики, которую он блестяще использовал,— это реплики-примечания к «Евгению Онегину». Ряд таких реплик направлен против консерваторов, нападавших на реальное изображение жизни (в частности, деревенского быта), порицавших «простонародность» образов и языка. Фамилии этих критиков Пушкин не называл, ограничиваясь существом вопроса.

Полемика с критиком «Атеней» о праве употреблять в поэзии такие коренные русские слова, как «хлоп», «мольв», «топ», завершается в одном из примечаний к роману выводом: «не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка». Защита во второй главе имени героини — Татьяна, с которым «неразлучно воспоминанье старины иль девичьей», дополняется в другом примечании укоризненными словами в адрес приверженцев салонного вкуса: «сладкозвучнейшие греческие имена, каковы, например: Агафон, Филат, Федора, Фекла и проч., употребляются у нас только между простолюдинами»,

К этой реплике примыкает иная — саркастическая — по поводу стиха «В избушке, распевая, дева...»: «В журналах удивлялись, как можно было назвать девою простую крестьянку, между тем как благородные барышни, немного ниже, названы девчонками!»

К полемике с педантами, увидевшими в романе невольные вольности (например, критика «Атеней» возмущало, что в сне Татьяны Евгений ее увлекает и кладет ей голову на плечо), относится реплика в другом примечании к роману: «один из наших критиков, кажется, находит в этих стихах непонятную для нас неблагопристойность».

Еще ярче обнаруживало тупость нападок на роман примечание к строкам:

Какая радость: будет бал!
Девчонки прыгают заране.

«Наши критики, верные почитатели прекрасного пола, сильно осуждали неприличие сего стиха», — напомнил Пушкин.

Что же касается уровня понимания такого рода критиками совершенно ясных, казалось бы, образных деталей, то самой издевательской является, пожалуй, реплика Пушкина по поводу строк:

Мальчишек радостный народ
Коньками звучно режет лед.

«Это значит, — замечает один из наших критиков, — что мальчишки катаются на коньках». «Справедливо». Реплика адресована критику «Атеней» М. Дмитриеву (он здесь не назван): в разборе четвертой и пятой глав «Онегина» его приводили в недоумение простейшие тропы...

Такие реплики-примечания к роману, несмотря на их лапидарность, имели большое значение не только в полемике с критиками, но и в качестве дополнений к широкой и разносторонней защите творческих принципов, которую Пушкин развернул во внесюжетных строфах романа (так называемых лирических отступлениях). Эпизоды, раскрывающие характер и судьбы героев, переплетаются в главах романа со строфами, где опровергаются и высмеиваются устаревшие эстетические принципы (прежде всего классицизма) и прокламируется новая эстетическая программа реализма и народности. Всем этим роман как бы заранее опровергал многое из того, что выдвигалось против метода и стиля «Евгения Онегина» в современной, да и в позднейшей критике.

Итак, и при жизни Пушкина вокруг романа велась острая борьба противоположных общественных направлений. Были и попытки понять новаторство «Онегина», высказывались и здравые суждения.

Но никому не удавалось дать развернутой характеристики романа на основе целостной концепции пушкинского творчества. Даже Гоголь, который оставил великолепную оценку роли Пушкина в русской литературе, писал: «Он хотел было изобразить в «Онегине» современного человека и разрешить какую-то современную задачу — и не мог. Столкнувшись с места своих героев, сам стал на их место и, в лице их, поразился тем, чем поражается поэт. Поэма вышла собрание разрозненных ощущений, нежных элегий, колких эпиграмм, картинных идиллий, и, по прочтении ее, наместо всего, выступает тот же чудный образ на все откликнувшегося поэта»²⁰. Если так писал Гоголь, то чего же было ожидать от рядовых литераторов!..

После гибели Пушкина его друзья и почитатели понимали, что главная задача — защитить его имя и творчество от хулителей. К каким только приемам не прибегали зои-лы, чтобы опорочить Пушкина и его роман!.. В условиях, когда популярность поэта возросла, а читательская аудитория быстро демократизировалась, они стали доказывать, что «Евгений Онегин» произведение аристократическое, что в нем «поэт почти исключительно ограничился одним только высшим сословием», «не обращая внимания на «низшие слои общества»²¹. Правительственными кругами и их литературными прислужниками делалось все, чтобы унизить «солнце русской поэзии». Борьба с ними в условиях «свинцового десятилетия» было необычайно трудно. Статья В. Ф. Одоевского о нападениях петербургских журналов на Пушкина, написанная еще при его жизни, в 1836 году, не могла быть напечатана (она появилась в «Русском архиве» через 28 лет...). Статья того же Одоевского, написанная уже после гибели Пушкина (вариант первой), выдержана в еще более резких тонах. «Каким [клеветам, каким] оскорблениям не подвергали они (издатели журналов.— Б. М.) поэта, который составлял нашу гордость!» — писал Одоевский, вспоминая ругательные выступления «Северной пчелы» о «Полтаве» и «Евгении Онегине». Разумеется, и эта статья не могла увидеть свет. По словам Одоевского, напечатать ее не соглашались «ни из-

датели, ни цензоры: кто по дружбе и расчетам, кто по страху; такова была сила тогдашней «Северной пчелы» и ужас, ею наведенный... вообще борьба была неравная, ибо тогда считалось делом обыкновенным наводить на противника подозрение в неблагонамеренности, вольнодумстве и прочих вещах»²².

Однако нашелся человек нового поколения, бесстрашно вступившийся за Пушкина. Начиная с первой своей большой статьи — «Литературных мечтаний» (она была напечатана при жизни Пушкина), Белинский не упускал случая заклеить позором «Северную пчелу», Булгарина и других, травивших Пушкина при жизни и унижавших его творения после гибели. В «Литературных мечтаниях» верное смешивается с неверным. Белинский восторженно именует Пушкина совершенным выражением своего времени и мира русского. Но в то же время заявлял, что поэт «царствовал» лишь десять лет, а затем замерли «звуки его гармонической лиры»²³. Однако и в этой статье «Евгений Онегин» и «Борис Годунов» оцениваются им как «самые драгоценные алмазы его поэтического венка». «Я никогда не кончил бы, если бы начал говорить о сих произведениях», — добавляет Белинский²⁴. С возмущением пишет он, что ни один поэт не был так оскорбляем при жизни, и напоминает при этом гнусное поношение Булгариным «Евгения Онегина». А на других страницах «Литературных мечтаний» дана убийственная характеристика «Видока-Фиглярина» в полном согласии с знаменитыми памфлетами Пушкина («Феофилакта Косичкина»).

Затем в течение нескольких лет в печати не появлялось ничего примечательного ни о Пушкине, ни о его романе, исключением была лишь статья известного немецкого прогрессивного критика Фарнгагена фон Энзе, связанного с передовыми кругами русских литераторов²⁵. Восторженно говоря о Пушкине как о поэте в высшей степени национальном и самобытном, защищая его от обвинения в подражательности, фон Энзе особенно высоко оценивает «Онегина», равно которому, по его мнению, нет во всей европейской литературе. Этот роман он называет «зеркалом русской жизни». Но, разумеется, при всех своих достоинствах статья немецкого критика, предназначенная для зарубежных читателей, мало знакомых с творчеством Пушкина, не могла выполнить задачи широкого истолкования исторического и современного значения его творчества. Лишь великолепный цикл статей Белинского 1843—1846 годов не только разру-

шил вакуум, образовавшийся вокруг трагически погибшего поэта, но и ознаменовал новый этап в осмыслении всего его творчества и его романа в стихах.

Оценки Белинским «Евгения Онегина» стали для наших читателей такими привычными, что сегодня трудно представить себе переворот, который они произвели в понимании романа. Это было настоящее откровение! Нет необходимости говорить здесь о посвященных «Онегину» двух статьях критика из его прославленного цикла. Скажу лишь о главном, о том, что явилось резким контрастом в сравнении со всеми, даже лучшими, отзывами современников о романе и что отвергало всякие пересуды, нелепые толки, клеветнические нападки.

Статьи Белинского открыто полемичны по отношению к выступлению предшественников. Раньше даже самые дальновидные критики не могли оценить роман как целостное произведение и видели в нем лишь ряд образов и картин. Совершенно иным был подход Белинского.

Целостность содержания романа основана, как он показал, не только на связи образов и мотивов, но и на единстве сознания автора, его внутреннего мира. В «Евгении Онегине», утверждал Белинский, с исключительной полнотой отражалась личность поэта, вся жизнь, идеалы, понятия, чувства... А ведь сколько раньше было прямых и косвенных обвинений романа в отсутствии глубокой мысли, с намеками, что причина этого в личности самого автора!

Впервые было показано, что это произведение проникнуто глубочайшей идеей. Перед читателями раскрылась «энциклопедия русской жизни», охватывающая разные ее стороны, вплоть до деталей быта. Раньше народность романа понимали как образец этнографически расцвеченного изображения русской действительности частными приметами. Белинский противопоставил этому мнению свою историко-философскую характеристику произведения как в высшей степени народного акта сознания русского общества. Белинский защитил пушкинское понимание творчества, его реалистическую систему, снимающую все запреты, установленные канонами догматической эстетики. Вместе с тем в статьях Белинского прозвучала энергичная отповедь и тем псевдодемократическим критикам, которые считали роман аристократическим, светским, поскольку, заявляли они, главные герои взяты не из народной среды. Белинский показал, что Онегин, Татьяна, Ленский — типичнейшие представители своего времени и что «истинную национальность»

представляют здесь именно они, а не выскочки из мещанства или типы «поштенного» купеческого сословия, от имени которых выступали ревнители псевдонародности. Таким образом, в статьях Белинского впервые замысел, идеи «Онегина» освещались на основе определенной и стройной концепции, позволившей оценить значение романа не только для познания современного общества, но и как совершенно новой фазы развития русской литературы.

Оригинальным был и взгляд Белинского на героев романа. Сильные и слабые стороны Онегина Белинский рассматривает как результат условий времени, о которых он говорит: «бездеятельность и пошлость жизни душит его; он даже не знает, что ему надо, чего ему хочется». Для характеристики Онегина Белинский нашел точную формулу — «страдающий эгоист»²⁶. Критик далек от осуждения героя и прямо защищает его от несправедливых обвинений. Самый характер Онегина Белинский оценивает в его развитии. Совершенно очевидно, что Белинский видел, как Онегин стал меняться: письмо Онегина к Татьяне горит страстью, в нем уже нет иронии, нет светской умеренности. Любопытно, что, рассуждая о развитии Онегина в дальнейшем, Белинский не исключает, в числе вариантов его судьбы, возможность духовного возрождения: «Что случилось с Онегиным потом? Воскресила ли его страсть для нового, более сообразного с человеческим достоинством страдания? Или убила она все силы души его, и безотрадная тоска его обратилась в мертвую, холодную апатию? — Не знаем, да и на что нам знать это, когда мы знаем, что силы этой богатой природы остались без приложения, жизнь без смысла, а роман без конца? Довольно и этого знать, чтобы не захотеть больше ничего знать» (469). Иначе говоря, дальнейшее развитие личности Онегина Белинский ставил в зависимость от жизненных обстоятельств, в которых он мог бы оказаться.

Как характер, обусловленный явлениями самой жизни, рассматривал Белинский и образ Ленского. «Тогда это было совершенно новое явление, и люди такого рода тогда действительно начали появляться в русском обществе» (470). Критика Белинским отвлеченности характера Ленского от действительности носит ярко выраженный публицистический характер: она направлена против философии идеализма, которая в 40-е годы использовалась либерально-дворянской общественной мыслью как прикрытие общественной бездеятельности.

Особенно высоко Белинский оценил образ Татьяны, как исключительной, гениальной натуры с трагической судьбой. «Вся жизнь ее проникнута той целостностью, тем единством, которое в мире искусства составляет высочайшее достоинство художественного произведения» (482). В характере героини Белинский подчеркивал подлинную народность, не только стихийную, но и сознательную. Анализируя обстоятельства развития образа Татьяны, Белинский отметил, что в итоге «ум ее проснулся. Она поняла наконец, что есть для человека интересы, есть страдания и скорби, кроме интереса страданий и скорби любви» (497). Здесь следует видеть, конечно, намек Белинского на потенции, которые содержались в этом характере.

Основные оценки романа Белинским стали определяющими в литературоведении вплоть до наших дней. К его статьям прибегают участники сегодняшних споров о романе. Однако нередко цитатами из этих статей хотят доказывать даже противоположные мнения. Этой странности в полемике мне еще придется коснуться, когда разговор пойдет о современных истолкованиях «Онегина». Пока же скажу, что не все выводы Белинского можно считать окончательными, раз и навсегда решающими сложные проблемы, связанные с романом. Догматический подход противоречил бы убеждениям самого Белинского, который считал, что Пушкин принадлежит к таким явлениям, о которых каждая эпоха произнесет свое суждение. Естественно, что наше литературоведение, развивая одни положения критика, вместе с тем уточняет другие и отводит третьи, если они опровергаются новейшими исследованиями. Ведь Белинскому не могла быть известна ни история создания романа, ни многие материалы и документы, связанные с ним (в том числе переписка Пушкина и его современников).

Сегодня, в свете всего, что мы знаем о Пушкине и его мировоззрении, не может быть принято, например, такое рассуждение Белинского о Пушкине: «Везде видите вы в нем человека, душою и телом принадлежащего к основному принципу, составляющему сущность изображаемого им класса; короче, везде видите русского помещика... Он нападает в этом классе на все, что противоречит гуманности; но принцип класса для него — вечная истина. ...И потому в самой сатире его так много любви, самое отрицание его так часто похоже на одобрение и на любование...» (502). В литературоведении были попытки это заключение использовать в трактовках идеологии Пушкина как помещицкой.

Необоснованность такого толкования давно стала очевидной. Не менее нелепы были попытки доказать, что Белинский, говоря о том, что у Пушкина «везде вы видите русского помещика», имел в виду гуманизм Пушкина. Здравый смысл требует признать, что это положение Белинского противоречит его же характеристике романа как энциклопедии русской жизни и в высшей степени народного произведения.

Слабыми сторонами просветительства следует объяснить и критику Белинским реакции Татьяны на письмо Онегина. Белинский, критикуя решение Татьяны («...я другому отдана; Я буду век ему верна») и почти иронизируя над ним, проявил чисто просветительскую односторонность. Конечно, если рассматривать решение Татьяны как единственно верное для всех случаев жизни, то оно действительно выглядит как чуть ли не «безнравственное», обрекающее женщину на отказ от настоящей любви только потому, что она «другому отдана» («именно отдана, а не отдалась!» — иронически подчеркивает Белинский). Но Пушкин вообще никогда не предлагал единственно возможных решений, годных в любых обстоятельствах. Решение же, которое приняла Татьяна, было единственно возможным именно в данной, конкретной ситуации. И принято оно было вовсе не потому, что после замужества для Татьяны, как полагал Белинский, мнение света «всегда будет ее идолом и страх его суда всегда будет ее добродетелью». В глазах Татьяны Онегин, хотя она и продолжала его любить, был уже все-таки не тот человек, о котором она мечтала и которому писала свое смятенное письмо. Онегин тогда объяснил причины своего отказа от ее любви, но остался равнодушным к ее внутреннему миру, к ее признаниям («...я здесь одна...» «никто меня не понимает»...), к ее мольбам, выраженным с такой болью. Прошли годы. В письме Онегина она нашла лишь объяснение в его запоздалой любви, но по-прежнему ничего, что касалось бы ее личности, ее собственной судьбы, ее внутреннего мира. Достаточно сравнить оба письма — Татьяны и Онегина, чтобы увидеть выражение духовного богатства, исповедь юной души в первом, а во втором — только лишь объяснение в любви, пусть искреннее и пылкое, но все-таки лишенное понимания индивидуальности той, которой оно написано. Все это объясняет, почему Татьяна, не отрицая в Онегине ни «гордости» (в смысле сознания собственного достоинства), ни «прямой чести», видит в его чувстве обидную

для нее страсть, с которой он не может справиться. Поэтому решение Татьяны было для нее и актом сознания, и выражением мужественного, сильного характера, высокой моральной чистоты, не признающей компромисса ни в чем. Сам же Белинский признает, что Татьяна натура глубокая, исключительная.

3

После Белинского довольно долго не появлялось работ, посвященных пушкинскому роману. О нем если и говорили, то попутно, в общих статьях о Пушкине или в характеристиках его эпохи.

Особенно ценными были мысли, высказанные Герценом в его книге «О развитии революционных идей в России» (Лондон, 1851). Получив возможность полным голосом говорить в печати, свободной от цензуры, Герцен впервые поставил творчество Пушкина в связь с историей русского освободительного движения, выполнив то, чего не мог сделать Белинский. Замысел «Онегина» Герцен рассматривал на фоне русской жизни после разгрома декабрьского восстания: «Каждая песнь «Онегина», появлявшаяся после 1825 года, отличалась все большей глубиной. Первоначальный план поэта был непринужденным и безмятежным: он его наметил в другие времена, поэта окружало тогда общество, которому нравился этот иронический, но доброжелательный и веселый смех. Первые песни «Онегина» весьма напоминают нам язвительный, но сердечный комизм Грибоедова. И слезы и смех,— все переменялось»²⁷. Образ Онегина Герцен, вслед за Белинским, рассматривал как отражение условий русской жизни, но отмечал его типичность и жизненность для нового поколения. Пока не изменятся обстоятельства, тип Онегина не умрет: «его постоянно находишь возле себя или в себе самом»²⁸.

Герцен отверг традиционные в консервативной критике мнения о подражательности «Онегина». Поскольку Герцен считал, что «Онегин» мог быть создан только как зеркало последекабрьской русской действительности, он сделал из этого логический вывод. «Те, кто говорит, что поэма Пушкина «Онегин» есть «Дон-Жуан» русских нравов, не понимает ни Байрона, ни Пушкина, ни Англии, ни России: они судят по внешности»²⁹.

Более остро, чем Белинский, да, пожалуй, и более верно, рассматривал Герцен образ Ленского. Для него Лен-

ский — трагический характер, человек, которому «нечего делать в России», «самоотверженный энтузиаст», «жертва русской жизни».

В революционно-демократической критике 50—60-х годов оценка исторического значения образа Онегина сочетается с осуждением сущности лишнего человека в новых условиях. В статье Добролюбова о Пушкине (1856) мы читаем: «Его Онегин не просто светский фат, это человек с большими силами, человек, понимающий пустоту той жизни, к которой призван он судьбою, но не имеющий довольно силы характера, чтобы из нее выбраться»³⁰. В другой статье — «О степени участия народности в развитии русской литературы» (1858), — признавая Онегина «талантливой натурой», Добролюбов оценивает его с современной точки зрения и утверждает, что он принадлежит к числу «пошляков», «москвичей в гарольдовом плаще»³¹. Вместе с тем Добролюбов отмечал заслуги Пушкина в выдвижении типа «лишнего» человека, впоследствии развитого в русской литературе («Что такое обломовщина», 1859). И Добролюбов, и Чернышевский резко критиковали людей этого типа, которые в условиях 50—60-х годов утратили былые прогрессивные черты.

Для революционно-демократической критики 50—60-х годов критериями оценки Пушкина была степень его близости к новому этапу критического реализма, «гоголевскому направлению». С принципиально иных, консервативных позиций судили о Пушкине и его романе литераторы из лагеря «чистого искусства». «Евгения Онегина» касались мало, но когда о нем говорили, то с явным искажением его сущности.

А. Дружинин утверждал, что поэзия Пушкина может служить «лучшим орудием» против сатирического гоголевского направления. В пушкинском романе он видел преодоление скептицизма и протеста, погружение в патриархальный быт, где «все глядит тихо, спокойно и радостно»³². Однако особого значения для судьбы романа в русской критике подобные мнения не имели.

Оживленные споры на некоторое время прервались. Никто не смог поколебать авторитета Белинского. Его оценки «Евгения Онегина» оставались незыблемыми. Но прошло еще несколько лет, и произошло неожиданное и парадоксальное событие, которому было суждено оказать роковое влияние на восприятие молодым поколением и пушкинского романа и лучшего его истолкователя — Белинского.

Виновником этой перемены оказался один из выдающихся представителей демократического лагеря, властитель дум прогрессивных людей 60-х годов — Писарев! Его статьи «Пушкин и Белинский», напечатанные в 1865 году в журнале «Русское слово», произвели поистине ошеломляющий эффект³³.

В специально посвященной «Евгению Онегину» статье Писарев поставил задачей дискредитировать основной тезис Белинского о романе как «энциклопедии русской жизни», великом национальном достоянии русской литературы. Это был не спор с Белинским, а жесточайший памфлет, в котором не были пощажены ни автор романа, ни его герои. Онегин аттестуется как «ничтожнейший пошляк, коварный изменщик и жестокий тиран дамских сердец», «Митрофанушка Простаков» новой формации. Сам Пушкин в своем взгляде на него «оказался человеком светской толпы», он «оправдывает своим авторитетом робость, беспечность и неповоротливость индивидуальной мысли»³⁴. Не менее резко говорится об отношении Пушкина к Татьяне и о самом ее характере: «В своей Татьяне он рисует с восторгом и сочувствием такое явление русской жизни, которое можно рисовать только с глубоким состраданием или с резкой иронией». Ее влюбленность в Онегина, ее переживания, ее значительное своей искренностью письмо Писарев излагает в фельетонном стиле с издевательскими комментариями: «Татьяна завирается все хуже и хуже», «Любовь к Онегину была только подделкой любви», а затем Татьяна сознательно стала украшением генеральского дома. Онегин низведен до уровня пошляка и человека, который с жиру бесится, находится «на одном уровне с самим Пушкиным и с Татьяной»³⁵ и т. д.

Позже Чехов так отзывался о писаревских попытках развенчать Пушкина и его роман: «Прочел опять критику Писарева на Пушкина. Отношение к Татьяне, в частности, к ее милому письму, которое я люблю нежно, кажется мне просто омерзительным. Воняет от критики назойливым, придирчивым прокурором»³⁶.

Сегодня трудно поверить, что эти нигилистические характеристики Писарева могли иметь такой оглушительный резонанс. Но факт остается фактом. Объяснение этому удивительному явлению нужно видеть в авторитете Писарева, страстного борца с обскурантизмом, замечательного философа-материалиста, к тому же обладавшего талантом полемиста. Но слов из песни не выкинешь: и в биографии

Писарева эпизод с его статьями о Пушкине остается, мягко говоря, явлением отрицательным и не имеющим ничего общего с традициями передовой критики; это давно признано советским пушкиноведением. Трагическая ошибка Писарева заключается в том, что он (разумеется, совершенно с других позиций и не имея ничего общего с реакционной критикой 20—30-х годов) повторял и развивал, сам того не подозревая, самые резкие суждения о романе, звучавшие при жизни Пушкина³⁷, и поэтому можно лишь пожалеть, что некоторые литературоведы пытаются если не пересмотреть, то корректировать сложившуюся в нашей науке оценку этих статей Писарева, «извинить» его грубо несправедливые и издевательские суждения о великом поэте обстоятельствами литературной борьбы того времени. Действительно, из текста самих статей Писарева можно заключить, что, критикуя Пушкина, он вместе с тем критиковал и литературных деятелей из лагеря «чистого искусства». Однако борьба с «чистым искусством» вовсе не требовала одновременно «уничтожать» Пушкина и поносить его роман.

Есть основания полагать, что в дальнейшем Писарев исправил бы свою ошибку, — безвременная смерть помешала этому... Но его оценка романа и вообще Пушкина продолжала делать свое дело. Тогда многим казался убедительным вывод критика: «...Пушкин может иметь только историческое значение, а для тех людей, которым некогда и незачем заниматься историей литературы, не имеет даже вообще никакого значения»³⁸.

Будущим исследователям предстоит выяснить, почему все эти бездоказательные писаревские рассуждения не были сразу же достойно опровергнуты (появившиеся тогда статьи историков литературы М. Лонгинова и А. Скабичевского, споривших с Писаревым, не произвели нужного эффекта). Но прошло лет пятнадцать, и русское общество стало свидетелем такого события в истории борьбы вокруг Пушкина, которое неизмеримо превысило резонанс, вызванный статьями Писарева. 8 июня 1880 года, на торжествах, посвященных открытию памятника Пушкину в Москве, Достоевский произнес свою знаменитую речь. Именно этому, исполненному противоречиями выступлению, где идея великого всемирного и национального значения Пушкина соединялась с консервативными идеями, суждено было обозначить новую полосу возрождения авторитета Пушкина.

«Евгению Онегину» Достоевский отвел в своей речи центральное место. Это произведение он охарактеризовал как бессмертное, в котором реалистически «воплощена настоящая русская жизнь с такой творческой силой и с такой законченностью, какой и не бывало до Пушкина, да и после него, пожалуй»³⁹. Речь Достоевского полемична как своими положительными, так и негативными сторонами. В частности, непосредственно против Писарева направлена и высочайшая оценка романа в целом, и характеристика Татьяны. Отсюда и полемический тон характеристики: «Это положительный тип, а не отрицательный, это тип положительной красоты, это апофеоз русской женщины...»⁴⁰ Однако, подчиняя свой анализ романа ложной идее смиренномудрия русского народа, Достоевский вместе с тем тенденциозно истолковал смысл образов Онегина и Татьяны. Онегин представлен здесь лишь как «беспокойный мечтатель» — тип, который носит в себе зерна протеста «гордого человека», противостоящего «смиренному» идеалу Татьяны.

Внутренний смысл этой трактовки образов Онегина и Татьяны был вскрыт Г. И. Успенским, который оценил ее как «проповедь тупого, подневольного, грубого жертвоприношения», то есть преуменьшения великих ценностей русской литературы и общественной мысли в угоду предвзятой консервативной идее⁴¹.

В критике конца XIX — начала XX века преобладали суждения о романе, связанные преимущественно с декадентством и символизмом. Такова, например, статья Н. Минского «Заветы Пушкина», где личность и поступки Онегина препарируются в духе философии разрушения личности. Д. Мережковский в книге «Вечные спутники. Пушкин» (три издания в 1899—1906 годах) следовал несколько модифицированным взглядам Достоевского, подновленным философией символизма⁴².

В литературоведении этого времени существенных завоеваний в истолковании пушкинского романа не было. Историко-культурная школа рассматривала пушкинский роман лишь как иллюстрацию к тем или иным явлениям эпохи. В. В. Сиповский в работе «Онегин, Татьяна и Ленский» (1907), следуя именно такой методологии, осветил образ Онегина лишь как повторение некоторых черт современников, а образ Татьяны превратил в сумму литературных влияний. Не было крупных результатов в изучении романа и у представителя психологического литературове-

дения. Д. Н. Овсяннико-Куликовский в «Истории русской интеллигенции» (1908) стремился проанализировать образ Онегина с точки зрения психики «лишнего» человека. При этом он считал, что «лишнего» человека создают совместные действия двух факторов — «плохая психическая организация человека, наследственная или благоприобретенная (включая также и психопатологическую сторону)», а также «моральный разлад между личностью и средой»⁴³. Хотя в книге Овсяннико-Куликовского имеются отдельные верные наблюдения, однако внести что-либо принципиально новое в оценку романа он не смог.

Среди немногих, в общем, работ об «Онегине» этого времени до сих пор с интересом читается статья В. О. Ключевского «Онегин и его предки» (1899). Любопытна сама попытка реконструировать своеобразную генеалогию Онегина. Но никак не согласуется с пушкинской трактовкой образа героя убеждение Ключевского, что «Онегин — это не столько тип, сколько гримаса, не столько характер, сколько поза, и притом чрезвычайно неловкая и фальшивая»⁴⁴.

Таковы основные контуры общей картины оценок величайшего творения пушкинского гения в XIX и начале XX века.

4

На фоне полемики о «Евгении Онегине» в XIX и начале XX века рельефнее вырисовываются достижения советского пушкиноведения в изучении романа, более отчетливо выступают также новые и спорные вопросы.

В наше время сделано немало. Обстоятельно освещено значение романа для пушкинской эпохи и для дальнейшего развития русской литературы, написаны десятки исследований, сотни статей, главы в общих очерках и монографиях о Пушкине. Вместе с тем достигнутое оказывается все же недостаточным не только потому, что каждая эпоха раскрывает Пушкина с новых сторон: развитие науки и литературы вызывает новые решения старых вопросов и новые аспекты изучения.

Возможности углубленного изучения романа расширились благодаря исследованию истории его создания, установлению исправного текста, анализа рукописей. Эта работа, которая велась С. М. Бонди, Б. В. Томашевским и дру-

гими, отражена в 6-м томе полного академического собрания сочинений Пушкина (издан в 1937 году). Здесь впервые был опубликован свод всех черновых вариантов романа.

К постановке крупных проблем изучения «Онегина» пушкинисты пришли в 1930 году после общего подъема советской историко-литературной науки, когда в центре внимания исследователей стало величайшее национальное и мировое значение пушкинского романа⁴⁵. Отошли в прошлое вульгарно-социологические домыслы об ограниченности его героев интересами дворянско-классового мирка. Теперь анекдотически звучат и попытки не менее узкого понимания демократизма, когда для авторов некоторых учебников 20-х годов чуть ли не определяющим было мимолетное упоминание в романе о том, что Татьяна «бедным помогала». Очевидна и наивность сведения народности романа только к таким строкам, как, например, «Зима. Крестьянин торжествуя...» В ряде советских исследований 40—60-х годов показано, что в «Евгении Онегине» Пушкин, впервые в русской литературе, нашел такой угол зрения на жизнь, который характерен для народных представлений о прекрасном, о нравственности и который совершенно чужд всякой аристократической исключительности и романтической условности. В романе нет развернутого изображения народа, но само по себе никак не подчеркнутое и даже незаметное введение зарисовок народной жизни и быта во всю художественную ткань повествования знаменовало собой подлинный переворот в понимании сущности эстетического. Эти зарисовки явились результатом нового понимания отношения искусства к действительности.

В отличие от устаревшего понимания роли в «Онегине» общественной среды как фона действия, наше пушкиноведение, развивая идеи Белинского, анализирует определяющее значение этой среды для поведения героев в сложившихся ситуациях. Такая трактовка роли среды в самом романе отличает его от произведений, где герои выступали в качестве носителей абстрактных добродетелей или пороков. Общественно-историческая трактовка среды Пушкиным таила в себе объективно революционную логику: среда, не только противоречащая гуманности, не только парализующая самые светлые стремления лучших людей, но и уродующая их психику,— такая среда заслуживает сурового приговора. Но вместе с тем Пушкин, показывая обусловленность героев средой, не освобождает их от мораль-

ной ответственности за свои поступки, раскрывает в характерах не только типологические, но и индивидуально-психологические черты. Эти особенности романа связывают его со всем дальнейшим развитием русского реализма.

В свете разносторонних исследований наши ученые обнаружили полную несостоятельность многочисленных выступлений в XIX — начале XX веков, когда ставились под сомнение оригинальность и значительность пушкинского романа, его роль в развитии русской литературы, его непреходящая ценность — все те вопросы, вокруг которых сталкивались мнения не только давно забытых литераторов, но и виднейших критиков (вспомним опять-таки Писарева!). Теперь стала уже аксиомой оценка «Евгения Онегина» как шедевра реалистического искусства, в котором высочайшие эстетические достоинства сочетаются с глубоким раскрытием характеров и закономерностей социально-исторической жизни, как произведения, соединяющего критицизм с воплощением положительных идеалов и открывшего блистательный путь русского классического романа. Некоторые современные зарубежные литературоведы, не считаясь ни с фактами развития русской литературы XIX века, ни с трудами советских пушкинистов, утверждают, что «Евгений Онегин» — следствие байронизма и должен рассматриваться в рамках романтического направления⁴⁶. Эти литературоведы считают возможным выдавать в качестве новых свои взгляды на этот роман, грубая ошибочность которых была доказана уже Белинским.

Единству мнений советских литературоведов в основном, что определяет значение «Евгения Онегина» для русской культуры и литературы, сопутствуют непрекращающиеся споры по ряду весьма важных вопросов. В них затрагиваются многие темы — творческой истории романа, композиции, языка и стиля, роли в романе лирической стихии, юмора, сатиры и другие. Но в центре споров, иногда весьма острых, оказались вопросы, волнующие не только ученых, но и широкие читательские круги. Ничто в полемике о романе не вызывало и не вызывает в последние годы такого столкновения мнений, как характеры и судьбы Онегина и Татьяны, возникшие коллизии. Особый интерес к этим вопросам вполне оправдан. Ведь герои романа — представители целой эпохи русской жизни, их облик и отношения между ними определяют всю структуру романа, на этом основана концепция всего произведения. Кроме того, спор об Онегине и Татьяне вызван не только желанием лучше, вер-

нее познать историческое прошлое, он косвенно связан с вечно живыми, никогда не устаревающими проблемами положительного героя и критериев его оценки, проблемами этического идеала. И еще одно соображение, почему не смолкают никогда споры о романе. Пушкин, создавая его, сознательно, тонкими ювелирными приемами и прямым обращением к читателю заставляет его принимать живое участие в авторских размышлениях о жизни, о героях и их судьбах, часто предлагает читателю выбор из разных решений⁴⁷. Эту особенность «Евгения Онегина» заметила еще в 1830 году «Литературная газета». Здесь впервые было сказано, что покоряющая читателя сила пушкинского творчества основана на новом отношении писателя и читателя, на активном «соучастии» читателя. «Власть его (Пушкина.— Б. М.) над нами столь сильна, что он не только вводит нас в круг изображаемых им предметов, но изгоняет из души нашей холодное любопытство, с которым являемся мы на зрелища посторонние, и велит участвовать в действии самом, как будто бы оно касалось до нас собственно»⁴⁸.

Прежде чем перейти к существу споров, напомним о некоторых новых их чертах по сравнению с полемикой в XIX веке. И в те времена сталкивались крайние точки зрения в трактовках героев, их характеров и судеб. Но теперь в полемике стали фигурировать новые, раньше неизвестные материалы. Это прежде всего многочисленные факты биографии Пушкина периода работ над «Онегиным» и истории создания произведения. Но особенное значение для истории приобрели уцелевшие, зашифрованные строфы десятой главы, рисующие картину общественно-политического движения в России начиная с эпохи войны 1812 года и далее — до возникновения «сети тайной» — декабристских организаций. Опасаясь, что эта глава попадет в жандармские руки, Пушкин сжег ее 19 октября 1830 года, но записал особым шифром отрывки из нее⁴⁹. Шифр разгадан П. О. Морозовым в 1910 году, однако лишь в наше время началось исследование замысла десятой главы и обсуждение вопроса о том, какое значение она могла иметь в развитии романа и судьбы главного героя. В этом свете иначе стали воспринимать развитие образа Онегина в предыдущих главах. Получили новый смысл общеизвестные строфы начала романа о юности разочаровавшегося затем Онегина, намеки на его вольнолюбие, на политические темы в разговорах с Ленским. После публикации отрывков деся-

той главы возникли концепции возрождения Онегина к новой жизни, его вхождения в круг декабристов⁵⁰.

Надо сказать, что не может быть категорического суждения о том, уместны ли вообще гипотезы о судьбе героев за пределами законченного и напечатанного Пушкиным текста романа. Конечно, недопустимы беспочвенные домыслы, никак не связанные с тенденциями развития характеров. Но ведь в этом романе, как и во многих других произведениях классиков, характеры героев обрисованы в потенциальных возможностях их развития (такого рода потенциалы Салтыков-Щедрин в свое время называл «готовностями»⁵¹). Все это вполне оправдывает правомерность гипотез, если они не отрываются от самого произведения и не находятся в явном противоречии с реальным замыслом.

Но вернемся к вопросу о том варианте финала, который известен по воспоминаниям М. Юзефовича, варианте вхождения Онегина в декабристскую среду и его гибели.

Тогда подготовкой к десятой главе была бы глава, посвященная путешествию Онегина по России. (Пушкин напечатал только отрывки из этой главы в приложении к роману.) По оставшимся в черновиках отрывкам из «Путешествия» можно заключить, что в своих странствиях по России Онегин ближе познакомился со страной и это не могло не оказать на него влияния. Он увидел «Новгород Великий», некогда мятежные площади, «мятежный Волхов», пред ним возникают образы вольнолюбивого Вадима, Стеньки Разина. И тогда в числе причин, вызывающих тоску Онегина, появляется новый мотив — противоречие между героическим прошлым и пошлой прозой современности. Вернувшись из путешествия, Онегин не остался тем же, кем был. Резче ощущается его чуждость светскому обществу («для всех он кажется чужим»). Искренность и сила его любви к Татьяне — нечто новое для человека, который досконально изучил науку «страсти нежной» и о котором было сказано: «рано чувства в нем остыли». Но, судя по окончательному тексту романа и по сохранившимся черновикам, все это были проблески пробуждения души Онегина. Любовь к Татьяне не могла быть для него возрождением, новые мысли и чувства, пробудившиеся в его душе, все же не привели к коренному изменению характера⁵².

В спорах об истолковании путешествия Онегина и десятой главы столкнулись крайние точки зрения. Например, И. Дегтеревский утверждал, что характер Онегина вообще статичен и не подвергался никаким изменениям. Больше

того, он считает, что в «Путешествии» Пушкин «разоблачал» Онегина и «хотел посмеяться над ним»⁵³. Г. Евстифеева и В. Глухов развивают версию о полном отказе Пушкина от стремления воплотить в Онегине даже какие бы то ни было черты, связанные с людьми декабристского склада⁵⁴. Статьи этих литературоведов, несмотря на необоснованность выводов, интересны и находятся в пределах научной полемики. Но вне ее оказалась скандальная публикация И. Гуторовым малограмотного «полного текста» десятой главы в «Ученых записках Белорусского университета» (выпуск 27, Минск, 1956). Эта грубейшая фальсификация была вскоре разоблачена⁵⁵.

Развивалась в литературе и концепция «полного возрождения» Онегина. Например, А. Гербстман считает роман декабристским произведением, а его героя — будущим декабристом, человеком, который еще в первой главе разорвал со светом под влиянием идей тайного общества⁵⁶.

Одной из работ, привлечших особое внимание своим общим высоким научным уровнем, обстоятельной характеристикой «Евгения Онегина», явилась книга Г. А. Гуковского «Пушкин и проблемы реалистического стиля» (1957). Аргументированный анализ пушкинского романа, его реалистического метода, композиции, поэтики — все это оказалось, однако, в противоречии с весьма дискуссионным и необоснованным утверждением о полном духовном и политическом возрождении Онегина в восьмой главе. Но ведь, собственно говоря, единственно, что нам известно из этой главы об эволюции Онегина, — это его пробудившаяся любовь к Татьяне. Конечно, сама способность полюбить так искренно, горячо, самоотверженно — говорит о глубоких изменениях в облике героя. Но Г. А. Гуковский уже не в порядке гипотез, основанных на материалах, оставшихся за пределами опубликованного Пушкиным текста романа (такие гипотезы, повторяю, вполне допустимы), а без всяких оговорок, убежденно, как о свершившихся фактах, утверждает, что Онегин здесь «новый», он не только становится на один уровень с Татьяной, но, более того, теперь подготовлен к «восприятию истины, свободы»; его чтение — это «чтение будущего декабриста», ему открывается мир «высокой гражданственности», и — как апофеоз — «он может выйти на площадь четырнадцатого декабря»⁵⁷. Все это тем более странно, что сам же Гуковский предупреждает в другом месте своей книги, что мы принуждены и обязаны «рассматривать его (произведение. — Б. М.) в том виде, как оно

есть и как оно вошло в историю литературы», хотя при этом и имеем основание проверять наши «утверждения касательно печатного текста романа всеми данными, которыми мы располагаем для суждения о полном пушкинском замысле»⁵⁸. К сожалению, ученый развивает свою упомянутую концепцию в противоречии с этой верной мыслью. Здесь очевидна явная методологическая неувязка. Как справедливо отмечает У. Фохт, литературоведы, утверждающие, что Онегин пришел к декабризму, не разграничивают разные задачи в исследовании романа. Одно дело изучать творческую историю произведения и искать ответа на вопрос, почему Пушкин не включил в него «путешествие» и десятую главу, а другое — в нарушение воли автора «перекраивать произведение и рассматривать его в таком виде, в каком оно никогда не существовало в нашей литературе»⁵⁹. И еще одно соображение. Если даже гипотетически допустить, что Онегин «пристал» к среде декабристов, трудно сказать, какое место он там занял бы и чем кончилось бы это сближение, победил бы он тот свой политический скептицизм, о котором во второй главе сказано:

...думал, что добро, законы,
Любовь к отечеству, права —
Одни условные слова.

В том решении, которое принял Пушкин, оборвав биографию Онегина, оставив ее незавершенной, был глубокий исторический смысл. Роман раскрыл губительные последствия «душевной пустоты», «равнодушия» не только для личной судьбы Онегина (томившегося «без цели, без трудов», в «бездействии досуга», осужденного на бессмысленное существование и дошедшего до мысли о том, что лучше смерть, чем такая жизнь). Это «равнодушие», индифферентизм опасны и для общественного развития. Такой вывод следует логически из романа: ведь драматизм судьбы Онегина показан как результат условий социальных, господствующих норм политики, морали и т. д. Поэтому в романе происходит не «суд над Онегиным», а прежде всего осуществляется весь общественный приговор, а уже рядом с этим раскрываются положительные и отрицательные стороны индивидуальности героя.

Как же развивалось обсуждение этих проблем романа в дальнейшем?

В дискуссии, происходившей в печати и в Институте мировой литературы имени А. М. Горького, были представле-

ны разнообразные трактовки образов и судеб Онегина и Татьяны. На этот раз непосредственным толчком к спорам послужили две статьи Г. П. Макогоненко, посвященные книгам Г. А. Гуковского — «Пушкин и проблемы реалистического стиля» и Б. С. Мейлаха — «Пушкин и его эпоха»⁶⁰. В первой из этих статей Г. Макогоненко принимал характеристику Гуковским возрождения героя по пути декабризма. Но вместе с тем он критиковал ученого за то, что тот не видит изменения в характере Татьяны под тлетворным влиянием светской среды; хотя героиня «не стала совсем другой», но рядом с прежней Таней начала жить и другая женщина — княгиня, вынужденная притворяться, приспособливаться. Если Онегин изменялся в лучшую сторону, то Татьяна — в иную: «Результат изменения Татьяны — ее неверие в Онегина, непонимание его любви, нравственная глухота»⁶¹.

Во второй из упомянутых статей Г. Макогоненко развивал ту же точку зрения на Онегина, что и в своем отзыве о книге Гуковского. Соглашаясь со мной в критике отрицательных оценок Онегина, Макогоненко вместе с тем считал, что я непоследователен, не желая признавать полной перемены в облике и мировоззрении героя, в типе его эволюции. И снова Г. Макогоненко повторял изложенную в первой своей статье точку зрения на изменения в характере Татьяны.

Г. П. Макогоненко — исследователь, известный свежестью подхода к явлениям литературного прошлого, — совершенно прав, критикуя до сих пор еще живущую (особенно в школьном преподавании) банальную схему «суда Татьяны над опустошенным Онегиным», когда Онегин выглядит чуть ли не тунеядцем, светским хлыстом, а Татьяна — прокурором в этом суде. Вместе с тем, как признает Макогоненко, «на наших глазах происходит пересмотр такого рода оценок «Евгения Онегина», наука освобождается от гипноза писаревских приговоров»⁶². Все это так. Но в ходе «пересмотра» не нужно отрывать от реальности пушкинского романа, подменять гипотезы конструированием «другого Онегина», превращать его воображаемую эволюцию в действительную. И, наконец, особенности характеров Онегина и Татьяны не могут быть верно поняты вне общих основ художественного метода Пушкина, его трактовок соотношения типического и индивидуального.

Выступивший в завязавшейся полемике Б. Бурсов⁶³ упрекал Г. Макогоненко в «возвеличении Онегина» и возра-

жал против исключения героя из категории «лишних людей». Критиковал он тезис о превращении Татьяны в светскую даму. Однако совершенно неверным было его заключение, что начавшаяся дискуссия вообще не имеет смысла и полемизировать, собственно, не о чем. Вспыхнувший затем спор показал, что он давно назрел и оказался весьма актуальным. Не будем подробно останавливаться на всем ходе этого спора; читатель, желающий подробно ознакомиться с ним, может обратиться к статьям оппонентов и к подробному отчету о публичной дискуссии, состоявшейся в Москве⁶⁴.

Основная тенденция, возобладавшая в дискуссии, направлена и против «принижения» Онегина, и против идеализации его. Критиковали и сторонников «развенчания» Татьяны, но возражали и тем, кто считал ее поведение эталоном на все времена, независимо от конкретных исторических условий. В самом деле, модернизация недопустима и в отношении к положительным героям классической литературы.

В дискуссии отмечалось, что у защитников совершенно противоположных точек зрения спор нередко сводился к противопоставлению одним цитатам из Белинского — других цитат из него же. Действительно, таким путем истины не добьешься. Белинский рассматривал героев романа во всей их сложной противоречивости, а изолируя цитаты из целостного анализа романа, можно доказывать что угодно. К убедительным выводам можно прийти путем самостоятельного всестороннего исследования текста романа и истории его создания.

Но в целом дискуссия эта была полезной и плодотворной. Как отмечалось в редакционном резюме «Вопросов литературы», она показала «значительность поставленных вопросов» и «будет способствовать решению важных задач, стоящих перед исследователями пушкинского романа...»⁶⁵.

В дальнейшем споре выделяются выступления, основанные на обстоятельной аргументации. И. Семенко рассматривает эволюцию Онегина исторически, в зависимости от реальной действительности, определяющей его характер, и в связи с эволюцией самого Пушкина. Выступая против преувеличений положительных черт Онегина, Семенко доказывает, что в восьмой главе «новый взгляд Пушкина на героя не разрушает сложившегося образа». Здесь Онегин впервые является «без маски». Он способен искренно любить, но

вместе с тем он «слаб и суетен». В сочетании этих двух начал создается живой образ человека»⁶⁶.

Исторический подход к роману проявился и в книге Г. Макогоненко «Роман Пушкина «Евгений Онегин» (вышедшей через пять лет после его выступлений в «Вопросах литературы»), и особенно в ее втором, переработанном издании⁶⁷. Автор учел итоги дискуссии о романе, во многом пересмотрел прежние прямолинейные характеристики Онегина и Татьяны. Он освещает здесь зависимость эволюции Онегина от изменений в общественной жизни и в биографии Пушкина (хотя порой распространяет эволюцию поэта на развитие созданного им образа; в этих случаях условия, в которых Пушкин писал главы романа, неправомерно становятся условиями существования Онегина — вымышленного героя). Здесь развивается и мысль Белинского о двойной драме — и Онегина и Татьяны. Внесены серьезные коррективы в характеристику Татьяны; теперь Г. Макогоненко не говорит об определяющем влиянии света на героиню.

И все же некоторые положения новой работы Г. Макогоненко остаются спорными. Он по-прежнему считает, что «вина Онегина» полностью определяется влиянием среды: «Реализм, объясняя характер средой, переносил суд с человека на общество. Вина Онегина есть вина света»⁶⁸. Но реализм (а его основоположник — Пушкин) не рассматривает влияние среды как автоматическое. Ведь Онегин не только тип, но и индивидуальность, со своими, именно ему присущими психологическими особенностями и чертами характера, а эту сторону вопроса Г. Макогоненко почти не учитывает; другие же исследователи вообще считают ее несущественной, например В. Маркович утверждает, что Онегин воспринимается нами как тип, а личности мы не видим⁶⁹. Между тем по мере развития сюжета создается сложный психологический рисунок личности Онегина, показаны борения противоположных чувств, тончайшие противоречия натуры волевой и вместе с тем слабой, переживания человека большого ума, но все же не способного понять духовный облик Татьяны. Ведь в монологе восьмой главы он говорит лишь о себе, о своей любви, но, как и раньше, когда он отвечал назиданиями на письмо Татьяны, снова обнаруживает непонимание ее личности. Говорят: и в этом случае виновата среда, формировавшая характер Онегина. Но ведь среда была разнородной, это не только «светский омут», но и круг вольнолюбивой молодежи, его близким знакомцем, собеседником был Пушкин! Поэтому не так-то

просто переключать все на светское общество. По-видимому, индивидуальные качества натуры тоже имеют немалое значение.

Хотя позиция Г. Макогоненко в новой книге в целом исторична, акценты в характеристике «прежнего» и «нового» Онегина, «прежней Тани» и княгини все же несколько смещены. Осталась (и даже усилилась) такая несообразность, как объявление мужа Татьяны достойным лишь презрения стариком генералом. Точка зрения не новая. Стариком именовал его Достоевский (впрочем, прибавляя, что он был честный человек, любящий Татьяну и гордящийся ею)⁷⁰. А Глеб Успенский и вовсе наградил его уничтожающей кличкой «старый хрыч»⁷¹.

Г. Макогоненко, желая усилить такую трактовку замужества Татьяны, неправоммерно толкует то место романа, где она впервые видит будущего супруга. Цитируя обращенный к Татьяне на балу призыв тетушек взглянуть «налево поскорей» и недоуменные слова Татьяны: «Налево? где? что там такое?» — Г. Макогоненко так нагнетает картину: «что. Не кто, а что — одним словом поэт показал весь ужас, всю бесчеловечность отвратительных «смотри»⁷². Но ведь замена слова «что» на «кто» здесь употреблено Татьяной не в унижающем значении, а в смысле «что случилось?» Именно потому в ответ на ее восклицание «что там такое» следует в тексте строфы пояснение: «Ну что бы ни было, гляди». Если же следовать разъяснениям пушкинского текста, которые предлагает Макогоненко, то получается, что сами «тетушки», которым генерал показался достойным внимания Татьяны, тоже именовали его презрительным «что»... Конечно, все это детали сюжета, но они имеют весьма существенное значение для истолкования судьбы Татьяны. Брак ее был вынужденным, она вышла замуж не по любви (что, кстати говоря, было тогда типичным), но все-таки она не вышла бы за того, кого и человеком не считала (по Макогоненко, он даже не «кто», а «что»...). Напрасно Г. Макогоненко пропускает мимо внимания строфу романа, где о муже Татьяны сказано почти как о ровеснике Онегина и в юности близком ему человеке:

...Князь подходит
К своей жене и ей подводит
Родню и друга своего

И далее о муже:

С Онегиным он вспоминает
Проказы, шутки прежних лет.

«Родня» здесь, конечно, не в смысле «родственника»: подразумевается близость поколений.

Слова Татьяны «Муж в сраженьях изувечен» вовсе не указывает на его старость: «сраженья» могли происходить не далее, чем во время Отечественной войны⁷³. И совсем уж странно, что несогласие исследователей с версией о «старике — генерале» Макогоненко считает обеднением поэтического содержания романа! Как будто поэтическое содержание выигрывает, если поверить, что Татьяна безропотно согласилась стать женой «старого хрыча» — чего доброго, какого-то скалозуба-солдафона! Повторяю, в романе важна каждая деталь. И этот эпизод тоже небезразличен для понимания образов и сюжетных ситуаций.

И еще важное обстоятельство.

Духовный рост Татьяны сказался, между прочим, в эпизоде, который нередко считают свидетельством ее нравственного перерождения, — отказе Онегину. Но прав А. Слонимский — автор книги «Мастерство Пушкина», видя в отказе отзвуки традиций народной этики («Я буду век ему верна!..»), воплощенных в русском фольклоре.

* * *

Итак, мы проследили основные вехи споров об «Онегине» более чем за 150 лет. «А что же дальше? — спросит читатель. — Будет ли когда-нибудь поставлена точка?» Нет, изучение романа и споры будут продолжаться. Появятся новые, ценные исследования, многое будет пересмотрено, многое будет понято по-новому. Но именно потому, что этот роман — вечно живое творение многозначного глубокого смысла, многих перекрестных идей, — именно потому всегда он будет вызывать у нашего и грядущих поколений заинтересованные отклики и новые мнения, новые чувства.

История восприятия «Евгения Онегина», непрекращающихся споров об этом центральном произведении Пушкина, позволяет сделать и некоторые общие выводы об особенностях восприятия пушкинского творчества в целом.

«Пушкин удивительно прост, удивительно понятен для всех» — эти слова стали как бы аксиомой. В его произведениях нет искусственной усложненности, запутанности, мысль ясна, язык кристально чист, его образы, кажется, мгновенно, навсегда врезаются в память. Но эта мгновенность не исчерпывает всей глубины образа, бесчисленных смысловых оттенков поэтического языка, емкости мыс-

ли. Нет, постигнуть пушкинскую простоту не так просто, нелегко освоить «бездну пространства», которое, как говорил Гоголь, таится в каждом пушкинском слове. Путь к познанию Пушкина труден, и не только потому, что его творчество отделено от нас многими десятилетиями,— и чтобы понять до конца во всех деталях его произведения, нужно вникнуть в мир поэта, постигнуть его эпоху, историю русскую и мировую. Только тогда раскрывается глубинный лаконизм стиля Пушкина, все значение каждого, даже мимоходом брошенного блистательного намека. Но есть трудность еще большая: для того чтобы Пушкин вошел в сознание читателя во всем своем величии, во всей масштабности, нужны не только знания, нужен жизненный опыт. Об этом говорят многие автобиографические признания читателей, а также писателей — людей, для которых понимание литературы является, так сказать, одной из профессиональных особенностей.

В 1837 году Белинский, к этому времени автор таких статей, как «Литературные мечтания», «О русской повести и повестях г. Гоголя» и других, где неизменно фигурировал Пушкин,— признался в письме к М. А. Бакунину: «Пушкин предстал мне в новом свете, как будто я его прочел в первый раз». Лев Толстой в 1857 г., в пору творческого расцвета, записал в дневнике: «Я только теперь понял Пушкина».

А вот признания наших современников, советских писателей.

О том, как сложен путь к пониманию Пушкина, рассказал Николай Асеев. «Вначале,— говорит он,— стихи посредственных поэтов из сборника «Чтец-декламатор» ложились в память гораздо доходчивей пушкинских, казавшихся мне уж очень далекими по содержанию. Только гораздо позже я сообразил, что это не Пушкин был далек, а я сам был недалек в своем понимании поэзии». Далее он пишет: «Мне нравились «Братья-разбойники» и «Гусар», но я не воспринимал ни «Цыган», ни «Полтавы», ни «Медного всадника». Почему это? Потому что, любя стихи, я еще не был подготовлен к восприятию великих произведений»... Но пришло время зрелости, когда значение пушкинского мастерства раскрылось для Асеева в своей непреходящей ценности. И он заключает: «Чтобы освоиться с этим мастерством, представить его во всем величии, нужно затратить не меньше жизни. Не меньше жизни потому, что его хватает на всю жизнь».

А. Фадеев в статье «О Пушкине» пишет: «Я думаю, не

будет претенциозностью сказать, что я всю жизнь любил Пушкина, тем более, если я оговорюсь, что большую часть своей жизни я любил Пушкина не полного, то есть не настоящего, и любил его в достаточной мере неосмысленно». Фадеев рассказывает о разных этапах своего знакомства с Пушкиным. В детстве Фадеев, как все, любил его сказки, в отрочестве увлекался «Полтавой», «Капитанской дочкой», «Дубровским» и отчасти «Борисом Годуновым»; в юности ему открылся «Евгений Онегин», но позже всего — лирика: «Она помогла мне, — пишет Фадеев, — по-новому осмыслить все его творчество, хотя, конечно, я не настолько стар, чтобы утверждать, что постиг Пушкина до конца». Фадеев увидел в пушкинской лирике «естественность выражения всех человеческих эмоций, всего многообразия мыслей и чувств человека и утверждение их, этих чувств и мыслей, как совершенно естественных, закономерных и правомерных выражений человеческого духа».

Из других признаний подобного рода приведу еще выдержку из статьи Александра Твардовского «Пушкин». «...Кто не обязан ему радостью приобщения на самой заре жизни к источнику, из которого потом пить всю жизнь! Но если Пушкин приходит к нам с детства, то мы по-настоящему приходим к нему лишь с годами». Эти слова могут быть отнесены и к восприятию «Евгения Онегина», как и всего пушкинского творчества.





Наука о Пушкине вчера и сегодня

В литературе о классиках Пушкин всегда занимал исключительное место, его наследие было на всех поворотах истории в центре внимания. Даже специальные исследования пушкинистов, кроме изысканий на третьестепенные темы, интересовали широкие круги читателей. Когда работа П. В. Анненкова — одного из основоположников пушкиноведения, печаталась в «Вестнике Европы», а В. Е. Якушкин публиковал свое обширное описание рукописей поэта в нескольких номерах «Русской старины», эти журналы передавали из рук в руки, оттиски переплетались и бережно хранились. Такое отношение к исследованиям жизни и творчества Пушкина все более укреплялось, и в наше время работы о Пушкине, если они содержат новые биографические материалы или нечто новое в освещении его наследия, читаются нарасхват. Среди книголюбов немало людей, всю жизнь собирающих литературу о нем, знатоков его биографии и творчества. Некоторые из любителей-пушкинистов предпринимают самостоятельные поиски неизвестных ранее материалов о жизни поэта и его современников.

Все это ставит сегодня науку о Пушкине в особое положение. Сохраняя профессиональные исследовательские критерии, пушкинисты не забывают, что их работы должны учитывать интересы не только литературоведов, но и разнообразной аудитории.

Разумеется, как и в любой науке, в пушкиноведении есть свои задачи, и было бы ошибочно отрицать необходимость специальных исследований на темы, которые могут интересовать сравнительно узкий круг ученых. Прав Б. В. Томашевский, утверждавший, что даже внимание к мелочам из-

виняется, если авторы таких трудов не забывают о главных целях науки и служат им¹.

И все же новый вдумчивый и любознательный «широкий» читатель оказывает влияние и на интересы ученых, и на самый стиль их работы. Такому читателю, как показывает практика, нужны также обзоры и статьи по истории пушкиноведения. Кроме того, они нужны и для ориентировки в огромной литературе о поэте.

В этой главе, посвященной советскому пушкиноведению, рассказывается и о его предыстории. Материал настолько обширен, что приходится говорить прежде всего об основных направлениях, не останавливаясь на характеристиках отдельных исследователей.

1

Новое отношение к сокровищам русской культуры, в корне отличное от политики, которая проводилась царским правительством, определилось вскоре после Великой Октябрьской социалистической революции. Первые же мероприятия Советской власти в области просвещения, науки, литературы подчеркивали непреходящую роль классического наследия прошлого в строительстве нового общества. Вопросы классического наследия возникли в ноябре 1917 года — в первые же дни революционного переворота — среди важнейших проблем культуры и просвещения. По свидетельству народного комиссара просвещения, А. В. Луначарского, Ленин в первую после взятия Зимнего дворца ночь говорил с ним о необходимости распространения книг и об издательствах². В середине ноября этого же года заведующий литературно-издательским отделом Наркомпроса П. И. Лебедев-Полянский рассказал Ленину о широком проекте популяризации классиков и получил его поддержку³. 24 ноября Наркомпрос принял, а 29 декабря ВЦИК утвердил постановление о Государственном издательстве, предлагавшее «немедленно приступить к широкой издательской деятельности». Подчеркивалось, что «в первую очередь должно при этом быть поставлено дешевое народное издание русских классиков». «Народные издания классиков, — говорилось в декрете, — должны поступать в продажу по себестоимости, если же средства позволят, то и распространяться по льготной цене, или даже бесплатно, через библиотеки, обслуживающие трудовую демократию»⁴.

В том же декрете были положения, которые в дальнейшем определили все направление работы в этой области. Дореволюционные издания корифеев художественной литературы содержали грубейшие искажения не только из-за цензурно-полицейских условий, но и субъективистского произвола редакторов. Были, конечно, исключения, но никакой определенной системы и организованного научного контроля здесь не существовало. Правительственный декрет 1917 года требовал покончить в этом отношении со всяким произволом и анархией и указывал, что для редактирования изданий классиков «должна быть создана особая коллегия из представителей педагогических, литературных и ученых обществ, особо приглашенных экспертов... Этой контрольно-редакционной комиссии должны быть представляемы редакторами, ею утверждаемыми, планы издания...»⁵. Таким образом, уже тогда был провозглашен важнейший для текстологии классиков принцип коллегиальности и коллективного научного контроля, который затем нашел свое применение в изданиях великих писателей. Но первое время сочинения Пушкина перепечатывали из старых изданий, содержащих грубые цензурные и другие искажения. Для подготовки академических изданий классиков требовалось много времени и сил. Поэтому после Октября результаты текстологической работы пушкинистов сначала отражались преимущественно в публикациях неизвестной ранее части рукописного наследия поэта и научно проверенных изданиях отдельных произведений. Этим делом занялось тогда новое поколение пушкинистов.

Начало изданию классиков было положено в 1918 году, заседаниями в Зимнем дворце созданной при Наркомпросе комиссией под председательством П. И. Лебедева-Полянского (впоследствии, в 1939—1948 годах, он был директором Института русской литературы АН СССР). В составе комиссии был поэт А. А. Блок, в ней принимал участие пушкинист П. О. Морозов. «Дело комиссии — выработать план издания по-новому» — записал Блок в дневнике 18 января 1918 г.⁶

Литературно-издательский отдел Народного комиссариата по просвещению выпустил в свет (в условиях гражданской войны, хозяйственной разрухи, бумажного голода!) 115 названий книг общим тиражом около 6 миллионов экземпляров: около половины этого тиража составляли издания «Народной библиотеки»⁷.

Приобщение народных масс к классическому наследию,

и прежде всего к наследию Пушкина, стало одним из важнейших государственных культурных мероприятий. Показательные цифры: за 10 предреволюционных лет, с 1907 по 1916 год, произведения Пушкина были напечатаны в количестве 5,1 миллиона экземпляров. После революции в одном лишь 1919 году, в пору гражданской войны и острого бумажного кризиса, произведения Пушкина были выпущены тиражом в 750 тысяч экземпляров. Они печатались не только центральными, но и местными издательствами, Советами коммун, рабочими кооперативами — так велико было желание поскорее дать массовому читателю любимого поэта. С 1917 по 1947 год произведения Пушкина были изданы на 76 национальных языках общим тиражом 35 млн. экземпляров. К 1949 г. эта цифра возросла уже до 45 млн. экз., к 1962 г. достигла 97 млн., а к 1974 г. — 157 млн., на 91 языке.

В первые же годы после Октября возникла необходимость пересмотра многих традиционных точек зрения, опровержения всякого рода ложных характеристик облика и деятельности великого русского национального поэта, реакционных легенд, которые раньше проникали в сознание читателя через популярную литературу, учебные пособия и официальную систему преподавания. Для этого было необходимо не только теоретическое перевооружение литературоведения, но и мобилизация колоссального, в том числе и неопубликованного, материала, в новом свете раскрывающего идейно-творческую эволюцию Пушкина, его связи с освободительным движением, подлинное отношение к нему самодержавия. Наконец, было необходимо осветить значение Пушкина не только историческое, но и современное, роль его наследия в строительстве новой культуры, в идейно-эстетическом воспитании народа.

Все эти важнейшие задачи не могли решаться одновременно и потребовали длительного времени.

История изучения Пушкина в советские годы прошла несколько основных этапов.

На первом из них, который продолжался примерно до конца 20-х годов, преимущественное внимание уделялось накоплениям новых материалов и источников, связанных с биографией Пушкина и ранее недоступных ученым, а также текстологическим публикациям и исследованиям. Работе над текстами, устранению в них цензурных и иных искажений способствовала и начавшаяся тогда концентрация рукописей Пушкина в государственных архивохранилищах.

В это же время под влиянием решительных перемен в научном развитии вообще и в общественных науках в частности выдвигаются на первое место вопросы эволюции взглядов поэта, его отношения к декабристам, самодержавию, крепостному праву и т. д. Завершается этот период первым собранием сочинений Пушкина (ГИЗ, 1930—1931) с приложением весьма содержательного «Путеводителя по Пушкину», где в алфавитном порядке были помещены заметки о жизни и творчестве, о современниках и т. д.

Второй этап, с конца 20-х годов и до 1937 года — столетней годовщины со дня смерти Пушкина, — характеризуется методологическими спорами, освоением марксизма; выдвигаются вопросы социологического исследования Пушкина, его эпохи, его роли в историко-литературном развитии. Значительным достижением этого периода является выработка новых текстологических принципов исследования рукописей, которые затем реализовались в ходе подготовки полного академического издания Пушкина и массовых изданий собрания его сочинений.

Начало третьего этапа обозначено одним из крупнейших событий в истории советской культуры — всенародным проведением в 1937 г. столетней годовщины со дня смерти Пушкина, получившей резонанс не только в Советском Союзе, но и во всем мире. Этот этап был ознаменован большим размахом работы по исследованию и популяризации наследия поэта. Тогда были поставлены важнейшие проблемы, начаты первые большие коллективные труды, возникли крупные замыслы.

Эта работа была прервана нападением гитлеровской Германии на Советский Союз.

Четвертый этап начался в послевоенные годы. Исследования в области пушкиноведения значительно расширились, появились капитальные научные труды, возникли новые интересные и сложные задачи.

В советские годы был произведен переворот в области изучения биографии и творчества Пушкина. Его наследие всегда занимало центральное место в русской критике и в истории общественной мысли, поэтому в борьбе вокруг этого наследия, в судьбах отражались общие процессы развития общественно-литературной борьбы. В идеологических схватках послеоктябрьских лет вопросы классического наследия, и в частности наследия Пушкина, сразу же выдвинулись вперед. В трактовках этих вопросов сказывались позиции различных общественных направлений.

Советские ученые искали путей, которые позволили бы раскрыть все богатство национальной культуры, ее великих традиций, ее патриотического и освободительного пафоса. Нередко при этом в оценках политических взглядов Пушкина встречались преувеличения, модернизация, биография его иногда использовалась в целях пропаганды без достаточно строгого учета объективного смысла его творчества, эволюции его взглядов, свойственных ему противоречий. Но, так или иначе, во всем этом отразилось отношение новой России к Пушкину.

Диаметрально противоположную линию заняли литераторы, чьи писания о Пушкине были подчинены цели доказать, что революция несет гибель культуре и что традициям гражданского искусства следует противопоставить принципы аполитичности и «чистой красоты». С особой отчетливостью эта линия проводилась в эмигрантской критической литературе. Но в первые годы революции статьи такого рода просачивались и в издания, выходявшие в Советской России. В 1922 году в Петрограде, в издательстве «Эпоха», была напечатана книжка впоследствии эмигрировавшего поэта Владислава Ходасевича «Статьи о русской поэзии». В нее включена его речь, произнесенная на Пушкинском вечере в Доме литераторов в феврале 1921 года и озаглавленная «Колеблемый треножник». В этой речи Ходасевич утверждал: революция ведет к тому, что «как бы ни напрягали мы силы для сохранения культуры, ей предстоит полоса временного упадка и помрачения. С нею вместе омрачен будет и образ Пушкина». Имя Пушкина необходимо было врагам революционного народа для того, чтобы, как сказал Ходасевич,— условливаться, «каким именем аукаться, как нам перекликаться в надвигающемся мраке». Что касается истолкования пушкинского наследия в этой речи, то об этом говорит следующий ее тезис: «Пушкин не дорожил народной любовью, потому что не верил в нее»⁸.

Сложность литературного движения первых послереволюционных лет выразилась в том, что даже литераторы, близкие к революции, даже перешедшие на ее сторону, зачастую не смогли правильно разобраться во всех сторонах политики культурной революции. Так, ранний Маяковский еще не отказался от футуристических призывов «атаковать» Пушкина и «сбросить» его заодно с другими классиками «с корабля современности». В работах о Маяковском последних лет эти «перегибы» объяснены условиями лите-

ратурной борьбы: Маяковский боролся не с реальным Пушкиным, а с его фальсифицированным образом, который сочинили в прошлом чиновники из министерства просвещения, законные противники всего нового, буржуазные эстеты. И все же не следует отрицать ошибочности этих призывов: объяснить — не значит оправдать. После знаменитых выступлений Ленина против пролеткультовских теорий Маяковский понял неправильность своих былых утверждений о классиках и воплотил свое новое отношение к Пушкину в стихотворении «Юбилейное» и в ряде своих выступлений.

В полном противоречии с позицией Ленина, с первых же дней революции требовавшего сохранить культуру прошлого для строительства социалистической культуры, находилась политика «Пролеткульта». Скандальные декларации крайних пролеткультовцев о «бесполезности» и даже вредности для пролетариата наследия классиков распространялись и на творчество Пушкина. Такого рода тактика, как и другие ошибочные устремления «Пролеткульта», была осуждена Лениным. Характерно также, что в 1920 году Ленин писал Луначарскому о необходимости создания Словаря русского языка «От Пушкина до Горького»⁹.

В годы революционного переворота многие литераторы, связанные в прошлом с символистской культурой, стали менять свои позиции.

Александр Блок в статье «Интеллигенция и революция» (1918), говоря о преемственности поколений, упомянул Пушкина в числе художников, которых вспоила «народная душа» и которые «знали, что рано или поздно все будет по-новому, потому что жизнь прекрасна»¹⁰.

В 1921 году в своей речи «О назначении поэта», посвященной 122-й годовщине со дня рождения Пушкина, поэт противопоставил светлое имя Пушкина «сумрачным именам императоров, полководцев, изобретателей орудий убийств, мучителей и мучеников жизни» — всем, кто был сметен революционным ураганом. Не все в этой речи могло быть принято: еще к Блоку символистского периода восходит идея гармонии звуков, освобожденной поэтом из начальной стихии и вносимой им во внешний мир. Но все же и этой речью, и последним стихотворением, написанным Блоком, — «Пушкинскому дому» Блок порывал с теми представлениями о путях русской поэзии, которые были свойственны ему раньше. Пушкин стал для него залогом обновления жизни, залогом будущего.

Сложные процессы происходили в это время и в лите-

ратуроведении. Историю изучения Пушкина в советские годы нельзя понять, если рассматривать пушкиноведение вне связи с общим развитием науки о литературе.

Как известно, дореволюционное литературоведение в трудах наиболее передовых своих представителей достигло немалых успехов. Нигилизм в его оценке так же недопустим, как и в оценке прошлого русской культуры и науки вообще. В истории предреволюционного пушкиноведения выделяются такие крупные исследователи, как С. А. Венгеров, Л. Н. Майков, Б. Л. Модзалевский, П. Е. Щеголев,— они сделали много в изучении наследия поэта. И все же к началу XX века положение литературоведения оказалось кризисным. Историки литературы собрали и обработали огромный фактический материал, открыли много литературных памятников, сделали много наблюдений. Но филолог того времени мог бы сказать об этих итогах словами Флобера: «С каким жаром подбирал я жемчужины для своего ожерелья, одно забыл я — нить!» Подавляющее большинство работ было посвящено изучению произведений Пушкина только как прямого отражения его биографии. С этой точки зрения комментировалось каждое слово, каждый образ, в котором хотели видеть конкретные черты определенного, лично известного Пушкину лица. Совершенно упускалось из виду, что творчество Пушкина явилось результатом и отражением сложнейших исторических процессов. К пушкинистам этого рода и относятся известные иронические слова Маяковского:

Бойтесь пушкинистов!
Старомозгий Плюшкин,
перышко держа,
полезет
с перержавленным.

Кризис дореволюционного пушкиноведения был связан с общим положением в старой академической науке о литературе. В дискуссии о положении истории литературы, возникшей в начале XX века, академики Н. К. Никольский, В. И. Истрин и другие высказывали серьезные сомнения в самой возможности ее построения. Академик А. И. Соболевский высказался в этой дискуссии более оптимистически, но с характерной оговоркой: все в мире преходяще, научная истина лишь отражает наши знания о предмете в данный момент; то, что вчера было истиной, сегодня оказывается уже заблуждением. Против самой возможности превращения истории литературы в науку выдвигался и такой довод:

без эксперимента не может быть науки, а в литературоведении эксперимент немыслим. На это следовало резонное возражение: эксперимент невозможен также и в астрономии, которую, однако, никто не отказывается считать наукой. В результате старое литературоведение безнадежно запугало вопрос. Этому способствовала изоляция его от проблем общественного развития.

Таким образом, дореволюционное литературоведение переживало серьезный кризис. Стремление историко-культурной школы к социологическим построениям не дало существенных результатов, ибо искусство рассматривалось этой школой как иллюстрация к истории нравов. Общий кризис литературоведения в это время особенно выразился в демонстративном отказе от изучения каких-либо закономерностей в истории литературы. Если даже серьезные академические ученые, о которых упоминалось выше, сомневались в том, что литературоведение может быть наукой, то такие критики-идеалисты, как Ю. Айхенвальд, утверждали, что литературоведение не имеет даже своего предмета и что само понятие литературы является неопределенным.

С начала XX века литературоведы идеалистического лагеря отрицали роль литературы как средства познания мира. В ее истолковании часто проявлялся субъективный произвол.

В пушкиноведении это направление наиболее последовательно отстаивалось М. О. Гершензоном. Его взгляды наиболее полно изложены в двух очерках — «Чтение Пушкина» и «Явь и сон». В первом содержатся положения, развитые затем в книге Гершензона «Мудрость Пушкина» (1919). Начав с бесспорной мысли, — чтобы понять замысел поэта, нужно вдумчиво в него вчитываться, — Гершензон затем превратил принцип «медленного чтения» в своеобразную идеалистическую методологию, позволяющую вычитывать в любом произведении все, что заблагорассудится. В очерке «Явь и сон» Гершензон, искусственно группируя и произвольно толкуя различные строки из пушкинских стихотворений, утверждает, что высшим идеалом Пушкина как поэта, его счастливейшим состоянием является «отрешенность души от мира»¹¹. Ложная методология в трактовке творческого процесса привела Гершензона-исследователя, своими трудами по истории освободительного движения XIX века сделавшего немало ценного, к искажению

пути Пушкина и сущности его поэзии. Субъективизм Фершензона (принявшего положения Жуковского о том, что прекрасное — это лишь не существующее на земле, за «скрижаль» Пушкина) был подвергнут критике П. Е. Щеголевым тотчас же после выхода в свет книги «Мудрость Пушкина»¹². Методология «медленного чтения» была подвергнута критике Б. В. Томашевским¹³.

Субъективистско-идеалистические установки развивал М. Л. Гофман — пушкинист, претендовавший на точные приемы в своей книге по текстологии («Первая глава науки о Пушкине». П., 1922). Субъективизмом окрашены его очерки, впоследствии вошедшие в книгу «Пушкин». Отвлеченные положения в духе философии и эстетики символизма соседствуют здесь с эмпирическим описанием отдельных фактов. В первом очерке — «Жизнь и творчество» — Гофман, не отрицая, что «Пушкин всегда исходит от жизни, от впечатлений жизни», однако здесь же утверждает, что он всегда уходит от жизни — «в обитель дальнюю трудов и чистых нег», где царствует «возвышающий обман Вымысла». Из такого понимания личности Пушкина, естественно, следовал вывод, что он представляет собою «идеальный образ аполлонического поэта», «который бежит от забот суетного мира, уходит из жизни... как только божественный глагол вдохновения «до слуха чуткого коснется»¹⁴.

В первые послереволюционные годы были попытки на материале пушкинского творчества применить установки фрейдизма, который на русской почве дал такие уродливые плоды, как, например, книга проф. И. Д. Ермакова «Этюды по психологии творчества А. С. Пушкина». В предисловии автор заявлял, что стремится применить в своих «этюдах» психологию и психоанализ; в заключении пришел к выводу, что «огонь» Пушкина — это «божественный Эрос» и соприкосновение с реальной жизнью, связь с этим миром устанавливается через любовь к женщине¹⁵. В приложении к творчеству Пушкина, поэта действительности, столь многогранного в своем творчестве, фрейдизм с особенной ясностью обнаружил свою бесплодность. Разумеется, книга Ермакова была резко раскритикована.

Критическому анализу подверглась и методология формализма. Формализм не ограничился изучением только «технологией» работы писателя, он нашел свое выражение и в философском обосновании искусства как суммы приемов, и в узкокомпаративистских работах, которые сводили исследование пушкинского творчества к наслоению парал-

лелей между его произведениями и произведениями западноевропейских писателей, к поискам западных «источников» чуть ли не ко всем сочинениям Пушкина. Тем самым получили неверное истолкование те или иные ценные и верные конкретные наблюдения в области художественной формы, поэтики и т. п., которые содержатся в ряде работ.

Критика формализма затруднялась тем, что не всегда велась с верных позиций. Если Луначарский противопоставлял формализму марксизм, то Сакулин, например, предлагал «разумно» соединить социологический и формалистический методы, призывал к «разумному эклектизму»¹⁶.

Марксистское литературоведение в первые послереволюционные годы только еще складывалось, тем не менее в определении задач истории литературы в целом и Пушкина в частности мы находим много верного. В статье А. В. Луначарского «Александр Сергеевич Пушкин» (1923) отстаивалась необходимость изучать личность как отражение своего времени. Отмечая мировое значение Пушкина и его национальное своеобразие, А. В. Луначарский писал: «В Пушкине-дворянине на самом деле просыпался не класс (хотя класс и наложил на него некоторую свою печать), а народ, нация, язык, историческая судьба». Луначарский подчеркивал также непреходящее, бессмертное значение Пушкина: «Его будущее было все будущее русского народа...»¹⁷.

В других своих статьях — «Пушкин и Некрасов», «Еще о Пушкине» — Луначарский писал о значении Пушкина для новой социалистической культуры и о его роли как основоположника всей классической русской литературы. Луначарский возражал тем, кто противопоставлял Пушкина революционно-демократической поэзии Некрасова.

В первые послеоктябрьские годы еще сильно давали себя знать худшие традиции старого академического пушкиноведения. В 1925 году Б. В. Томашевский отмечал, что для пушкинизма характерно хаотическое положение с биографией Пушкина, крохоборчество: «Пушкинизм без воздействия извне грозит заболотиться, если, впрочем, наша более молодая группа научных работников не взорвет его изнутри. Правда, подобный взрыв может сопровождаться незаслуженно непочтительной ломкой традиций, — но в конечном итоге только таким путем можно дойти до синтеза. Пора вдвинуть Пушкина в исторический процесс... Твор-

чество Пушкина не как факт индивидуальный, а как факт социальный — очередная задача науки»¹⁸.

Советское пушкиноведение, преодолевая эти пороки старой академической науки, сумело на первом же своем этапе продолжить лучшее, что было в трудах дореволюционных исследователей, и среди них в трудах П. Е. Щеголева, автора богато документированных работ, посвященных политической биографии Пушкина, и большой монографической работы «Дуэль и смерть Пушкина» (первое издание 1916 г.). Ценность работ Щеголева — в стремлении к историзму, в критическом отношении к существующим точкам зрения и их перепроверке, в обилии разносторонних фактов, которыми он обосновывал свои концепции. Следует отметить также, что Щеголев не останавливался на однажды достигнутом: в третьем издании книги (1928) он, под влиянием поворота пушкиноведения к социальному осмыслению биографии поэта в целом, частично пересмотрел свою концепцию истории дуэли и смерти Пушкина, в которой раньше он придавал особое значение не общественным, а личным отношениям¹⁹.

Влияние Щеголева сказалось при разработке в послеоктябрьские годы проблем политической биографии Пушкина, которые приобрели особую актуальность в связи с возрастающим вниманием литературоведения к социальному анализу. В русле поставленной Щеголевым еще до революции темы «Пушкин и самодержавие» вел работу в ранее засекреченных архивах Б. Л. Модзалевский. Его работа «Пушкин под тайным надзором»²⁰ ввела в научный оборот ценнейшие документы, рисующие подлинное положение поэта, находившегося под постоянным контролем правительственного и полицейского аппарата. К монографии Щеголева о дуэли и смерти Пушкина непосредственно примыкает работа А. С. Полякова «О смерти Пушкина. По новым данным» (ГИЗ. Пг., 1922), с дополнительными сведениями о настроениях в правительственных кругах в связи со смертью поэта. На пути к решительному пересмотру старой легенды о Пушкине-царедворце и о «высочайшем» покровительстве поэта со стороны Николая I немалое значение имели комментарии к двум изданиям (в Москве и Ленинграде) — «Дневника Пушкина», ценнейшего документа, впервые опубликованного в 1923 году. В этом же плане интерпретировалась историческая лирика и взгляды Пушкина В. Брюсовым как в его предисловиях к избранным стихам Пушкина в «Народной библиотеке» (1919), так и в

комментариях к начатому им изданию полного собрания сочинений Пушкина (в 1920 году вышла первая часть первого тома; продолжения не было. В 1922 году им же была напечатана статья «Пушкин и крепостное право»²¹). Брюсов, стремясь представить Пушкина революционером, модернизировал его облик, но обсуждение затронутых им вопросов сыграло известную роль в их дальнейшей разработке.

К проблемам мировоззрения Пушкина обратился П. Н. Сакулин. Его работа «Пушкин и Радищев» (1920) не содержала решения проблемы, но заострила внимание на вопросе об отношении Пушкина к взглядам Радищева. В 1924 году появилась краткая популярная биография Пушкина, написанная Н. В. Измайловым, первый в советское время опыт жизнеописания.

Все это, вместе взятое, отражало сдвиги в пушкиноведении, но еще не означало решительного перелома. Эмпиризм и крохоборчество проявлялись во многих статьях и сообщениях, которые печатались в различных сборниках, а зачастую и в специальном пушкиноведческом издании Академии наук, продолжавшем выходить и после Октября,— «Пушкин и его современники». Эти же черты сказывались в статьях и заметках таких видных знатоков Пушкина и его эпохи, как Б. Л. Модзалевский и Н. О. Лернер.

2

При жизни Пушкина о полном издании его сочинений не могло быть и речи. История печатания пушкинских произведений — это история мучительной борьбы с царской цензурой. У Пушкина не было никакой надежды на издание даже сколько-нибудь полного собрания своих произведений: он даже не приступал к его подготовке.

Первоначально Пушкина печатали в периодических изданиях и альманахах. Отдельными изданиями выходили поэмы. В 1820 году он задумал издать сборник своих стихов, но осуществилась эта идея только в 1826 году (сборник «Стихотворения Александра Пушкина». В него вошло 99 стихотворений, сгруппированных по жанрам). В 1829—1835 годах вышло второе и последнее прижизненное собрание стихотворений Пушкина в четырех частях. В 1835 году появились «Поэмы и повести»: здесь было напечатано девять поэм и стихотворных повестей. Проза Пушкина была

собрана в сборнике 1834 года — «Повести, изданные Александром Пушкиным». Кроме включенных в эти сборники произведений, отдельно были изданы: «Борис Годунов» (1831), «Евгений Онегин» (1833 и 1837), вышедший до того отдельными главами, и «История Пугачевского бунта» в двух частях (1834). Многие Пушкин не мог печатать по цензурным условиям. Но и в напечатанных произведениях имелись цензурные искажения. Часто ему с болью приходилось поступаться отдельными строками, но иные произведения оставались в письменном столе: так, после пометок Николая I на рукописи «Медного всадника» Пушкин не смог печатать поэму.

После гибели Пушкина контроль самодержавия над его произведениями — сокровищами русской культуры — принял особенно циничные формы. Через три четверти часа после смерти Пушкина его кабинет по приказанию царя был опечатан. Спустя неделю начальник штаба корпуса жандармов Дубельт вместе с жандармскими писарями в течение шестнадцати дней производил просмотр рукописей. А затем началась та сложнейшая, грозившая трагическими случайностями история рукописного наследия Пушкина, благополучное окончание которой пришло только с победой Великой Октябрьской социалистической революции. В продолжение десятков лет автографы поэта кочевали от одного лица к другому, побывав у друзей поэта, наследников, пушкинистов, коллекционеров и титулованных богатеев, любивших похвастать редкостями (более чем у пятисот владельцев).

Первое посмертное издание сочинений Пушкина вышло в 1838 году. Оно состояло из восьми частей. В 1841 году к ним были присоединены еще три части, включавшие преимущественно неизвестные ранее произведения из рукописного наследия поэта. Руководителем этого издания и его фактическим главным редактором был В. А. Жуковский. Издание содержало глубочайшие искажения пушкинского текста, частично вызванные тем, что Жуковский стремился приспособить тексты к цензурным условиям, и неряшливой подготовкой, зачастую доходившей до полного пренебрежения к авторскому замыслу. Жуковский переделывал по-своему не только отдельные строки произведений Пушкина (как, например, в «Памятнике», где им был вытравлен политический смысл стихотворения), но иногда менял само их содержание (например, пушкинская «Сказка о попе и работнике его Балде» была превращена в

П. О. Морозова в восьми томах, выпущенное в 1903—1906 годах издательством «Просвещение», и богато иллюстрированное собрание сочинений под редакцией С. А. Венгерова (Брокгауз — Ефрон, 1907—1915).

Первое из этих изданий — морозовское — хотя и было объявлено как «критически проверенное и дополненное рукописями», но по существу явилось результатом лишь частичной проверки работы, проделанной предшествующими редакторами. Некоторые улучшения текста в нем действительно сделаны, но полезным оно является преимущественно комментариями, да и то в части библиографической. Второе из названных изданий — венгеровское — представляет интерес широтой замысла. Венгеров задумал создать своеобразную пушкинскую энциклопедию²². В издание он включил большое количество статей, посвященных биографии Пушкина, его произведениям. Хорош изобразительный и иллюстративный материал. Тексты Пушкина снабжены обстоятельными комментариями (комментарии лишь к произведениям 1817—1830 годов). Некоторые статьи содержат ценные наблюдения и соображения, однако в целом замысел Венгерова не удался, так как состав сотрудников оказался пестрым (хотя среди них были видные писатели и ученые). Ряд статей не только лишен научного значения, но неверно трактует творчество Пушкина. Над подготовкой текста велась большая работа, многое проверялось по первоисточникам, но из-за отсутствия определенной текстологической системы эта работа не дала ожидаемого результата. Это издание может служить теперь исследователю преимущественно комментариями, но и в этом плане требует строго критического подхода.

О несовершенстве и крупнейших недостатках дореволюционной текстологии свидетельствует собрание сочинений Пушкина, которое издавалось с 1899 года Императорской Академией наук (теперь его обычно именуют «старое академическое»). За восемнадцать лет (1899—1917) было издано только пять томов (лирика и поэмы до 1828 года и «История Пугачевского бунта»). Много лет спустя (в 1828—1829 гг.) вышел еще один том этого издания, содержащий критику и публицистику, и на этом оно прекратилось. Это собрание сочинений, во главе которого стояли видные пушкинисты (Л. Н. Майков, В. Е. Якушкин, П. О. Морозов и др.), продемонстрировало, однако, полную невозможность добиться необходимого научного уровня издания при том состоянии, в котором находилась старая

текстология. Академическое издание поставило одной из своих задач печатание вариантов из пушкинских рукописей. Свелось же это к тому, что редакторы наполнили здесь сотни страниц неудобочитаемыми транскрипциями, представляющими собою механическое (и к тому же очень часто неверное) воспроизведение черногого текста так, как он расположен в автографе. Разобраться в этих транскрипциях, понять движение творческого замысла поэта не может даже специалист²³. Комментарий этого издания содержит много разного рода фактических сведений, но является сугубо эмпирическим и не объединен ни единой концепцией пушкинского творчества, ни стремлением выяснить существо авторского замысла.

Новому научному изданию Пушкина должно было предшествовать выявление его рукописей. После Октября это было проделано, и теперь, за некоторыми исключениями, рукописное наследие Пушкина собрано в Институте русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Здесь и тетради, и отдельные листки, и даже маленькие полоски, которые владельцы пушкинских рукописей нарезали «в подарок» своим знакомым. В Институте хранятся не только пушкинские фонды, собранные из различных архивохранилищ, музеев, библиотек, но и рукописи, которые могла раскрепостить только Октябрьская революция. Таковы, например, поэма «Монах», которую намеренно скрывали наследники князя Горчакова, поэма «Тень Фонвизина», найденная в Мраморном дворце среди бумаг князя Олега Романова, двадцать семь писем Пушкина к Е. М. Хитрово, обнаруженных в бывшем особняке князей Юсуповых; таковы и вырванные из пушкинской тетради листы, которые вдова пушкиниста Л. Н. Майкова подарила Николаю II. Все это воссоединено ныне в целостный архив Пушкина.

Вскоре после Октября началась, как уже было сказано, огромная работа по изданию сочинений Пушкина. Жажда знаний, любовь к Пушкину были таковы, что он издавался не только Государственным издательством, но также и издательствами провинциальными, Комиссариатами народного образования на местах, рабочими кооперативами и т. п. Вполне понятно, что первое время тексты брались из старых изданий. Однако вскоре началась серьезная текстологическая работа, которая отразилась в выпуске сначала критически проверенных отдельных произведений Пушки-

на, а затем однотомиков²⁴. Все это позволило выпустить в 1930—1931 годах первое советское «Полное собрание сочинений в шести томах» (в качестве приложения к журналу «Красная нива») под общей редакцией Демьяна Бедного; А. В. Луначарского, П. Е. Щеголева и др. В текстологической подготовке издания приняли участие виднейшие пушкинисты — С. М. Бонди, Т. Г. Зенгер, Ю. Г. Оксман, Б. В. Томашевский, Ю. И. Тынянов, М. А. Цявловский и др. Оно явилось крупной вехой на пути к научному изданию корпуса произведений Пушкина и в дальнейшем непрерывно совершенствовалось.

Редакторскому произволу прошлого советские ученые противопоставили тщательное изучение истории пушкинского текста, для того чтобы довести его до читателя как выражение последней воли автора. Была создана стройная научная система исследования процесса работы автора над текстом, освещенная в работах Г. О. Винокура «Критика поэтического текста» (1927), Б. В. Томашевского «Писатель и книга» (1928), С. М. Бонди «Новые страницы Пушкина» (1931) и его же статье «О чтении рукописей Пушкина»²⁵. Итогам исследований советских пушкинистов является фундаментальное полное собрание сочинений Пушкина, изданное АН СССР в 1937—1949 годах в 16 томах (в 20 книгах, с добавлением справочного тома с указателями). Все произведения и письма Пушкина заново проверены по рукописям и критически сверены с прижизненными публикациями. Приведены также все варианты, черновые редакци, наброски, планы... Впервые в истории пушкиноведения рукописное наследие поэта прочитано до последней строки, включая самые сложные автографы, многократно перечеркнутые и считавшиеся совершенно неразборчивыми. В результате создана основа для дальнейшей стабилизации текстов, а также и для всестороннего изучения истории пушкинских произведений. В достижениях этого издания сказалась правильность общих принципов советской текстологии, которая исходит не из механической транскрипции текстов, а из проникновения в замысел произведения. Как показала практика, одно только умение хорошо читать трудный почерк недостаточно для текстолога: громадное значение имеет его методологическая вооруженность. Ставшее возможным только в нашей науке правильное понимание идейно-творческой эволюции Пушкина помогло очистить его тексты от всякого рода искажений и вскрыть ряд ранее непонятых замыслов. Это издание

подводит итог изучению советским литературоведением творчества Пушкина за многие годы.

Академическое издание сочинений Пушкина дает в общей сложности сотни страниц ранее неизвестного текста. Первостепенный интерес представляют материалы по «Истории Петра», монументального исторического труда, который Пушкин не успел завершить. Попытки друзей поэта опубликовать эти материалы натолкнулись на категорическое запрещение Николая I «по причине многих неприличных выражений насчет Петра». Пушкинские тетради с этими материалами впервые полностью опубликованы в X томе и занимают около 300 страниц. Ценнейшие материалы включает IX том, их Пушкин использовал в процессе подготовки своей книги о Пугачеве. Среди них и многие, ранее не печатавшиеся записи устных рассказов о вожде крестьянской революции, выписки из архивных дел, конспекты, наброски. Указы Пугачева, обещавшего народу «вечную вольность, реки, луга, все выгоды», ярко иллюстрируют характеристику Пушкиным этих документов как «удивительных образцов народного красноречия» (IX, 371)²⁶. «Когда вы устоите за свое отечество и не истечет ваша слава казачья от ныне и до веку», — говорится в одном из пугачевских указов. В томах академического издания сохрятся впервые опубликованные отрывки и строки стихотворений, поэм, драм и в особенности прозы. Важность этих текстов могут подтвердить хотя бы следующие примеры. В стихотворении 1829 года «Воспоминания в Царском Селе» впервые восстановлен текст стихов, с патриотическим воодушевлением повествующих о славном 1812 годе, о том, как возник поток «народной брани» и «Россия двинула» (III, 190).

При изучении, например, творческой истории «Кавказского пленника» необходимо учитывать тексты, извлеченные из черновиков этой поэмы. Таковы, в частности, строки, рассказывающие о чувствах героя поэмы, попавшего в плен²⁷:

Он раб. Усталою главой
К земле чужой [припал] он снова,
[как будто в ней] он скорби злой
Искал приюта гробового.
Не льются слезы из очей,
В устах сомкнутых нет роптанья,
В душе, рожденной для страстей,
Стеснил он гордые страданья <?>
И в мыслях он твердит одно:
Погиб! мне рабство суждено.

Поистине неоценимым для изучения «Евгения Онегина» является VI том, где помещен исчерпывающий свод вариантов к роману. Но вместе с тем нужно горячо рекомендовать обращение и к вариантам академического издания широким кругам учителей, лекторов, аспирантов, студентов и вообще всех читателей, серьезно изучающих наследие великого поэта. Ведь и знаменитая строка, как «...вслед Радищеву восславил я свободу» вошла в свое время в сознание читателя в качестве варианта из черновой рукописи стихотворения «Я памятник себе воздвиг...». Нельзя забывать о том, что Пушкин творил в условиях дикого, жесточайшего цензурного террора. Рукописи, где поэт давал волю своему перу, позволяют полнее раскрыть его замыслы, узнать новые, интереснейшие варианты судеб и поведения героев. Достаточно напомнить в этой связи об истории издания «Капитанской дочки». В первоначальном тексте главы «Мятежная слободка» повествуется о встрече Гринева с Пугачевым в Бердах. В этом варианте Гринев приезжает к Пугачеву добровольно, для того чтобы искать у него защиты Маши Мироновой и справедливого суда над Швабриным. По цензурным условиям такой вариант был, однако, невозможен: в печатном тексте Гринев попадает к Пугачеву помимо своей воли.

При изучении истории произведений Пушкина полнее раскрывается, с какой исключительной целеустремленностью он добивался полнейшего реалистического воплощения своих замыслов, с каким гениальным умением находил среди многих слов и образов самые точные, лаконичные, выразительные. Академическое издание помогает проследить ход работы поэта. Обратимся для примера к черновикам стихотворения «Анчар» (III₂, 693—698). Вся работа Пушкина над созданием этого произведения подчинена идее обличения тиранической власти самодержца над человеком, превращенным в раба. Для характеристики этой власти Пушкин испробовал несколько вариантов. Среди них были строки:

Но человека человек
Послал к анчару властным словом...

Далее следуют варианты: «Послал к анчару самовластно», «Послал к анчару равнодушно». Но в окончательном тексте остались строки, выражающие с наибольшей яркостью беспредельную силу тирана, пославшего человека на гибель «властным взглядом». Заключительные же строки

стихотворения в рукописи были острее, чем в тексте, прошедшем через цензуру. В том месте, где говорится о смерти бедного раба «у ног непобедимого владыки», сначала было — «самодержавного владыки», а в цензурной рукописи вместо слова «князь» написано «царь». Большой интерес представляет и работа Пушкина над созданием образа мертвой пустыни, где произрастало «древо яда». Много дает академическое издание и при изучении биографии Пушкина, его взглядов, эволюции его мировоззрения. Здесь воспроизведены рукописи стихотворений, отражающих глубокую трагедию затравленного светской чернью поэта и его непреклонную стойкость в борьбе с грозными испытаниями. Вот варианты написанного в 1821 году в южной ссылке стихотворения «К Овидию» (см. II₂, 720—727). В зачеркнутых строках Пушкин с большей остротой, чем в окончательном тексте, противопоставляет Овидию свою стойкость «сурового славянина». Вспоминая судьбу римского поэта, сосланного на берега Дуная и обращавшегося к императору с мольбами о помиловании, Пушкин пишет о себе: «Я знал несчастье — но слезы я не знал». В черновике содержатся характерные для декабристской поэзии мотивы героической судьбы и бессмертия поэта: «Таков удел певцов...» «Так? ..Гений вечно жив и свято след его хранит...» С этим же связан и мотив о памяти потомства: «Могу ли завещать для новых поколений». На этом фоне с особой силой звучат заключительные строки, где Пушкин говорит о себе:

...Не узил ввек изменой беззаконной
Ни гордой совести, ни музы непреклонной.

Через семь лет, в 1828 году, Пушкин в стихотворении «Предчувствие» вернулся к теме непреклонности и стойкости. Это стихотворение было написано в связи с новой, грозившей поэту ссылкой, когда велось следствие о стихах «Андрея Шенье». В черновике о грозившей беде говорится: «Снова жизнь сулит боренье...» «Устоять ли мне в боренье...» «Жду судеб удар...» «Устою ль...» В этой связи поэт вспоминает «непреклонность и терпенье» «гордой юности» (см. III₂, 665).

Интересна история другого лирического стихотворения «Вновь я посетил...», написанного за два года до смерти (III₂, 795—1007). В черновой рукописи имеются наброски лирического рассказа о прожитой жизни, годах «усталого изгнанника», «испытаниях юности», о клевете и грезах мщенья. Шести лаконичным строкам о няне, оставшимся в

окончательном тексте, здесь соответствует ряд набросков. С любовью и сердечной теплотой говорит поэт об Аристе Родионовне, о ее «советах», о «затверженных рассказах», дорогих «как песни родины».

Бывало
Ее простые речи улаждали
Мне раны сердца...

Перебеляя рукопись, Пушкин значительно ее сократил, оставив только самые лаконичные и в то же время обобщающие определения и образы. Но из черновиков мы полнее узнаем о тех раздумьях, которые привели к заключительному мотиву этого шедевра русской лирики: «Здравствуй, племя младое, незнакомое...»

Академическое издание облегчает и проникновение в тайны пушкинского стиха. Пользуясь этим изданием, можно проследить ход работы от первых набросков до последней редакции. Стихотворение «На холмах Грузии лежит ночная мгла» в черновой редакции (III₂, 722—724) вначале открывалось строками:

Все тихо — на Кавказ ночная тень легла,
Мерцают звезды надо мною...

Несколько раз варьирует Пушкин это начало и заменяет его впоследствии строками живописно яркими и реалистически точными:

На холмах Грузии лежит ночная мгла,
Шумит Арагва предо мною...

Первоначально стихотворение было вдвое большим по размеру. Сокращения усилили энергию стиха и афористическую законченность всего произведения.

Уже из этих нескольких примеров можно заключить, как велико значение академического издания для изучения жизни и творчества Пушкина. Однако, рекомендуя его всем изучающим Пушкина, нужно сказать и о его недостатках.

Издание нельзя считать вполне законченным. Не были выпущены дополнительные тома, которые были намечены в ходе работы и где должны быть собраны все остальные тексты, написанные рукою Пушкина: фольклорные песни и сказки, пометки на полях, всякого рода мелкие записи и т. п. Нет здесь и рисунков поэта, которые очень важны и для изучения его биографии и как иллюстрации поэта к собственным произведениям.

В процессе большой и сложной работы над текстами Пушкина неизбежны были дискуссионные решения тех или иных текстологических вопросов, предположительные, а также и спорные чтения отдельных мест. Но в вышедших томах имеются и пропуски, и опечатки, и недоработка некоторых вариантов, и прямые ляпсусы. Замеченные ошибки исправлены в дополнительном XVII томе, где даны также сводные указатели ко всему изданию.

Но самый крупный недостаток академического издания, который в немалой степени его обесценивает, — это то, что в нем нет комментариев. Вначале был разработан план комментированного издания, но по этому плану вышел только один том — VII (в 1935 г.) — драматургии, до сих пор не потерявший свою ценность. Но затем план был изменен. В академическом издании даются новые чтения целого ряда текстов, даны новые даты написания многих произведений. А между тем ввиду отсутствия комментариев основания для этих изменений остались скрытыми для современного читателя. Для того чтобы узнать, какими мотивами руководствовался тот или иной редактор при новом решении текстологических проблем, при новой датировке того или иного произведения, приходится проделывать заново всю работу. В противном случае остается принять все новые решения и новые даты на веру (что в науке, конечно, невысказано). Нет в академическом издании ни реального комментария (справок об упоминаемых событиях, лицах и т. д.), ни историко-литературного.

На основе большого академического издания подготовлено трижды напечатанное в течение 1949—1958 годов 10-томное издание сочинений Пушкина Академии наук СССР. В нем имеется краткий комментарий, приведены также некоторые существенные варианты из рукописей. В 1959—1974 годах Гослитиздат выпускал собрания сочинений Пушкина в десяти томах, также с сопроводительными статьями и примечаниями. Однако во всех случаях, когда при изучении Пушкина вводятся исследовательские элементы, необходимо одновременно обращаться к большому 16-томному академическому изданию, ибо только оно дает возможность внести в изучение тех или иных произведений Пушкина наблюдения над историей замысла, над эволюцией сюжетов, образов, показать, как работал Пушкин над языком.

Имеется также ряд других современных разнотипных изданий, имеющих свои достоинства. Среди них одностом-

ники сочинений Пушкина, произведения, собранные по отдельным жанрам (лирика, проза, драматургия). Всеми ими можно, конечно, пользоваться. Важно лишь обратить внимание читателя на то, что дореволюционными изданиями вообще нельзя пользоваться и что наиболее авторитетными советскими изданиями являются выпущенные начиная с 1949 года, то есть с появлением 16-томного полного собрания сочинений Пушкина.

Особый характер носит книга «Рукою Пушкина» (1959). Здесь объединены несобранные и неопубликованные тексты, которые не входят в полное собрание его сочинений и находились в его личном архиве: всякого рода заметки, планы изданий, надписи на книгах, выписки, записи в альбомах и т. п. К этой книге можно применить слова, которые Пушкин сказал о Вольтере: «Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства».

Отдельную часть наследия Пушкина составляет его переписка, захватывающе интересная. Упомянутые выше издания дают только письма самого Пушкина, ответы его корреспондентов здесь не приведены. В 16-томном собрании сочинений содержится вся переписка целиком. В 1926—1935 годы вышли три богато комментированных тома писем Пушкина, охватывающие 1815—1833 годы. С текстологической стороны издание является несовершенным, однако в обширных комментариях можно найти много ценных фактических справок. В 1970 году издательством «Наука» выпущен том писем 1833—1837 годов, также комментированный, образцово подготовленный.

Итак, всякий изучающий Пушкина может иметь сейчас в своем распоряжении полный корпус не только всех произведений Пушкина, но и всего написанного им вообще, включая всякого рода пометки и записи.

3

В результате большой работы, проведенной советскими учеными, образ Пушкина очищен от старых наслоений, от «красок чуждых». Но в борьбе за новую методологию пушкиноведению, как и всей нашей науке о литературе в целом, приходилось преодолевать многие трудности, увлечения, ошибочные взгляды.

Социологический подход принес свои плоды, как мы видели, уже в первые послеоктябрьские годы. Однако це-

разработанность в то время методологии историко-литературного анализа и влияния псевдомарксистских теорий (за марксистские сплошь и рядом принимались тогда даже работы В. М. Шулятикова, социологические настроения которого резко критиковались Лениным), к тому же дополненных пролеткультовско-футуристическими загибами, привела вскоре к значительному распространению вульгарного социологизма. В работах наиболее последовательных приверженцев этого направления доказывалось, что Пушкин выступает в своих произведениях лишь как «переодетый дворянин», что он полностью капитулировал перед самодержавием Николая I и стал его слугой, был «сервилистом» и т. п. Взгляды такого рода в 20-е и в начале 30-х годов проникли и в школьные учебники и в вузовские программы. Для того чтобы судить о том, как преподносился Пушкин представителями этого направления, достаточно взять один из самых популярных тогда учебников по истории русской литературы XIX века, многократно переизданный. В разделе о Пушкине мы читаем, что поэт «и в молодые годы всячески защищает классовые интересы дворянства», в «Борисе Годунове» отчетливо вырисовывается идеология Пушкина, «примирившегося с действительностью» и начавшего искренне исповедовать политические идеалы самодержавной монархии, оправдание которой составило дальнейший период его творчества»; «Алеко» и «Онегин» — продукт рабовладельческого хозяйства...», «Пушкин, как идеолог определенного класса, превращает руководителя крестьянского восстания в кровожадного пьяного разбойника, а как художник не может не отметить в Пугачеве большой силы ума»²⁸. Конечно, не все совершавшие вульгарно-социологические ошибки доходили до такого рода крайностей. У ряда литературоведов в характеристиках Пушкина совмещалось верное с неверным, факты приходили в столкновение со схемой. Тем не менее поветрие охватило многих, вводя в заблуждение своей по внешности марксистской фразеологией, воинствующей направленностью против буржуазной науки.

В то время методологических поисков и блужданий, стремления оттолкнуться от старого буржуазного литературоведения, от внесоциального понимания творчества, от историко-культурного метода, от формализма подобного рода подход многим ошибочно казался соответствующим марксистскому требованию социального анализа. С некоторыми вариациями в таком же духе говорил об эволюции

Пушкина, например, такой представитель старой академической науки, как академик П. Н. Сакулин (статья «Классовое самоопределение Пушкина» в сборнике «Пушкин», вып. I, 1930). Такого рода подход поддерживался методологией В. Ф. Переверзева и В. М. Фриче. В центре внимания оказывались различные модификации вульгарно социологического истолкования Пушкина. Пушкина представляли то «представителем обуржуазивающегося среднеинтеллигентного дворянства», то выразителем капиталистической тенденции «прусского типа» и т. п. В этом плане велись споры и на дискуссии «Пушкин в марксистском литературоведении», состоявшейся в Институте русской литературы в Ленинграде (Пушкинском доме) 10 февраля 1931 года²⁹.

Вульгарно-социологические веяния были настолько сильными, что они частично сказались и во вступительной статье А. В. Луначарского к первому советскому изданию собрания сочинений Пушкина (1930). Здесь Луначарский во многом отступил от верных установок его упомянутой выше статьи 1925 года. В новой статье имеются верные и тонкие наблюдения, в ней утверждается, что Пушкин навек вошел в культуру человечества, что, «выражая «развитие» своего времени, он оказался ценным и для нас, через 100 лет и после грандиознейшей мировой революции». Луначарский отмечает разносторонность и широту Пушкина, говорит о его противоречиях, но вместе с тем допускает и такие утверждения, которые приписывают Пушкину «трагедию приспособленчества»³⁰. В этом же издании был напечатан и ряд других статей, также содержащих вульгарно-социологические ошибки. Но тем не менее это первое советское собрание сочинений Пушкина, сопровождаемое рядом вступительных статей и «Путеводителем», сыграло заметную роль в оживлении интереса к наследию великого поэта и способствовало возникновению широких дискуссий о состоянии пушкиноведения. К этим дискуссиям призывала и статья Луначарского, где ставился вопрос о положении в пушкиноведении, необходимости переоценивать его «со специальной точки зрения литературоведения марксистского».

В начале 30-х годов наступил новый, второй этап в пушкиноведении, этап оценки и положительных, и ошибочных тенденций в изучении Пушкина за советские годы и выдвижения дальнейших задач. Демонстрацией итогов работы пушкинистов конца 20-х — начала 30-х годов явился вы-

шедший в свет в 1934 году монументальный (более 1100 с.), великолепно документированный и иллюстрированный том «Литературного наследства», целиком посвященный Пушкину (№16—18). Предисловие к тому явилось своеобразной декларацией о задачах исследования Пушкина. Здесь отмечалось, что «освободительное значение его творчества неоспоримо», что «до сих пор еще не осознано в полной мере огромное революционное значение его последовательной и непримиримой борьбы за раскрепощение литературы от пут придворно-аристократической эстетики», выдвигалась необходимость борьбы с нигилизмом по отношению к Пушкину и с реакционной легендой о нем. Все это было тогда весьма актуальным. Вместе с тем отмечалось, что на данном этапе в развитии пушкиноведения задача ограничивается расчисткой строительной площадки: критика идеалистического пушкиноведения — одно из условий создания пушкиноведения марксистско-ленинского. Однако здесь же следовало бы подчеркнуть и необходимость критики социологического схематизма, методология которого сказалась (как это было отмечено рецензентами) и в некоторых статьях этого издания (особенно в статье Д. Мирского «Проблема Пушкина», усмотревшего во взглядах Пушкина «сервилизм»).

Принципиальное значение имел в этом томе большой раздел, посвященный разысканиям из истории творчества и биографии Пушкина и ставящий ряд важных проблем пушкиноведения, статьи А. В. Луначарского, Д. Д. Благого, С. М. Бонди, В. В. Виноградова, Б. В. Томашевского и других. В них на конкретной материале поднимались важные вопросы биографии, мировоззрения Пушкина, его отношения с декабристами, его отношения к крестьянскому восстанию, здесь же были напечатаны неизданные воспоминания, обзоры, посвященные истории публикации наследия Пушкина, итогам изучения его биографии, и многие другие материалы. При всей значительности этого тома наименее удачным оказался в нем раздел, посвященный общим проблемам. Правда, и здесь имеются статьи, сохранившие научную ценность, несмотря на те или иные устаревшие положения, — «Пушкин-критик» А. В. Луначарского, «Проблемы построения научной биографии Пушкина» Д. Д. Благого, «О некоторых вопросах изучения Пушкина» И. В. Сергиевского.

Для пушкиноведения первостепенное значение имел процесс углубленного освоения ленинского наследия примени-

тельно к литературоведению. Благодаря этому правильное направление приняла дискуссия 30-х годов в прессе, в научных учреждениях и литературных организациях, показавшие, что методология вульгарных социологов не имеет ничего общего с принципами марксистского истолкования творчества классиков как сложного, социально обусловленного отражения исторической действительности.

Новый, третий этап в развитии советского пушкиноведения был обозначен подготовкой к столетию со дня смерти Пушкина.

Постановление правительства о подготовке к этой дате было принято и опубликовано во всех газетах страны почти за полтора года до нее. (Впоследствии такого рода постановления о памятных датах классиков принимались неоднократно, но тогда оно было первым.) В постановлении Пушкин был охарактеризован как «великий русский поэт, создатель русского литературного языка и родоначальник новой русской литературы», «обогадивший человечество бессмертными произведениями художественного слова». Правительство обязало Пушкинский комитет (под председательством А. М. Горького) «выработать ряд мероприятий, имеющих целью увековечить память А. С. Пушкина среди народов Союза ССР и содействовать широкой популяризации его творчества среди трудящихся»³¹.

Эту дату отмечала вся страна — от Москвы и Ленинграда до Заполярья и далеких кишлаков Средней Азии. В свете благоговейного отношения народа и всей советской общественности к памяти Пушкина, отношения, которое проявилось в печати, в искусстве, в бесчисленных собраниях во всех городах, поселках, во многих деревнях, колхозах, особенно обнаружилось убожество рассуждений критиков, принижавших значение Пушкина, по-сектантски судивших о его месте в истории России и теперь — в новой социалистической культуре. Популяризации Пушкина весьма способствовали открытые тогда замечательная Всесоюзная Пушкинская выставка в Москве (в здании Исторического музея) и Пушкинская выставка в Ленинграде (в здании Эрмитажа).

Правильному истолкованию Пушкина оказала большую помощь печать, советская общественность. Ряд редакционных статей в газете «Правда», напечатанных в 1936—1937 годах, посвящен вопросам освещения пушкинского наследия. В них, подвергая резкой критике попытки обеднить значение Пушкина, ограничить его творчество рам-

ками дворянского мировоззрения, «Правда» писала: «Пушкин прежде всего глубоко народен и в произведениях своих, и в политических взглядах». В то же время «Правда» предостерегала от попыток приукрашивания политических взглядов поэта: «Нет нужды преувеличивать революционные взгляды Пушкина. Его величие заключено в его бессмертных и никем не превзойденных произведениях. Но Пушкин не был бы гениальным поэтом, если бы он не был великим гражданином, не отразил бы в той или иной мере революционные чаяния своего народа»³².

В дни подготовки к столетней годовщине со дня смерти Пушкина в газетах и журналах впервые были опубликованы страницы из лекций М. Горького по истории русской литературы (читанных в 1909 г.).

Творчество Пушкина Горький рассматривает на широком фоне освободительного движения и русской литературы. Характеризуя героизм Пушкина, пронесшего через все преследования царского правительства священную скрижаль поэта, призванного «глаголом жечь сердца людей», Горький заметил: «Его судьба совершенно совпадает с судьбою всякого крупного человека, волею истории поставленного в необходимость жить среди людей мелких, пошлых и своекорыстных»³³. Горький назвал Пушкина, временно погибшего в борьбе за чистоту высокого звания поэта, одним из славнейших великомучеников русских. Преклонение перед прямоотой Пушкина и его уверенностью в своей правоте Горький выражал неоднократно.

На основе анализа противоречивых высказываний и поэтических деклараций Пушкина о роли литературы он вскрыл их подлинный смысл, заключающийся в обличении окружающей поэта среды и в отказе от служения «светской черни».

Горький рассматривает высокую общественно-политическую насыщенность пушкинского творчества как характернейшую черту великой русской классической литературы. В этой связи литературы с освободительным движением Горький видит объяснение того факта, что «русский литератор — в своих образах и обобщениях шире и объективнее литератора западного, ибо, даже будучи по основам психики своей человеком классовым, он был понуждаем возвышаться над узкими задачами своего класса, был принужден заботиться не столько о выработке классовой идеологии, сколько о борьбе против идей и действий правительства».

Необходимо было создать что-то, что объединило бы всю массу общества; необходима была борьба с идеологией бюрократии и царей, нужно было выдвинуть против понятия «народность» иное понятие, а для того, чтобы выработать его — требовалось внимательное изучение народа» (с. 86). Как мы видим, Горький, характеризуя русскую литературу, критерием ее прогрессивности считал ее народность (в подлинно демократическом значении этого слова), правдивое отражение жизни народа, его чаяний.

Одним из качеств Пушкина, объясняющимся условиями времени, Горький считает предрассудки аристократа, «гордящегося древностью своего имени». Но и в этой «гордости» он далее усматривает противоречивые ноты. Цитируя стихотворение «Моя родословная», направленное против клеветнических измышлений Булгарина, Горький подчеркивает, что в этом стихотворении «звучит уверенность человека в его праве «читать самого себя» не только по заслугам предков, но за свои личные заслуги пред обществом» (с. 86, 88). В результате анализа высказываний Пушкина о дворянстве Горький заключал: «Не менее вероятно и то, что лично Пушкин вкладывал в понятие дворянства чувство собственного достоинства, сознание своей человеческой ценности и внутренней свободы» (с. 88). Интересно, что Горький еще в 1909 году, когда мнение о резком «поправении» Пушкина (после 1825 года) было почти единодушным в критико-биографической литературе, отметил, что высказывания самого поэта свидетельствуют об обратном. Горький сопоставляет письмо Пушкина, где выражается гордость «шестисотлетним дворянством», с более поздним высказыванием, где Пушкин утверждает: «...от кого бы я ни происходил, — от разночинцев, вышедших в дворяне, или от одного из самых старинных русских родов... — образ мыслей моих от этого никак бы не зависел» (с. 90). Именно в этом умении подняться над интересами своего класса Горький видит одну из основ пушкинской народности.

Однако при всех ценных мыслях и замечаниях Горького о Пушкине в его «Истории русской литературы» встречаются и неверные утверждения. Так, следуя тенденции своего курса пропагандировать реализм в противовес всем другим направлениям, Горький недооценивал романтизм, и в частности пушкинский романтизм, его революционное значение в литературе и общественной жизни. Поэтому в его курсе не только нет характеристики романтических произведений Пушкина, но даже встречается утверждение, что

преодоление романтизма поставило Пушкина во враждебные отношения с обществом³⁴.

Горьковские характеристики Пушкина помогли пропаганде правильного понимания Пушкина в массах. Заботой о пропаганде и изучении пушкинского наследия была проникнута деятельность Горького и в его бытность директором Института русской литературы (Пушкинского дома), а также председателем редакционного комитета по изданию полного академического собрания сочинений Пушкина.

В связи с юбилеем активизировалась работа пушкинистов. Интенсивно велась подготовка 16-томного полного академического собрания сочинений Пушкина. Была реорганизована и начала активно работать Пушкинская комиссия Академии наук СССР. В 1936 году вышел первый том специального серийного пушкинского издания «Временник». Своей разносторонностью «Временник» (вышло 6 томов, последний в 1941 г.) принципиально отличался от старого издания — «Пушкин и его современники»: здесь наряду с частными темами помещались работы, посвященные значительным проблемам пушкиноведения, были представлены отделы дискуссий, обзоров, журнальной и книжной литературы. В эти же годы стали защищаться первые диссертации о Пушкине, готовились кадры молодых пушкинистов. В крупнейших университетах страны были введены спецкурсы о Пушкине и спецсеминары.

Вышел ряд книг о Пушкине — биографии, написанные Н. Л. Бродским, Л. П. Гроссманом, и другие³⁵, а также сборники, разнохарактерные по своему составу, но затрагивающие важные темы пушкинского наследия. Тогда же вышла книга В. Я. Кирпотина «Наследие Пушкина и коммунизм» — первая попытка развернутой постановки вопроса значения Пушкина для нашей эпохи³⁶. В этой книге затрагиваются такие проблемы, как пушкинский оптимизм и гуманизм, вопросы его мировоззрения, социальный смысл конфликта Пушкина с современностью.

В преддверии и в самый период проведения юбилея (фактически весь год был пушкинским) были поставлены многие из вопросов, которые затем стали определяющими для пушкиноведения. Эти вопросы освещались в многочисленных статьях, опубликованных в различных сборниках и во всех литературно-художественных журналах. Особенно большое внимание Пушкину уделяли в течение 1935—1937 годов журналы «Литературный современник», «Литературный критик»; многие из статей о реализме и народно-

сти Пушкина, его мировоззрения, эстетических взглядах, гуманизме, его роли в истории культуры сохранили свою ценность и сегодня. Все газеты начали задолго до юбилея печатать на своих страницах выступления литературоведов и других ученых, а также писателей на эти темы. Им были посвящены также доклады на сессиях и конференциях в Академии наук СССР, в научных институтах и вузах.

Пушкинская годовщина помогла дальнейшему сплочению литературоведов старшего и молодого поколений. С конца 30-х — начала 40-х годов стали появляться коллективные труды, тематические сборники. Из трудов такого характера примечателен большой сборник Института мировой литературы «Пушкин — родоначальник новой русской литературы» под редакцией Д. Д. Благого и В. Я. Кирпотина (1941). Здесь на разностороннем материале освещаются традиции русской литературы, продолженные Пушкиным, и значение его творчества в дальнейшем развитии русской поэзии, прозы, драматургии, литературного языка в XIX веке. В предвоенные годы была начата другая коллективная работа, большой раздел о Пушкине в VI томе многотомной академической «Истории русской литературы» (в связи с перерывом в подготовке всей «Истории» он был закончен в послевоенные годы и появился в VI томе, изданном в 1953 году).

Начавшееся после пушкинского юбилея интенсивное изучение пушкинского наследия было прервано Великой Отечественной войной.

Было приостановлено академическое издание Пушкина, подготовка очередных сборников «Пушкин. Временник». Пушкинские рукописи и музейные ценности были заботливо эвакуированы в глубь страны.

После победы над немецким фашизмом изучение Пушкина, как и литературоведение в целом, активизировалось. Возобновилась деятельность коллектива текстологов по изданию полного академического собрания сочинений Пушкина. Оно было завершено в 1949 году, к 150-летию со дня рождения поэта, которое было ознаменовано в стране многими мероприятиями общественного и научного характера. Международный резонанс имело открытие в мае того же года Всесоюзного Пушкинского музея в городе Пушкине, в Александровском дворце, бывшей резиденции Николая II (впоследствии музей был переведен в здание Эрмитажа, а ныне находится в бывшем здании Царскосельского лицея).

В послевоенные годы особое внимание было уделено проблеме патриотизма, своеобразия Пушкина как великого русского национального поэта. Она связывалась с большой и широкой темой «Пушкин и наша современность»³⁷. Это было весьма актуальным со всех точек зрения, в том числе для более глубокого понимания политических взглядов Пушкина, значения для него национальных традиций, его интересов в области истории России. Весьма важной была эта проблема и при изучении народности Пушкина, которая теперь освещалась на новой, широкой основе, не только как своеобразный этнографизм или фольклоризм, но прежде всего как отражение народных стремлений в их историческом развитии (в период же господства рапповцев в критике сам термин «народность» ставился под сомнение и почти не употреблялся, как якобы противоречащий требованиям классового анализа). В этом свете отчетливее обнаружилась в некоторых работах тенденция к подмене анализа своеобразия Пушкина нанизыванием «параллелей» и «займствований», рецидивами худших традиций старого литературоведения, когда пытались чуть ли не для каждого стихотворения подобрать «источники» из зарубежной поэзии. Однако наряду с закономерной научной критикой подобного рода тенденций и увлечений (в 1949—1952 гг.) стала проявляться другая крайность, объективно также снижавшая величие Пушкина,— стремление оторвать его творчество от процессов развития всей мировой культуры и литературы, замалчивать творческое и критическое усвоение ее достижений. Из глубоких и разносторонних аналитических суждений Пушкина о мировой литературе от античной древности до нового времени вульгаризаторы вопроса о национальном своеобразии выбирали нередко только те, которые можно было тенденциозно препарировать в удобном им духе. Все это противоречило элементарным требованиям здравого смысла. Необходимость внести ясность в этот вопрос заставила К. М. Симонова затронуть его в своем докладе, посвященном Пушкину, на торжественном юбилейном заседании в Москве 7 мая 1949 г. Подчеркивая, что Пушкин «был во всем самобытен и самостоятелен не только как великий художественный гений, но и как принципиальный борец за самобытное развитие русской литературы», Симонов вместе с тем сказал: «Было бы неверно отрицать широкий и пристальный интерес Пушкина к мировой литературе, к Шекспиру, Байрону или Вальтеру Скотту. Естественно, что великий поэт, находившийся на

вершине мировой общественной мысли и культуры своего времени, использовал из богатства мировой культуры все то, что казалось ему полезным и нужным для роста и развития отечественной литературы, для собственного могучего развития»³⁸.

Памятные даты, широко отмечаемые в нашей стране, привлекают особое внимание к классикам, способствуют их популяризации и являются также своеобразным смотрам достижений в области их научного исследования. Это относится к проведению 150-летия со дня рождения Пушкина как всенародного праздника, нового свидетельства тому, какое огромное место занимает великий поэт в культуре русского и других народов Советского Союза.

По мере дальнейшего роста нашей науки о литературе новые перспективы открылись и перед пушкиноведением, расширилась сама проблематика работ ученых. В нее включаются самые разнообразные темы идейно-творческой эволюции поэта. Расширились возможности для творческих дискуссий, для столкновения точек зрения, в результате которых вырабатываются коллективные мнения по важнейшим вопросам пушкиноведения. С 1956 года Институтом русской литературы Академии наук выпускаются серийные сборники «Пушкин. Исследования и материалы» (вместо прекратившего выход в 1949 году «Временника» — «Пушкин»), а с 1963 года начато и еще одно издание — «Временник Пушкинской комиссии».

Заметные изменения произошли в характере Всесоюзных пушкинских конференций. Если раньше на конференциях преобладала общая, суммарная постановка вопросов, то в дальнейшем стали ставиться и кардинальные мало-разработанные проблемы текстологии, биографии, художественного метода, связей Пушкина с мировой литературой, его роли в развитии литературы народов СССР и другие. В ряде научных центров РСФСР и союзных республик — Пскове, Горьком, Киеве, Одессе, Кишиневе, Тбилиси, Ереване, Риге и других ведется большая плодотворная работа в области пушкиноведения, издан ряд тематических сборников, проводятся специальные научные сессии и конференции.

К бесспорным достижениям относится создание советскими пушкинистами и лингвистами «Словаря языка Пушкина» и составленная М. А. Цявловским капитальная «Летопись жизни и творчества Пушкина» (том I). В последние годы обнаружены и опубликованы ценные документальные

источники. В разыскании новых материалов принимают участие не только литературоведы, но и люди других профессий. Много сделал для исследования прижизненных публикаций пушкинских произведений известный театральный деятель, ныне покойный, Н. П. Смирнов-Сокольский³⁹. Инженер Л. А. Черейский годами изучал круг знакомых Пушкина и составил подробнейший словарь имен, более двух тысяч (издательство «Наука»). Художник-иллюстратор М. И. Яшин опубликовал неизвестные ранее материалы, связанные с историей дуэли и смерти Пушкина (особенно интересны документы о параде войск 2 февраля 1837 года, задуманном на случай возникновения стихийных волнений)⁴⁰. И. Ободовская и М. Дементьев, обследуя семейный архив Гончаровых, нашли несколько писем Н. Н. Пушкиной⁴¹.

Если в довоенные годы преимущественное внимание уделялось проблемам биографии или изучению отдельных произведений Пушкина, то в последние десятилетия на первый план выдвинулись важнейшие вопросы мировоззрения и художественной деятельности в целом.

Впервые в истории пушкиноведения наступило время создания капитальных монографий, посвященных анализу всего творческого пути Пушкина. Таковы книги Д. Д. Благого «Творческий путь Пушкина», труд Б. В. Томашевского «Пушкин» (том I, посвященный 1817—1824 гг.; монография не закончена из-за преждевременной смерти автора. Вторая книга — материалы к монографии — вышла посмертно). В общей перспективе эволюции Пушкина рассматривались вопросы романтизма и реализма в книгах Г. А. Гуковского («Пушкин и русские романтики», «Пушкин и проблемы реалистического стиля»).

Усилилось внимание и к исследованию жанров пушкинского творчества. Вышли книги «Лирика Пушкина» Б. П. Городецкого и под этим же названием — Н. Л. Степанова, «Драматургия Пушкина» Б. П. Городецкого, «Пушкин-публицист» М. П. Еремина, «Проза Пушкина» Н. Л. Степанова, «Исторические романы Пушкина» С. М. Петрова; В. В. Виноградов в своей работе «Стиль Пушкина» также касался вопроса жанров. И. Л. Файнберг рассмотрел в своей книге незавершенные работы Пушкина. Ряду важнейших проблем пушкинского творчества посвятили исследования М. П. Алексеев, П. Н. Берков, С. М. Бонди, Т. Г. Цявловская, Л. Я. Гинзбург, Н. В. Измайлов, Г. П. Макогоненко, Ю. Г. Оксман, В. В. Пугачев,

А. В. Чичерин и другие. Появились в печати новые имена пушкинистов, среди них С. Г. Бочаров, В. Э. Вацуро, Р. В. Иезуитова, К. А. Кедров, Н. Н. Петрунина, Л. С. Сидяков, И. М. Тойбин, Н. Ф. Филиппова, Н. Я. Эйдельман... Литература о Пушкине в послевоенные годы стала настолько обширной, что даже краткий обзор ее составил бы целую книгу. Поэтому я останавлиюсь только на общей тенденции пушкиноведения последнего времени.

Один из важнейших сдвигов в этой научной области — преодоление былой узости и замкнутости: изучение Пушкина связывается теперь с общими задачами современного литературоведения. Произошел поворот к крупным проблемам.

В противоположность мешавшим развитию науки догматическим построениям выдвинулся критерий строгого историзма: Стало очевидным, что взгляды Пушкина, его идеологию нельзя освещать только на основе публицистических суждений, как это часто делалось, что лишь путем всестороннего исследования всего пушкинского наследия (художественного творчества, статей, дневников, писем) и на фоне исторического развития России и опыта западноевропейских революций можно воссоздать сложную эволюцию мировоззрения и творчества.

Преодолевается и былой разрыв между анализом содержания пушкинских произведений и художественно-изобразительных средств. Если в прошлом характеристики сюжета, композиции, поэтического языка служили как бы дополнением к характеристикам замысла произведения, то теперь исследователи стремятся раскрыть принципы воплощения идеи в самой его структуре, всей совокупностью элементов художественной формы.

Историзм становится методологическим критерием также при изучении творческого метода Пушкина и «крутых поворотов» на различных этапах его эволюции. Внимание приковано к таким проблемам, как национальное своеобразие творчества, специфика пушкинского романтизма и реализма; народность рассматривается как представительство интересов нации и как критерий эстетический. Однако на пути освещения этих проблем встает ряд трудностей теоретического характера.

Одно из серьезных препятствий — неясность до сих пор некоторых общих теоретических определений художественного метода. Эта неясность сказывается и в трактовке такого важнейшего понятия, как реализм. Вспоминается дис...

куссия о реализме в Москве. Тогда один из ее участников, профессор В. Ф. Асмус, сказал, что благодаря обилию трактовок «реализм уподобился некоему незнакомцу, разъезжающему в закрытой карете с наглухо опущенными шторами по литературам всех времен и народов». Л. И. Тимофеев утверждал: «...при всей распространенности понятий реализма и романтизма они до сих пор не получили сколько-нибудь четкого определения и исторической конкретизации»⁴². С тех пор наше литературоведение продвинулось вперед, вышел в свет ряд интересных трудов о реализме и романтизме в русской литературе. Все же проблему нельзя считать решенной. Нужно перейти от частных исследований к таким, которые соединяли бы в себе методологическую и историко-литературную разработку. Пушкиноведение не может оставаться в стороне от этой общей тенденции науки о литературе. Иначе неизбежны такие издержки, которые проявились даже в ценнейшем труде Б. В. Томашевского «Пушкин. Книга первая. 1913—1924». В монографии, задача которой — освещение творческого пути поэта, главы, посвященные этапам его художественной эволюции, озаглавлены: «Лицей», «Петербург», «Юг». При всей обстоятельности анализа отдельных произведений в пределах этой чисто биографической схемы, при богатстве наблюдений исследователя, — в книге ощущается неясность общих методологических установок, нет объединяющей «генеральной» идеи.

Назрела задача синтетического исследования художественной системы Пушкина как целостного единства.

Привычная схема эволюции творчества Пушкина такова: ранний этап — преодоление влияний классицизма и сентиментализма, второй этап — романтический, затем — реалистический. Но если рассматривать творчество Пушкина в его не искусственно выпрямленной, а подлинной сложной эволюции, то окажется, что она не вполне укладывается в эту схему. Деятельность писателя, живую динамику его творческого сознания нельзя рассекать на периоды, никак не связанные между собой. Так, 1823 год — это, с одной стороны, переход к реализму — работа над «Евгением Онегиным»; но ведь одновременно создается произведение, наиболее романтическое по своему характеру, — «Бахчисарайский фонтан». В 1830-е годы, когда реализм победил в творчестве Пушкина, он пишет «Русалку» и «Медного всадника», «Сцены из рыцарских времен» — произведения, в которых проявляются элементы романтического метода,

символической обобщенности образов. В «Медном всаднике» синтез реалистических и романтических элементов выражается и в самой стилистике.

Возникает также задача исследования художественного мышления Пушкина и в связи с общими историческими закономерностями мышления, в соотношениях и переходах различных его типов⁴³.

В последние годы стали появляться работы, посвященные таким сложным и почти не разработанным вопросам, как психология творчества Пушкина, творческий процесс или как преломление пушкинского фольклоризма в его художественном методе.

К какой бы из проблем пушкиноведения мы ни обратились, очевидно, что при разной степени разработки самый подход к ним стал более широким. Так, актуальная проблема связей наследия Пушкина с национальными литературами и культурой народов СССР раньше освещалась в форме чаще всего общих характеристик, теперь ее разрабатывают на большом, разнообразном конкретном материале. Изучается интерес Пушкина к жизни, истории, культуре, творчеству народов России, национальное и интернациональное значение его творчества, роль пушкинских традиций в развитии литератур украинского, белорусского, грузинского, армянского, азербайджанского, казахского, киргизского и других народов. Эти темы, особенно активно освещавшиеся в связи с 150-летием со дня рождения поэта⁴⁴, стали затем предметом развернутых исследований⁴⁵. Ученые, работающие в институтах Академий наук союзных республик — Украинской, Грузинской, Молдавской, Армянской, Латвийской и других, в республиканских университетах и педвузах, внесли свой вклад в советское пушкиноведение, в освещение ряда общих и частных проблем, много сделали и в области теории и практики перевода сочинений Пушкина на национальные языки.

Изучение мирового значения Пушкина сначала ограничивалось преимущественно регистрацией переводов его произведений на другие языки. Затем стала раскрываться картина постоянно возрастающего за рубежом интереса к его биографии и творчеству (исследования М. П. Алексеева, В. М. Жирмунского и других). Показателем мирового значения Пушкина стала не только его известность во многих странах, — выдвинулась проблема всемирно-исторического содержания его идей, его новаторства как художника, его оригинального истолкования образов мировой литературы.

При изучении этой проблемы преодолевается и свойственный старому литературоведению «европоцентризм». Но, к сожалению, вопрос о зарубежных изданиях сочинений Пушкина и об интерпретациях его творчества иностранными учеными и критиками систематически не разрабатывается. Информация о новых переводах Пушкина также недостаточная. Между тем, насколько широким стал круг переводов Пушкина, свидетельствуют, например, издания его сочинений не только в странах народной демократии, не только во Франции, Италии, Англии, США, Японии, Китае, но и в странах Азии и Африки, лишь недавно завоевавших свою независимость.

Современная пушкиниана пополняется работами ученых социалистических стран. Можно назвать, например, солидный труд Мариана Топоровского «Пушкин в Польше» (1958), чешский коллективный сборник «Пушкин у нас» (1949), монографию Гарольда Рааба «Лирика Пушкина в Германии. 1820—1870» (1964). Тематика, связанная с исследованием творчества Пушкина, является постоянной на международных конгрессах славистов.

Проблемы жизненного и творческого пути поэта получают самое различное истолкование у литературоведов Запада. Наряду со стремлениями постигнуть действительный исторический смысл деятельности Пушкина выходят работы, где его облик искажен, где принижается его значение, где отрицается новаторство Пушкина.

Серьезные труды принадлежат французскому литературоведу, переводчику сочинений Пушкина на французский язык, профессору Андре Менье; видному пропагандисту Пушкина на Западе, переводчику его произведений на итальянский язык, профессору Э. Ло-Гатто. Первый из них написал интересную книгу «Пушкин-литератор и профессиональная литература в России», второй проанализировал роман «Евгений Онегин» как отражение биографии поэта — его своеобразный лирический дневник. Но встречаются в западном литературоведении и перепевы старой реакционной критики, например, истолкование Пушкина в духе ницшеанского пренебрежения к «черни» (в западногерманском сборнике «Пушкинские студии», 1949). В. Сечкарев в очерке «Александр Сергеевич Пушкин» (Висбаден, 1963) именует вольнолюбивую лирику Пушкина «бравадой», а дальнейший его путь изображает как переход на позиции консерватизма. Что же касается художественного метода Пушкина, то с точки зрения Сечкарева даже «Евгений Оне-

гин» — это «абсолютно не реалистический роман». Но иногда, даже в таких работах некоторых западных ученых, где отдается должное величю Пушкина, развиваются ошибочные точки зрения. Так, в книге Дж. Бейли «Пушкин. Сравнительный комментарий» (Кембридж, 1971) — «Пушкин — не гений, а Протей», развивавшийся под влиянием других литератур. В ряде работ (например, того же Дж. Бейли, Р. Меттлоу) творчество Пушкина освещается в духе фрейдизма (одно из наиболее частых «доказательств» — характеристика сна Татьяны в «Евгении Онегине» как сексуального пробуждения личности). Подобные интерпретации, конечно, ничего общего с наукой не имеют. Время от времени появляются и опусы, которые нельзя назвать иначе как грубой клеветой на великого поэта. Пожалуй, наиболее скандальный факт такого рода — появление в Париже в 1970 году книги С. Космана «Дневник Пушкина». Бесцеремонно фальсифицируя одни источники, замалчивая другие, Косман изображает Пушкина человеком без каких-либо определенных убеждений, — он случайно связался с декабристами, а затем раскаялся; облагодетельствованный Николаем I, остался, однако, неблагодарным и погиб на дуэли в результате мнительности и неуживчивого характера. Все это не ново, все это не раз говорили консервативные критики еще в XIX веке.

* * *

Круг тем советского пушкиноведения непрерывно расширяется. Положено начало исследованию широкой комплексной проблемы «Пушкин и русская культура». Ей была посвящена XV Всесоюзная пушкинская конференция, впервые объединившая литературоведов с деятелями театрального и других видов искусства. На конференции обсуждались вопросы не только теоретические, но и актуальные для практики современного искусства (о сценичности пушкинской драматургии, о принципах воспроизведения сюжетов и образов Пушкина в театральных и оперных постановках, в экранизациях и т. д.)⁴⁶.

Предстоит исследование оплодотворяющего влияния пушкинской художественной системы на различные виды искусства, которое заложено в самой природе этой системы. Как отметил еще Чайковский, Пушкин «силой гениального таланта очень часто врывается... в бесконечную область музыки... Независимо от сущности того, что он излагает в

форме стихов, в самом стихе, в его звуковой последовательности есть что-то проникающее в самую глубину души. Это что-то и есть музыка»⁴⁷. Многими десятилетиями спустя, уже в наше время, Сергей Эйзенштейн, и не в общей форме, а серией конкретных наблюдений, показал роль художественных открытий Пушкина для прогресса искусства, для наиболее динамических видов мышления. В частности, он продемонстрировал, анализируя «Полтаву», насколько плодотворны для кинематографа живописно-изобразительные пластические и композиционные принципы, воплощенные в этой поэме. Но еще совсем не исследовано глубокое влияние пушкинской эстетической системы на развитие других видов искусства, особенно музыки и живописи.

Гений Пушкина исключительно многосторонен. Его энциклопедизм, поистине беспредельный диапазон его интересов освещался в ряде работ об его исторических, философских, экономических взглядах, но сделано пока мало (выделяется лишь ценное, обстоятельное исследование М. П. Алексеева «Пушкин и наука его времени»). Недостаточно изучен даже состав пушкинской библиотеки, в которой сохранились книги по самым различным отраслям знаний, вплоть до астрономии и математики. Широкое поле для исследования разнообразных интересов Пушкина открывается специалистам самых различных областей науки — гуманитарам и естественникам.



ПРИМЕЧАНИЯ

«Новый для меня Парнас...»

¹ Значительным вкладом в разработку проблемы явилась XXI Всесоюзная Пушкинская конференция, проведенная в Тбилиси в 1971 г. и приуроченная к 150-летию окончания Пушкиным поэмы «Кавказский пленник».

² Здесь и далее в стихотворных цитатах из Пушкина курсив мой.—
Б. М.

³ Гоголь Н. В. Собр. соч., т. 6, М.—Л., 1950, с. 33—34.

⁴ Чехов А. П. Полн. собр. соч., т. 14, М., 1949, с. 140, 149.

⁵ Интереснейший материал на эту тему собран в двухтомнике «Летопись дружбы грузинского и русского народов» (Тбилиси, 1961).

⁶ См.: Шадури Ваню. Декабристская литература и грузинская общественность. Тбилиси, 1958, с. 435.

⁷ Блок А. А. Собр. соч., т. 5, М.—Л., 1962, с. 20.

⁸ См. упомянутую книгу Ваню Шадури, с. 421.

⁹ Напр., портрет ген. Ермолова: «Лицо круглое, огненное, серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на Геркулесовом торсе».

¹⁰ Сев. пчела, 1836, 9 июня, № 129.

¹¹ Старина и новизна, кн. 4, с. 7—8.

¹² Анненков П. В. А. С. Пушкин. Материалы для биографии и оценка произведений. Спб., 1873, с. 219.

¹³ Комарович В. Л. Вторая Кавказская поэма Пушкина.— В кн.: Пушкин. Временник, кн. 6, М.—Л., 1941; Турчанинов Г. Ф. К изучению поэмы Пушкина «Тазит».— Рус. лит., 1962, № 1.

¹⁴ Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина (1826—1830). М., 1967, с. 393.

После трагедии 14 декабря

¹ О том, что одним из импульсов замысла была надежда на смягчение участи осужденных, говорит и дата написания «Стансов» — первая годовщина восстания (помета в автографе 22 декабря 1826 г.).

² Рус. вестник, 1861, апрель, т. 32, с. 436.

³ Вадковский Ф. Желания.— В кн.: Поэзия декабристов / Под ред. Б. С. Мейлаха. Л., 1950, с. 700.

⁴ В черновых вариантах этот мотив звучит сильнее: «И горько зарыдал...»; «И на колени пав, заплакал, зарыдал». В черновике есть упоминание о «семье друзей». Ср. также в черновике первой редакции (1825) послания И. И. Пущину трагические воспоминания о «днях

упований и свобод» и о судьбе, разбившей Лицей «рукой железной».

⁵ Пушкин подразумевал следующее место из письма аббата Фердинанда Гальяни 1774 г.: «Знаете ли Вы, что такое высшее ораторское искусство? Это искусство сказать все и не попасть в Бастилию в стране, где запрещено говорить все». (См. коммент. Б. А. Модзалевского в кн.: Пушкин и н. Письма, т. 2, 1928, с. 170.)

⁶ К этому эпиграфу Пушкин сделал пометку: «Слова Карамзина в 1819 г.».

⁷ См.: Томашевский Б. Пушкин. Книга вторая. Материалы к монографии. (1824—1837). М., 1961, с. 18—44.

⁸ См. в особенности соответствующие главы в книге Г. Гуковско-го «Пушкин и русские романтики» (2-е изд. М., 1965).

⁹ Цитата из «Книги Иова» (гл. XIII, стих 17): «Послушайте, послушайте глагол моих».

¹⁰ См.: Базанов В. Карельские поэмы Федора Глинки. Петро-заводск, 1945, с. 108—124.

¹¹ Письмо П. В. Киреевского Н. М. Языкову от 12 октября 1832 г. (Ист. вестник, 1883, с. 535—536).

¹² Моск. телеграф, 1828, № 1, с. 127.

¹³ Лит. музей, 1827, с. 265, 267.

¹⁴ См.: Неизданный Пушкин. Пг., 1922 (мнение Н. К. Казьмина).

¹⁵ См. об этом в моей вступительной статье к антологии «Поэзия декабристов» (Л., 1950, с. 33—34).

¹⁶ Как установлено Б. В. Томашевским, именно эта эпиграмма на Карамзина, а не какая-либо другая принадлежит Пушкину (см. его книгу «Пушкин» (кн. 1. М.—Л., 1956, с. 225—227). Об остром споре с Карамзиным, когда Пушкин сказал ему: «Итак, вы рабство предпочитаете свободе», см. в воспоминаниях Пушкина. В его же письме П. А. Плетневу 21 января 1831 г. есть такое признание: «Карамзин под конец был мне чужд».

¹⁷ Рескрипт Николая I и описание похорон Карамзина напечатаны в «Северной пчеле» (1826, № 63).

¹⁸ Таковы, напр., сообщения и статьи в «Северной пчеле» (1826, № 64); «Journal de St-Petersbourg» (1826, № 64, 65); «Русском инвалиде» (1826, № 123); «Дамском журнале» (1826, ч. XIV, № 12) и др. Давление официозных мнений в связи со смертью Карамзина было настолько ошутимым, что даже в статье о Карамзине, напечатанной в «Северных цветах на 1827 г.» (Спб., 1827), упоминается о «нежнейшем участии» Николая I в судьбе Карамзина (хотя статья обходит вопрос о политической позиции историографа, выдвигавшейся в статьях других изданий).

¹⁹ Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. Спб., 1866, с. 411.

²⁰ Письма Н. М. Карамзина к кн. П. А. Вяземскому. 1810—1826. Спб., 1898, с. 171.

²¹ См.: Архив Тургеневых, вып. 6, 1921, с. 54.

²² «Наше молчание о Карамзине и так неприлично; но не Булгарину прерывать его», — писал Пушкин Дельвигу 31 июля 1827 г., призывая его не помещать в «Северных цветах» статью Булгарина «Вечер у Карамзина».

²³ Острота и общая ситуация этой борьбы охарактеризованы в статьях М. В. Нечкиной и И. Н. Медведевой, посвященных соответственно декабристам Михаилу Орлову и Никите Муравьеву как критикам «Истории Государства Российского» Карамзина (Лит. наследство, т. 59. М., 1954, с. 557—564 и 569—580).

²⁴ В современных изданиях сочинений Пушкина, кроме академиче-

ского, при печатании «Отрывков» оба этих имени даны полностью, без оговорок, что они при печатании в «Северных цветах» не могли быть раскрыты.

²⁵ Во вступительной статье к публикации писем М. Орлова к Вяземскому М. Нечкина справедливо замечает, что Пушкин неточно передает эти слова Орлова: это можно объяснить лишь тем, что Пушкин не читал письма Орлова и знал его лишь в пересказе Вяземского, который не понял или не хотел понять мысли Орлова, вовсе не требовавшего от Карамзина «какой-нибудь блестящей гипотезы», а выступившего против ложной норманнской концепции Карамзина (см.: Лит. наследство, т. 59, с. 560—561).

²⁶ Оговорка «почти никто не сказал спасибо» Карамзину здесь весьма существенна: в самом важном из декабристских документов, критиковавших «Историю» Карамзина,— в «Записке» Никиты Муравьева при всей безоговорочности обличения монархизма историографа его труду воздается дань почти в тех же словах, какими говорит об этом Пушкин (Муравьев писал, разбирая предисловие: «...Н. М. Карамзин... посвятил 12 лет постоянным, утомительным изысканиям... До сих пор, однако ж, никто не принял на себя лестной обязанности изъяснить историку благодарность»). (См.: Лит. наследство, т. 59, с. 582.) Из этого следует, что Пушкин полностью соглашался с характером этой «Записки», выделяя «пылкого и умного» Муравьева среди других критиков Карамзина.

²⁷ Альманах «Северные цветы на 1828 год» вышел в свет 22 декабря 1827 г.

²⁸ Мои правнуки будут мне обязаны этой сенью.— *фр.*

²⁹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10-ти т. Т. 6. М., 1962, с. 474.

³⁰ Многозначие пропущено во всех изданиях Пушкина, но есть в прижизненной публикации — в «Северных цветах».

³¹ Тайные общества — дипломатия народов.— *фр.*

³² Шесть месяцев в России.

³³ Сев. пчела, 1826, 20 мая, № 60.

Об учителях Пушкина, его продолжателях и подражателях

¹ Тарковский А. Язык поэзии и поэзия языка.— Лит. газ., 1967, 2 августа.

² Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 6, с. 294.

³ Письмо опубликовано в кн. Н. В. Фридмана «Поэзия Батюшкова» (М., 1971, с. 317).

⁴ Стихотворение Батюшкова «Есть наслажденье и в дикости лесов...» — перевод отрывка из четвертой песни «Чайльд Гарольда» Байрона,— по-видимому, заинтересовало Пушкина (он его собственноручно переписал).

⁵ Фридман Н. В. Поэзия Батюшкова. М., 1971, с. 358.

⁶ См.: Майков Л. Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. Спб., 1899, с. 303—308.

⁷ Подчеркнуто мной.— *Б. М.*

⁸ Дурной вкус.— *фр.*

⁹ Дядя Пушкина — Василий Львович, поэт, примыкавший к карамзинистам.

¹⁰ Подчеркивание отдельных строк принадлежит Пушкину.

¹¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 7, с. 228; т. 6, с. 294.

¹² Подробнее эта концепция развита в статьях «Пушкин и русская лирическая поэзия» и «Метафора как элемент художественной системы», напечатанных в моей кн. «Вопросы литературы и эстетики» (М., 1958).

¹³ Позже, в шестой главе «Онегина», в полуироническом контексте повторяются рифмы, использованные в «Надписи»: «Мечты, мечты! где ваша сладость! Где вечная к ней рифма младость?»

¹⁴ В автографе Пушкина вместо «...вздохнет о славе младость» сначала было «...воспламенится младость», но это энергичное определение, явно не подходящее к характеру поэзии Жуковского, было отброшено.

¹⁵ Письмо полностью опубликовано в книге М. И. Гиллельсона «П. А. Вяземский. Жизнь и творчество» (Л., 1969, с. 34—36).

¹⁶ Остафьевский архив, т. 1. Спб., 1859, с. 129.

¹⁷ Здесь подразумевается Батюшков и его стихотворение «К творцу «Истории Государства Российского».

¹⁸ Архив братьев Тургеневых, вып. 5, с. 120.

¹⁹ В балладе «Вадим», входившей в состав произведения Жуковского «Двенадцать спящих дев», образ Вадима, легендарного свободолюбивого героя Древней Руси, дается в противовес летописным источникам в мистико-романтическом плане.

²⁰ Сравнительный анализ этих стихотворений Пушкина и Жуковского см. в книге В. В. Виноградова «Стиль Пушкина» (М., 1941, с. 398 и далее).

²¹ См., напр., в письме Пушкина к А. Бестужеву по поводу его мнения о первой главе «Евгения Онегина»: «...Ты не высказал всего, что имел на сердце... Но зачем же ясно не обнаружить своего мнения? Покамест мы будем руководствоваться личными нашими отношениями, критики у нас не будет...»

²² Психологическую коллизию, которая создавалась при этом для Жуковского, можно понять. Ведь еще в 20-е гг. в журналах встречались комплименты в его адрес, как первого поэта России!

²³ Письмо опубликовано в книге М. И. Гиллельсона «П. А. Вяземский. Жизнь и творчество» (с. 53—54).

²⁴ Моск. телеграф, 1825, № 4, с. 346—353.

²⁵ См.: Жуковский В. А. Соч., т. 12. Спб., 1902, с. 104.

²⁶ Цит. по кн.: Веселовский А. Н. В. А. Жуковский. Пг., 1918, с. 360.

²⁷ Как уже упоминалось, Пушкин обобщил в этой формулировке общую оценку, которую дал ему Киреевский.

²⁸ Воспоминания П. А. Катенина о Пушкине (Лит. наследство, т. 16—18. М., 1934, с. 642).

²⁹ Моск. вестник, 1828, № 1, с. 70—71.

³⁰ Кстати говоря, не навяла ли эта тема спорами Онегина и Ленского («...Меж ними все рождено споры и к размышлению влекло... и предвззудки вековые...»).

³¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 7, с. 485.

³² Там же, с. 477.

³³ Эта черта поэзии Баратынского неоднократно отмечалась в работах о ней Л. Гинзбург, Н. Куприяновой, И. Семенко, И. Тойбина, Л. Фризмана и других.

³⁴ Считая, что поэзии Пушкина не хватает мыслей, Вяземский в 1825 году заметил в письме А. Тургеневу: в «Чернеце» Козлова «более размышления, чем в поэмах Пушкина» (Остафьевский архив, т. 3. Спб., 1899, с. 114).

³⁶ Вяземский П. А. Соч., т. 1. Спб., 1878, с. XLf.

³⁶ Там же, с. XLII.

³⁷ Напр., он одобрительно отозвался о стихотворении «К ним» (1830), где Вяземский клеймил своих идейных врагов. Отметив наиболее острые строфы («прекрасно»), он вместе с тем просил его: «Ради Христа, очисти эти стихи...» Вяземский произвел, однако, лишь незначительную «очистку»: в этом типично дидактическом произведении остались такие «перлы»: «непразднуемый гость», «истинной прочистите глаза», «заколдован искони», «бытия крамольный тать» и проч.

³⁸ Ломоносов М. В. Полн. собр. соч., т. 7. М.—Л., с. 95.

³⁹ Пушкин подразумевал слова о водопаде: «Ты не зеркало их лагури» (т. е. не отражение неба).

⁴⁰ Речь идет о следующей строфе:

Под грозным знаменем свободы
Несешь залогом бытия
Зародыш вечной непогоды
И вечнобьющего огня!

⁴¹ Здесь и далее Пушкин говорит о строках:

Как средь пустыни вихорь знойный,
Как страсть в святилище души.

⁴² Заднюю мысль.

⁴³ Вяземский П. А. Соч., т. 1, с. 12.

⁴⁴ Эти строки из послания Вяземского Ф. Толстому Пушкин хотел было взять в качестве эпитафии к «Кавказскому пленнику», но отказался от этого намерения, так как был в ссоре с адресатом.

⁴⁵ Виноградов В. В. Язык Пушкина. М.—Л., 1935, с. 435.

⁴⁶ Я не касаюсь здесь поздней поэзии Вяземского. Его стихи 1850—1870-х гг. отличаются гладкостью, ровным языком, но в них нет того своеобразного почерка, который все же узнается в стихах Вяземского 1820—1830-х гг., как нет и следов его былой прогрессивной позиции.

⁴⁷ Державин Г. Р. Соч., т. 7. Спб., 1872, с. 537—538, 564.

⁴⁸ Моск. телеграф, 1833, № 6, с. 237.

⁴⁹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 5, с. 561.

⁵⁰ Там же, т. 8, с. 451—459.

⁵¹ Там же, с. 459.

⁵² Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч.: В 6-ти т. Т. 1. М., 1934, с. 350, 351.

⁵³ См.: Языков Н. М. Полн. собр. стихотворений. М., 1964, с. 794.

⁵⁴ Вяземский П. А. Избранные стихотворения. М.—Л., 1935, с. 634.

⁵⁵ Здесь подразумевается тесное общение двух поэтов во время пребывания Языкова в 1826 г. в Тригорском.

⁵⁶ Моск. обозрение, 1859, кн. 2, с. 180—181.

⁵⁷ Томашевский Б. Пушкин, кн. 1. М.—Л., 1956, с. 526—527.

⁵⁸ Бобров С. Н. М. Языков о мировой литературе. М., 1916, с. 5.

⁵⁹ Рус. библиофил. 1914, вып. 1, с. 85.

⁶⁰ Языковский архив, вып. 1. Письма Н. М. Языкова к родным. 1822—1829. Спб., 1913, с. 187.

⁶¹ Б-ка для чтения, 1838, т. 26, с. 94.

⁶² Сев. пчела, 1834, № 125; Б-ка для чтения, 1837, т. 21, с. 142.

«Загадочная поэма»

¹ Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартевным. М., 1925, с. 47.

² Молва, 1834, № 24.

³ Молва, 1834, № 21, с. 340—341.

⁴ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 7, с. 553.

⁵ Дружинин А. В. Собр. соч., т. 7. Спб., 1865—1867, с. 558.

⁶ Анненков П. В. А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений. Спб., 1873, с. 381.

⁷ Черняев Н. Ю. «Анджело». — В кн.: Черняев Н. Ю. Критические статьи и заметки о Пушкине. Харьков, 1900. Исследователь обращал главное внимание на жанр «Анджело», сделал ряд сопоставлений рассказа Пушкина с пьесой Шекспира, указал на итальянский колорит, подчеркнутый Пушкиным. Но консервативные взгляды Черняева сказались на члелых домыслах: Пушкин будто бы, работая над поэмой, видел в одном из ее героев — Дуке «кроткого, рыцарски благородного Александра I», сам замысел произведения трактовал в религиозном плане и т. д.

⁸ Нусинов И. М. История литературного героя. М., 1959, с. 307—309.

⁹ Македонов А. Гуманизм Пушкина. — Лит. критик, 1937, № 1, с. 67—69.

¹⁰ Томашевский Б. В. Пушкин. Книга вторая. Материалы к биографии. (1824—1837), с. 444—447.

¹¹ Изложение доклада дано в Отчете о XVI Всесоюзной Пушкинской конференции в «Известиях АН СССР. Сер. лит. и яз.» (1964, вып. 5, с. 458—459). Доклад в сокращении опубликован в «Неделе» (1965, № 15)

¹² Лотман Ю. М. Идеиная структура поэмы Пушкина «Анджело». — Пушкинский сборник. Псков, 1973. Макогоненко Г. П. Творчество Пушкина в 1830-е годы (1833—1836). Л., 1982, с. 98—122.

Ю. М. Лотман считает, что в основе структуры поэмы — трансформация идеи мифа и идея «милости» как основа утопического государственного правления. Г. П. Макогоненко, полемизируя с первым из этих положений, связывает «Анджело» с главным направлением пушкинского творчества в 1833 г. и с вопросом о мнимом милосердии государей.

¹³ Впервые поэма появилась в 1834 г. в альманхе «Новоселье». По словам цензора Никитенко, Пушкин «взбесился», увидев вычерки и что они были сделаны по требованию министра просвещения Уварова (см.: Никитенко А. В. Дневник, т. 1. Л., 1955, с. 141—142). Цензурная история поэмы освещена в кн.: Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». М., 1972, с. 166—168.

¹⁴ Люба — княжна Л. А. Хилкова, фрейлина императрицы, невеста флигель-адъютанта С. Д. Безобразова, любовница Николая I. После свадьбы, когда молодожен обнаружил связь жены с царем, возник скандал, получивший шумную огласку.

К истории гибели Пушкина

¹ Нов. мир, 1956, № 1, с. 153—209; Андроников И. Избр. произв.: В 2-х т. М., 1975.

² Пушкин в письмах Карамзинных 1836—1837 годов. М.—Л.: Изд. АН СССР, 1960.

³ См.: Измайлов Н. В. Пушкин в дневнике гр. Д. Ф. Фикельмон.— В кн.: Временник Пушкинской комиссии. М.—Л., 1963, с. 32—37.

⁴ В переводе с французского они напечатаны М. А. Цявловским в книге «Звенья» (кн. 9. М., 1951, с. 172—185).

⁵ Нов. мир, 1962, № 2.

⁶ Звезда, 1963, № 9.

⁷ Пушин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1956, с. 87.

⁸ Бестужев-Марлинский А. А. Соч.: В 2-х т. Т. 2. М., 1958, с. 673—674 (подлинник по-французски).

⁹ Изв. отделения рус. яз. и слов. Академии наук, 1907, кн. 4, с. 199.

¹⁰ Сб. «Пушкин и его время» (Л., 1962, с. 286).

¹¹ Лит. наследство, т. 58, с. 148.

¹² Ист. вестник, 1883, т. 14, с. 541.

¹³ Запись в дневнике Дивова от 27 января 1837 г. (Рус. старина, 1900, № 11).

¹⁴ Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. М.—Л., 1928, с. 391—393.

¹⁵ Никитенко А. В. Дневник, т. 1. М., 1951, с. 194.

¹⁶ Красный архив, 1929, т. 33, с. 226.

¹⁷ Т. е. Наталья Николаевна.

¹⁸ Пушкин и его современники, вып. 14, с. 29.

¹⁹ Лит. наследство, т. 16—18, с. 718.

²⁰ Оба письма см. в книге П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина» (с. 225—226).

²¹ Памяти П. Н. Сакулина. М., 1931, с. 313.

²² Декабристы и их время / Под ред. М. П. Алексеева и Б. С. Мейлаха. М.—Л., с. 97.

²³ Нов. мир, 1931, № 12, с. 192.

²⁴ Временник Пушкинской комиссии, 1963, с. 33.

²⁵ Часть стихотворений на смерть Пушкина собрана в сборниках, составленных Каллашем: Русские поэты о Пушкине. М., 1899; «Puschki-piana», вып. 1. Киев, 1902; вып. 2, 1903. За время, прошедшее после выхода этих сборников, обнаружилось значительное число неизвестных ранее стихотворений.

²⁶ Некоторые пути осведомленности Лермонтова выяснены И. Л. Андрониковым в его кн. «Лермонтов» (М., 1964, с. 16—44).

²⁷ «Дело по секретной части Военного министра о не позволенных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии Гусарского полка Лермонтовым...» (л. 24—25). Впервые цит. в кн.: Висковатый П. А. М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1891, с. 248.

²⁸ Современник, 1837, т. 5, с. 8.

²⁹ Рус. архив, 1879, № 6, с. 244.

³⁰ Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина, с. 161.

³¹ Рус. архив, 1879, № 6, с. 246. О циничном отношении Булгакова к смерти Пушкина свидетельствует его письмо Вяземскому 6 февраля 1837 г., где он писал: «...и, брат, поверь, все к лучшему! Пушкин, прожив 50 лет, не принес бы семейству той пользы, которой доставил смертью его...» (Красный архив, 1929, кн. 33, с. 227).

³² Красный архив, 1929, т. 33, с. 227.

³³ Там же, с. 229.

³⁴ Пушкин и его современники, вып. 21—22, с. 339.

³⁵ Лит. наследство, т. 58, с. 147.

³⁶ Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина, с. 299.

³⁷ Записки декабриста И. И. Горбачевского. М., 1916, с. 300.

³⁸ Отеч. зап., 1860, т. 131, с. 73.

³⁹ В 30-е гг. отношения Вяземского с правительством стали налаживаться: прежнее его вольнолюбие постепенно тускнеет. В 1831 г. он получает почетное придворное звание камергера (от которого ранее отказывался) и назначается вице-директором Департамента внешней торговли.

⁴⁰ Сиб. огни, 1938, № 1, с. 136.

⁴¹ Москва, 1959, с. 172, 173—174.

⁴² См. сводку данных в обзоре: Левкович Я. Л. Новые материалы для биографии Пушкина.— В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. 5, с. 380—381.

⁴³ Эти сообщения неверны, что отмечено в «Временнике Пушкинской комиссии» (Л., 1963, с. 66). Никаких сведений о «судебных медиках» нет (выступал только В. А. Сафронов).

⁴⁴ Н. Н. Николаев при этом вспоминает эпизод из «Войны и мира» Толстого, когда Денисов крикнул Пьеру Безухову, ожидавшему ответного выстрела: «Станьте боком, закройте пистолетом».

⁴⁵ Лукьянов С. М. О последний днях жизни и смерти А. С. Пушкина с медицинской точки зрения.— «Изв. отделения рус. яз. и слов. Академии наук», 1899, т. 4, с. 993.

⁴⁶ Гроссман Л. Пушкин. М., 1958, с. 496 (ЖЗЛ).

⁴⁷ Через несколько лет после напечатания своей статьи в «Медицинском работнике», в «Журналисте» (1967, № 9) А. Гудимов сообщил, что в написанном им же в 1937 году отчете для «Известий» мнение Н. Бурденко изложено неверно, в противоположном смысле. Однако и при этом разъяснении остается непонятным, почему Гудимов отвергает точку зрения С. Юдина, изложенную им в «Правде». Ссылка Гудимова на то, что Юдин тогда не имел достаточного хирургического опыта, вряд ли может убедить, тем более что и теперь ряд видных хирургов признает ошибки в лечении Пушкина.

⁴⁸ Пушкин и его современники, вып. 12, с. 94.

⁴⁹ Рус. архив, 1882, т. 1, с. 236.

⁵⁰ Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. М.—Л., 1960, с. 190—193.

⁵¹ Там же, с. 224, 404—405.

⁵² Возможно, что толчком к появлению этой статьи явилась напечатанная во французском же журнале «Красная лента» в декабре 1963 г., № 19, статья Флерио де Лангль «Дело Дантеса — Пушкина», где дана резкая характеристика Жоржа Дантеса и его «лукавого и отталкивающего поведения в течение недель, предшествующих драме 27 января 1837 г.».

⁵³ См.: Временник Пушкинской комиссии. М.—Л., 1963, с. 39 (публикация Е. В. Музы и Д. В. Сеземан).

⁵⁴ См.: Эйдельман Н. Дуэль Пушкина и царь. (По материалам переписки Вильгельма Оранского и Николая I).— Газ. Пушкинский праздник, 1971, 2—9 июня.

⁵⁵ Опубликованы в газ. «Пушкинский праздник» 2—9 июня 1971 г. (публикация И. Ободовской и М. Дементьева).

⁵⁶ Таковы опубликованные посмертно черновые заметки А. А. Ахматовой о Н. Н. Пушкиной. В них есть даже слова о ее вине в гибели поэта. Считаю, что само появление этих заметок недопустимо, нет основания полагать, что Ахматова превратила бы эти черновые наброски в статью подобного содержания.

¹ Его замечательная книга «Крестьяне о писателях» впервые была напечатана в 1930 г., переиздана в 1963 и 1967 гг.

² См., напр.: Фаресов А. И. А. С. Пушкин и чествование его памяти. Спб., 1899, с. 49—64.

³ Сиповский В. В. Пушкинская юбилейная литература (1899—1900 гг.). Спб., 1901, с. 15.

⁴ Мережковский Д. Праздник Пушкина.—Мир искусства, 1899, № 13—14, с. 11—13.

⁵ Семевский В. И. Политические и общественные идеи декабристов. Спб., 1909, с. 129—130.

⁶ Восстание декабристов, т. 9. М., 1960, с. 118.

⁷ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 7. М., 1955, с. 320.

⁸ См.: Клепиков С. Пушкин и его произведения в русской народной картинке. М., 1949.

⁹ Некоторые стихотворения Пушкина проникали в народ через песенники и различные лубочные сборники и хрестоматии еще при жизни поэта. Напр., наиболее ранний: Избранный новейший песенник. М., 1822; а также: Эвтерпа. М., 1828; Букет благовонных цветов. М., 1829; Эрато. Принюшение прекрасному полу. М., 1829; Собрание русских простонародных песен. М., 1831; Песенник для дамского ридикюля и туалета. М., 1831. В них стихи часто искажались, но все же такие издания сыграли свою роль, знакомя читателя с Пушкиным.

¹⁰ Архив этот хранится в Рукоп. отд-нии Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина, ф. № 125.

¹¹ Рубакин Н. А. Этюды о русской читающей публике. Факты, цифры и наблюдения. Спб., 1895, № 1.

¹² Неопубликованные письма будут далее приведены по архивным подлинникам, опубликованные — по газетным публикациям (поскольку оригиналы той части писем, которые были напечатаны в газете, не сохранились).

¹³ Сельск. вестник, 1899, № 12 (в дальнейшем при цитатах из газеты указывается только ее номер).

¹⁴ Восклицательный и вопросительный знаки — автора письма, видимому несогласного с мнением о том, что не нужно «оспаривать глупца».

¹⁵ Волков Р. М. Народные истоки творчества Пушкина. Баллады и сказки. Черновцы, 1960, с. 154.

¹⁶ Топоров А. Крестьяне о писателях. 3-е изд. М.: Сов. Россия, 1967, с. 56.

¹⁷ Ария из итальянской оперы «Покинутая Дидона» («Но где...»).

¹⁸ Это и другие стихотворения поэтов народов СССР цитируются здесь в переводе на русский язык.

Споры об «Евгении Онегине» в прошлом и настоящем

¹ Венок на памятник Пушкину. Спб., 1880, с. 80.

² Удивительно, что это определение повторил (хотя, конечно, с других позиций) почти полтора века спустя В. В. Виноградов. Анализируя речевые формы в первой главе романа, он приходит к выводу, что

Онегин сознательно изображен как характер «антипоэтический» (Виноградов В. В. Стиль и композиция первой главы «Евгения Онегина». — Рус. яз. в школе, 1966, № 4, с. 19). Ошибочность этого вывода коренится в узости лингвостилистического подхода, изолированного от проблем художественного метода и поэтики.

³ Полярная звезда за 1825 год. Спб., с. 14.

⁴ Моск. телеграф, 1825, ч. 2, № 15, с. 43—51.

⁵ Там же, 1825, ч. 2, № 15. Особенное прибавление, с. 10—11.

⁶ Веневитинов Д. В. Полн. собр. соч. М., 1934, с. 237, 239.

⁷ Сын отечества, 1828, ч. 118, № 7, с. 244—245, 247.

⁸ Моск. вестник, 1828, ч. 8, № 6, с. 192, 193, 196.

⁹ Лит. прибавления к Рус. инвалиду, 1832, № 22, с. 176.

¹⁰ Там же.

¹¹ Сев. пчела, 1830, № 35, с. 1.

¹² Там же, № 39, с. 1.

¹³ У каждого свой вкус, господа. — *фр.* (Сев. Меркурий, 1830, № 41, с. 161—162).

¹⁴ «Сын отечества» и «Северный архив» (1833, т. 33, № 6, с. 322—323).

¹⁵ Моск. телеграф, 1833, № 6, с. 238—239.

¹⁶ Вестник Европы, 1830, № 7, с. 223.

¹⁷ Телескоп, 1832, с. 103—110.

¹⁸ Сев. цветы на 1831 год. Спб., 1830, с. 40.

¹⁹ Единственный выпад, который Пушкин себе здесь позволил, — это намек на Булгарина: «Шпионы подобны букве Ъ. Они нужны в некоторых случаях, но и тут можно без них обойтись, а они привыкли повсюду соваться».

²⁰ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. 8. М.—Л., 1952, с. 383.

²¹ Галатея, 1839, ч. 3, № 23, с. 420.

²² Заборова Р. Б. Незданные статьи В. Ф. Одоевского о Пушкине. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. 1. М.—Л., 1956, с. 314—315, 324—325.

²³ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 1, с. 73. (Как известно, Белинский вскоре пересмотрел это положение.)

²⁴ Там же.

²⁵ Статья напечатана впервые в «Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik» (1838, октябрь), а затем перепечатана в русском переводе в журналах «Сын отечества» (1839, т. 7, № 1) и «Отечественные записки» (1839, т. 4). Статья должна была появиться также в «Московском наблюдателе» (1839), но была запрещена цензурой.

²⁶ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 7, с. 457, 458 (далее ссылки на страницы этого тома даются в тексте).

²⁷ Герцен А. И. Полн. собр. соч.: В 30-ти т. Т. 7. М., с. 224.

²⁸ Там же, с. 204.

²⁹ Там же, с. 203.

³⁰ Добролюбов Н. А. Собр. соч., т. 1. М.—Л., 1961, с. 300.

³¹ Там же, т. 2, с. 260.

³² Дружинин А. В. Собр. соч., т. 7. Спб., 1866, с. 60.

³³ Об этом можно судить, напр., по воспоминаниям Мариэтты Шагиняной о впечатлении от статей Писарева, прочитанных в гимназии (значительно позже их появления!). Она пишет: «Пушкин с раннего детства был божеством моим. И это божество — Пушкин — линияло передо мной со страницы на страницу... я была в величайшем, в стихийном смятении, я испытывала то «расширение сосудов», какое бывает физически от приема сердечного лекарства, а психически оно выражалось в

наслаждении от свержения авторитетов» (Шагинян М. Человек и время.— Нов. мир, 1972, № 1, с. 115).

³⁴ Писарев Д. И. Соч., т. 3. М., 1956, с. 330, 331, 337.

³⁵ Там же, с. 338, 341, 342, 349.

³⁶ Чехов А. П. Собр. соч., т. 2. М., 1956, с. 555. (Письмо А. С. Суворину 11 марта 1892 г.).

³⁷ Увы, некоторые резкие суждения Писарева о Пушкине в 50-е гг. совпадали также с отзывами реакционной «Домашней беседы».

³⁸ Писарев Д. И. Соч., т. 3. М., 1956, с. 378.

³⁹ Достоевский Ф. М. Собр. соч., т. 10. М., 1958, с. 446.

⁴⁰ Там же, с. 447.

⁴¹ См.: Успенский Г. И. Полн. собр. соч., т. 6, с. 430.

⁴² Мир искусства, 1899, № 13—14, с. 25.

⁴³ Овсяннико-Куликовский Д. Н. Собр. соч., т. 7. Спб., 1910, с. 90.

⁴⁴ Ключевский О. В. Соч., т. 7. М., 1959, с. 408.

⁴⁵ Основную библиографию работ о реализме Пушкина в «Евгении Онегине» см. в «Краткой литературной энциклопедии», т. 6 (в приложении к статье «Пушкин»), и в книге И. М. Тойбина «Пушкин» (М., 1964, гл. 5).

⁴⁶ Таковы статьи Л. Н. Штильмана «Проблемы литературных жанров и традиций в «Евгении Онегине» Пушкина и В. Н. Викери «Параллелизм в литературном развитии Байрона и Пушкина» (см. критическую оценку этих работ в статье Д. Д. Благого «На пятом международном съезде славистов» (Вопр. лит., 1964, № 4).

⁴⁷ Подробнее о роли читателя, предусмотренной в самой структуре романа, см. в моей книге «Талант писателя и процесс творчества» (М., 1969, с. 140—150).

⁴⁸ Лит. газ., 1830, т. 1, № 17, с. 135.

⁴⁹ Об истории расшифровки см. в статье Б. В. Томашевского «Десятая глава «Евгения Онегина» (Лит. наследство, т. 16—17, 1934). Я не останавливался здесь на специальных текстологических вопросах — вариантах чтения и расположения отдельных строф десятой главы, их месте в романе.

⁵⁰ По воспоминаниям М. Юзефовича, Пушкин «довольно подробно» рассказывал о варианте замысла, по которому «Онегин должен был или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов» (Рус. архив, 1880, кн. 3, с. 443). Вероятно, здесь была другая логика сюжета. Онегин мог попасть в число декабристов и погибнуть (здесь возможна ошибка Юзефовича).

⁵¹ Гипотетическое развитие биографии гоголевских, грибоедовских, тургеневских и других героев, пересаженных в новые исторические условия, было, как известно, одним из излюбленных приемов Щедрина. Этот же прием использован в любопытной повести А. Осиповича-Новодворского «Эпизод из жизни ни павы, ни вороны» (1877) — о судьбе персонажей Лермонтова и Тургенева на новом этапе.

⁵² Эта интерпретация «Путешествия» была подробнее обоснована в моих книгах «А. С. Пушкин. Очерк жизни и творчества» (М., 1949, с. 113—115) и «Пушкин и его эпоха» (М., 1958, с. 572—583).

⁵³ Дегтеревский И. Работа Пушкина над образом Онегина.— В кн.: Пушкин в школе. М., 1951, с. 290.

⁵⁴ Евстифеева Г. О работе Пушкина над образом Онегина.— Учен. зап. Адигейского пед. ин-та, т. 1. Майкоп, 1957; Глухов В. Из творческой истории романа Пушкина «Евгений Онегин» (статья первая).— На берегах Великой. Псковский лит. альманах, кн. 8. 1957.

⁵⁵ См.: Вл. Гай Д. О казаках и лянсуках. — Нов. мир, 1957, № 2; Левкович Я. Литература о Пушкине за 1956—1957 гг. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. 3.

⁵⁶ Гербстман А. «Евгений Онегин» и «Зеленая книга». Алма-Ата, 1957.

⁵⁷ Гукковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля, с. 259, 260, 262, 271.

⁵⁸ Там же, с. 245.

⁵⁹ Развитие реализма в русской литературе, т. 1. М., 1972, с. 183—184.

⁶⁰ Вопр. лит., 1958, № 8, с. 231—241; 1959, № 11, с. 144—154.

⁶¹ Там же, 1958, № 8, с. 238, 239.

⁶² Там же, 1959, № 11, с. 149.

⁶³ Там же, 1960, № 4, с. 105—118.

⁶⁴ Семенко И. Эволюция Онегина. (К спорам о пушкинском романе). — Рус. лит., 1960, № 2; Бурсов Б. Лишние слова о «лишних людях». — Вопр. лит., 1960, № 4; Макогоненко Г. Спорные вопросы есть! Их надо обсуждать! (ответ Б. Бурсову). — Вопр. лит., 1961, № 1; «К спорам о «Евгении Онегине» (дискуссия в Институте мировой литературы им. А. М. Горького), там же, с. 118—132.

⁶⁵ Вопр. лит., 1961, № 1, с. 132.

⁶⁶ Семенко И. Эволюция Онегина. — Рус. лит., 1960, № 2, с. 127.

⁶⁷ 1-е издание вышло в 1963 г. в издательстве «Художественная литература», 2-е — там же, в 1971 г.; оба издания — в серии «Массовая историко-литературная библиотека».

⁶⁸ Макогоненко Г. «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, с. 151.

⁶⁹ Маркович В. М. «Герой нашего времени» и становление реализма в романе. — Рус. лит., 1967, с. 57.

⁷⁰ Достоевский Ф. М. Собр. соч., т. 10. М., 1958, с. 449.

⁷¹ Успенский Г. И. Полн. собр. соч., М.—Л., 1953, с. 430.

⁷² Макогоненко Г. «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, с. 176.

⁷³ Еще Н. О. Лернер в заметке «Муж Татьяны» (Рассказы о Пушкине. Л., 1929) привел убедительные доказательства, что в Пушкинскую эпоху молодые люди могли получать высшие воинские звания гораздо раньше, чем впоследствии (напр., Раевский, друг Пушкина, был генералом в 29 лет). Таково же убеждение такого вдумчивого комментатора романа, как Н. Д. Бродский. Как он заметил, не роман Пушкина, а оперные постановки «Онегина» закрепили в сознании читателей «старость» князя — мужа Татьяны (см.: Бродский Н. Л. «Евгений Онегин». Роман А. С. Пушкина. М., 1950, с. 308—309).

Наука о Пушкине вчера и сегодня

¹ См.: Томашевский Б. Пушкин. Книга вторая. Материалы к монографии (1824—1827), с. 462.

² См.: Книга о книгах, 1924, № 5—6, с. 75—76.

³ См.: Полянский В. Начало советских издательств. — Печать и революция, 1927, № 7, с. 233.

⁴ Отчет о деятельности литературно-издательского отдела Народного комиссариата по просвещению (к годовщине Октябрьской революции 7.XI.1917—7.XI.1918). М., 1918, с. 3, 4. Ср.: Декреты Советской власти, т. 1, 25 октября 1917 года, 6-го марта 1918 года. М., 1957, с. 297.

⁵ Декреты Советской власти, т. 1, с. 297.

⁶ Блок А. Собр. соч.: В 8-ми т. Т. 7. М.—Л., 1963, с. 320. Подробнее об интересной истории этой комиссии (по: неопубликованным материалам) см. в моей статье «Судьба классического наследия в послеоктябрьские годы» (Рус. лит., 1967, № 3, с. 29—35).

⁷ См.: Вестник литературы, 1919, июнь.

⁸ Ходасевич Владислав. Статьи о русской поэзии. Пг.: Эпоха, 1922, с. 118—121, 199.

⁹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 51, с. 122.

¹⁰ Блок А. Собр. соч., т. 6. М., 1961, с. 13.

¹¹ Гершензон М. О. «Явь и сон». — В кн.: Вопросы теории и психологии творчества, т. 8. Харьков, 1923, с. 69.

¹² Книга и революция, 1920, № 2, с. 57—60. (Гершензон принял выписку Пушкина из Жуковского за мысли самого Пушкина.)

¹³ Томашевский Б. Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изучения. Л., 1925, с. 92 и след.

¹⁴ Гофман М. Л. Пушкин. Париж, 1928, с. 8, 14.

¹⁵ Ермаков И. Д. Этюды по психологии творчества Пушкина. М.—Пг., 1923, с. 153.

¹⁶ См.: Луначарский А. Формализм в науке об искусстве.— Печать и революция, 1924, кн. 5, с. 13—32; Сакулин П. Из первоисточника.— Там же, с. 12—15. (Материалы дискуссии объединены под заголовком «К спорам о формальном методе».)

¹⁷ Луначарский А. В. Статьи о литературе. М., 1956, с. 143, 144.

¹⁸ Томашевский Б. Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изучения, с. 74, 75.

¹⁹ См. ниже, в статье «К истории гибели Пушкина».

²⁰ Первоначально опубликована в журнале «Былое» (1918, № 1, с. 5—59) под названием «Пушкин в донесениях агентов тайного надзора. 1826—1830».

²¹ Печать и революция, 1922, кн. 2, с. 3—12. Указанные статьи Брюсова вошли в его книгу «Мой Пушкин» (М.—Л., 1929).

²² Венгерова в истории пушкиноведения принадлежит также заслуга воспитания ряда крупных пушкиноведов в руководимом им пушкинском семинаре в Петербургском университете. Подробнее см. в кн.: Пушкинский сборник памяти проф. С. А. Венгерова. М.—Пг., 1932, с. X—XXXIII.

²³ Вот для примера транскрипция отрывка из «Кавказского пленника», черновая редакция которого приведена во втором томе академического издания:

юноша

юноша свой

{И} вспомнил [свой грозный] плен

Как

(неразб.)

суеврн тревоги

{О} [себе] [на себя] (неразб.)

Безобра [черкес (неразб.) видит]

Как сон в унылой (неразб.)

(неразб.) И цепью загремела вдруг

(неразб.) Как сон (неразб.)

Его окованные ноги.

Словечко *неразб.*, так часто мелькающее на страницах этого издания, становится как бы показателем результатов, достигнутых подобными транскрипциями...

²⁴ Итоги работы над изданием произведений Пушкина после Октября освещены в обзорах Б. В. Томашевского, Д. П. Якубовича и Л. Б. Модзалевского, напечатанных в «Литературном наследстве» (т. 16—18. М., 1934, с. 1055—1136).

²⁵ Впервые напечатана в «Известиях Отделения общественных наук АН СССР» (1937, № 2—3), перепечатана в книге С. М. Бонди «Черновики Пушкина» (М., 1970).

²⁶ Все цитаты из Пушкина даются по шестнадцатитомному Полному собранию сочинений (М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1937—1949). Цифры в скобках указывают: римская — том, арабская — страницу.

²⁷ В квадратные скобки заключены зачеркнутые слова; знак вопроса, заключенный в ломаные скобки, указывает на предположительное чтение слова, после которого он поставлен.

²⁸ Назаренко Я. А. История русской литературы XIX века. 8-е изд. М.—Л., 1929, с. 44, 49, 60.

²⁹ Материалы дискуссии напечатаны в журнале «Литература» (1931, кн. 1, с. 9—29).

³⁰ Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 6-ти т. (приложение к журналу «Красная нива» на 1930 год). Т. 1. М.—Л., 1930, с. 22, 36, 37.

³¹ Известия, 1935, 17 декабря, № 292.

³² См.: Слава русского народа.— Правда, 1937, 10 февраля.

³³ См.: Горький М. История русской литературы. М., 1939, с. 102 (в дальнейшем все ссылки на страницы этой книги даются в тексте, при цитатах из нее).

³⁴ Возможно, если бы Горький в дальнейшем превратил подготовительные конспекты своих лекций в книгу, то он изменил бы эти свои суждения, тем более что и в своем творчестве, особенно раннем, Горький испытал благотворное влияние пушкинского романтизма.

³⁵ См. об этом выше.

³⁶ Переиздана в 1972 г.

³⁷ См.: Симонов К. А. С. Пушкин. Доклад на торжественном заседании в Большом театре Союза ССР 6 июня 1949 года. М., 1949; Фадеев А. Светлый и всеобъемлющий гений.— Лит. газ., 1946, 8 июля, № 46; Ермилов В. Наш Пушкин. М., 1949.

³⁸ Симонов К. Александр Сергеевич Пушкин. М., 1949, с. 13, 35.

³⁹ Смирнов-Сокольский Н. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962.

⁴⁰ См.: «Хроника преддуэльных дней» (Звезда, 1963, № 8, 9); «История гибели Пушкина» (Нева, 1968, № 2, 6; 1969, № 3, 4, 12); «Пушкин и Гончаровы» (Звезда, 1964, № 8).

⁴¹ См. выше, с. 165.

⁴² Тимофеев Л. И. Творческий метод. М., 1960, с. 11.

⁴³ Подробнее об этом см. в моей книге «Художественное мышление Пушкина как творческий процесс» (М.—Л., 1962).

⁴⁴ См. разд. «А. С. Пушкин и литература народов СССР» в кн.: Библиография произведений Пушкина и литературы о нем. 1949 юбилейный год. М.—Л., 1951.

⁴⁵ См.: Шадур В. Декабристская литература и грузинская общественность. Тбилиси, 1958; Трубецкой Б. Пушкин в Молдавии. 3-е изд. Кишинев, 1963; Фетисов М. И. Русско-казахские литературные отношения в первой половине XIX века. Алма-Ата, 1950; Шейман Л. Пушкин и киргизы. Фрунзе, 1964.

⁴⁶ См. сб.: Пушкин и русская культура, 1967.

⁴⁷ Чайковский П. И. Переписка с Н. Ф. Мекк, т. 1. М.—Л., 1935, с. 57.

Содержание

Талисман	3
СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ И ТВОРЧЕСТВА ПУШКИНА	
«Новый для меня Парнас...»	10
После трагедии 14 декабря	28
Об учителях Пушкина, его продолжате- лях и подражателях	56
«Загадочная поэма»	117
К истории гибели Пушкина	128
СВЯЗЬ ВРЕМЕН	
Народ и поэт	168
Споры о «Евгении Онегине» в прошлом и настоящем	227
Наука о Пушкине вчера и сегодня . . .	262
Примечания	303

Борис Соломонович Мейлах

ТАЛИСМАН

Книга о Пушкине

Редактор *Н. Листикова*

Художник *А. Сергеев*

Художественный редактор *Г. Саленков*

Технический редактор *В. Флид*

Корректор *Г. Голубкова*

ИБ № 3445. Сдано в набор 08.07.83. Подписано к печати 16.09.83. А06709. Формат 84x108¹/₃₂. Гарнитура литерат. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 16,8. Уч.-изд. л. 17,89. Тираж 100 000 экз. (50 001—100 000) Заказ № 1937.
Цена 1 р. 40 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР 121351, Москва, Г-351, Ярецкая, 4

Отпечатано с матриц ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28 в Рязанской областной типографии, 390012, Рязань, Новая, 69/12. Зак. 2999.

Мейлах Б. С.

М 45 **Талисман: Книга о Пушкине.** — 2-е изд. — М.: Современник, 1984. — 317 с.

В пер.: 1 р. 40 к.

Ленинградский ученый, доктор филологических наук, лауреат Государственной премии СССР Б. С. Мейлах — известный специалист в области пушкиноведения. Он автор книг: «Пушкин и русский романтизм», «Пушкин и его эпоха», «Художественное мышление Пушкина» и др.

В данной книге, наряду с исследованием сложных проблем пушкиноведения, ученый затрагивает ряд вопросов, связанных с биографией великого поэта и судьбой его наследия, рассматривает значение кавказской темы в жизни и творчестве Пушкина, делится с читателями ценнейшими наблюдениями, доказывающими верность поэта идеалам декабризма. Интересный материал используется в главе «К истории гибели Пушкина», где сравниваются версии современников Пушкина и исследователей нашего времени.

М $\frac{4603010101-004}{M106(03)-84}$ 292—84

ББК 83.3Р1
8Р1